ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ

„Как любопытный скиф..."

ОЛЬГА
ЧАЙКОВСКАЯ

„Как любопытный скиф...“

РУССКИЙ ПОРТРЕТ
И МЕМУАРИСТИКА
ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ
XVIII ВЕКА

МОСКВА „КНИГА“ 1990

ББК 85.143(2)1
Ч 15

Предисловие академика *Д. С. ЛИХАЧЕВА*

Рецензенты:
И. М. САХАРОВА, кандидат искусствоведения;
Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН, кандидат исторических наук

Оформление *К. ГУРЕЕВА*

Издание подготовлено
редакционно-издательским центром «ИСТОКИ»

Ч $\frac{4903010000-092}{002(01)-90}$ 52-90
ISBN 5-212-00220-6

© Ольга Чайковская. 1990

ПРЕДИСЛОВИЕ

Человек, его личность — в центре изучения гуманитарных наук. Именно поэтому они и гуманитарные. Однако одна из главных гуманитарных наук — историческая наука — отошла от непосредственного изучения человека. История человека оказалась без человека...

Опасаясь преувеличения роли личности в истории, мы сделали наши исторические работы не только безличностными, но и безличными, а в результате малоинтересными. Читательский интерес к истории растет необычайно, растет и историческая литература, но встречи читателей с историками в целом не получается, ибо читателей естественно интересует в первую очередь человек и его история.

В результате — огромная нужда в появлении нового направления в исторической науке — истории человеческой личности.

И в самом деле, если личность человека не играла в истории той большой роли, которая отводилась ей историками XIX века, то сама история играла огромную роль в становлении личности. Командуя историей или сам командуемый ею, человек все же находится в центре наших гуманитарных знаний и художественного творчества всех областей искусства.

Если в древней Руси человеческая личность развивалась хотя и медленно, но все же гармонично и вырабатывала свои яркие индивидуальности, то эпоха Петр I в каком-то отношении подавила человеческую личность. Гигантская фигура Петра не сама подавила собой людей его эпохи. Он не был тираном типа Ивана Грозного. Петр пытался контролировать свой деспотизм, вводя его в известные правила и придавая всему государственному быту России какие-то стабильные формы. Однако стабильные формы эти, не всегда освещенные острым видением искусствоведа, изучавшего портреты, необыкновенно обогащают наше представление об исследуемом времени.

Искусствоведы, изучавшие портреты XVIII века, обычно смотрели на них только как на произведения искусства, а не как на документы человеческой жизни и нередко ошибались, когда пытались охарактеризовать художника как психолога, исходя лишь из его собственного произведения. Всматривались только в портрет, не сопоставляя его глубоко с фактами биографического порядка. В тех случаях, когда искусствоведы, действуя только средствами своего искусствоведческого анализа, не ошибались, они все же очень обедняли свой анализ. Биографы же очень часто не умели извлечь из портретов изучаемого ими лица необходимые сведения о его личности, не знали, как сопоставить словесные источники с живописными, и обычно ограничивались тем, что без особых комментариев прикладывали портреты к своим биографическим или историческим очеркам — будь то Новиков, Радищев, Потемкин или Екатерина II и Петр III.

О. Г. Чайковская — писательница, искусствовед и историк — избрала свой, комплексный подход к материалу.

Благодаря ему читатель получает и увлекательное чтение, и богатейший материал для размышлений.

Для меня лично книга О. Г. Чайковской объяснила еще и то, почему во второй половине XVIII века так расцвело портретное искусство в России. О расцвете портрета во второй половине XVIII века мы знали со времен «Мира искусства», с момента открытия в Таврическом дворце в Петербурге Дягилевым в 1905 году историко-художественной выставки русского портрета. Мы воспринимали это как данность, как факт, но никто не пытался объяснить, почему расцвет русского портрета пришелся именно на это время. Теперь мы понимаем, что именно на вторую половину XVIII века падают и гигантские усилия, которые делает человеческая личность, чтобы с достоинством самоопределиться в мире. Не только живописцы показывают нам людей этого времени, но сами люди стремятся показать себя, обозначают в себе свои наиболее характерные, индивидуальные черты, они готовы выйти к нам навстречу.

Я с удовольствием думаю о той радости, которую принесет книга О. Г. Чайковской всем, кто любит родную историю, кто любит знакомиться с людьми нашего прошлого.

Д. Лихачев

ГЛАВА I

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ

Известные слова Радищева: «Нет, ты не будешь забвенно, столетье, безумно и мудро» жизнь опровергла почти тотчас же. Слишком резок был переход от XVIII века к XIX, слишком велики перемены, когда Павла I, чьи самодержавные теории и тираническая практика были отчасти помножены на безумие, сменил молодой Александр, окруженный вольнолюбивой молодежью, полный благих намерений и преобразовательных планов. А там — Отечественная война, новые настроения, новое направление умов — и грянуло 14 декабря (событие, которое XVIII веку и не снилось). Духовный расцвет страны пошел так бурно, что предыдущий век в представлении людей словно бы разом обветшал, и молодой XIX, собственно, почти забыл, что чем-то ему обязан (самонадеянность, вообще свойственная периоду общественных надежд и благотворных перемен). Доживали дни екатерининские вельможи, смешные со своими пудреными париками, учтивостью манер и вольтерианским вольнодумством, кажется, они-то, уже принадлежащие кунсткамере, и определили взгляд XIX века на век предшествующий — Герцену он пришел в облике отца, желчного, язвительного, все еще оригинального и уже полубольного; Пушкину — через старых екатерининских фрейлин или старого князя Юсупова в его Архангельском («Ты, не участвуя в волнениях мирских./ Порой насмешливо в окно глядишь на них»); всей Москве — в лице графа Орлова-Чесменского, двухметрового старика, неслыханного богача, продолжавшего тешить старую столицу грандиозными праздниками, диковинными выездами и кулачными боями. Может быть, благодаря им XVIII век и стал казаться издали веком чудаков — даже высказано было мнение, будто бы крупные и яркие характеры (в этом веку не отказывали), не найдя выхода энергии, применения таланту, вырождались в оригиналов и чудаков. Великолепный представитель XVIII века старый князь Болконский у Толстого — тоже ведь большой оригинал.

Как бы ни было сильно (и в современниках и в последующих поколениях) ощущение черты, разделяющей два века, черты на самом деле не было: жизнь шла потоком, которого никакая грань (будь то смена царствований или смена умонастроений) перерезать не могла. Пограничное поколение, начавшее жить в одном веке и кончившее в другом, не в состоянии было бы разом трансформироваться даже в своей наиболее подвижной — интеллигентной — части, а в народных глубинах шла своя жизнь, новым движением едва ли захваченная. XVIII век перелился в XIX вместе со своими приобретениями и нравственными победами; вместе со своими пороками и трагическим дуализмом; вместе со своим языком,— оттого, что в первой половине XIX века возник новый литературный, «пушкинский», у нас сложилось странное представление, будто в XIX веке люди вообще начали разговаривать на каком-то новом языке, а он был все тот же, единый, на нем говорили и до рубежа веков и за ним.

Нет, не было черты, был XIX век, от избытка и блеска своих талантов не помнящий родства.

В самом деле, культура XIX века была так великолепна, что его людям другой и не надо было. Кому бы пришло в голову читать В. П. Петрова или Е. И. Кострова, когда любой поэт пушкинской поры (о самом Пушкине или Лермонтове мы уж и не

говорим) был куда гибче, куда искуснее. Странно было бы обращаться к М. Д. Чулкову или И. П. Елагину, когда уже поднималась волна гениальной русской прозы. Общественная мысль так окрепла и возмужала в «Современнике» и других журналах, что никому бы и в голову не пришло взяться за екатерининскую «Всякую всячину» или даже за прекрасного новиковского «Трутня».

И чем дальше уходил в прошлое XVIII век, чем прочнее его забывали, тем более возвышалась в общественном сознании и все более загораживала собой эпоху фигура Петра, который энергично прошиб окно в Европу, оставив потомкам спорить о том, хорошо он поступил или плохо. Словно не было в русском обществе исторических процессов — экономического, социального, политического, духовного, сплетенных воедино; словно не работал за сотни лет до Петра и сотню после него многомиллионный народ в разных его слоях и звеньях.

Восемнадцатый век забывался именно, как «столетье безумно и мудро», то есть как время живое, горячее, разорванное противоречиями. Он, напротив, стал представляться некой заводью, неким голубо-розовым интерьером, населенным теми же пудреными париками, красными каблуками, атласными кафтанами и учтивыми менуэтами — иначе говоря, театрально. А между тем в XVIII веке шла своя, очень живая духовная работа.

Любопытен был XVIII век, любознателен, все занимало его и тешило, все, что делается на белом свете, хотелось ему знать. Он шагал семимильными шагами, радостно впитывая в себя знание о мире и о самом себе. В Русском музее среди «смолянок» Левицкого есть портрет Е. Молчановой — юная девушка, веселая, энергичная, она сидит, весьма независимо и даже отважно выпрямившись, в руке ее книга, рядом — электрическая машина,— вот образ XVIII века. Век-путешественник, век-зевака, но не праздный, век-дилетант, исполненный подлинного таланта и трудолюбия, он жил жарким интересом к наукам и искусствам, ко всем видам духовной деятельности, когда передовая часть дворянства (не только дворянства, конечно, но оно лидировало) запоем читала, без устали переводила с иностранных языков, страстно коллекционировала, пробовала свои силы в ремеслах, искусстве, литературе. Это море замечательного, яркого дилетантизма было своего рода разминкой и тренировкой перед великой работой XIX века. Ведь не кто иной, как люди XVIII века растили и готовили к будущему людей XIX. Столь частое сопоставление братьев Орловых, Михаила и Алексея, сыновей известного екатерининского вельможи Федора Орлова, из которых один был другом Пушкина, просветителем и декабристом, а другой — помощником Бенкендорфа и сам шефом жандармов вслед за ним,— сопоставление не только эффектное, но и многозначительное: XVIII век подготовил и декабризм и возможность мертвенной николаевской реакции. Но и этим роль его, конечно, не ограничивается: он создал предпосылки будущего могучего культурного расцвета.

Портреты XVIII века разделили судьбу своего времени — о них тоже позабыли. Развешанные по дворцам и усадьбам (тогда их еще не собрали в музеях, как сейчас), они обычно были собственностью потомков тех, кого изображали, и потомки эти если и не отправляли своих бабушек и дедушек в ссылку на чердак, то ходили мимо этой старомодной ветоши, ее не замечая.

Историки второй половины XIX века много сделали для того, чтобы вернуть общественной памяти екатерининское время, они разыскивали и печатали документы эпохи, мемуары, жизнеописания, письма. В начале XX века стали появляться на выставках, пока еще очень редко, и портреты XVIII века. Огромную роль в их «открытии» сыграли С. Дягилев, А. Бенуа. Основатели «Мира искусства» (журнала и

направления) устраивали выставки этих портретов, воспроизводили их в репродукциях, писали о них, защищали их, потому что портретную живопись приходилось защищать от тех, кто видел в ней узкодворянское, придворное и даже подобострастное искусство.

Теперь и опровергать подобную точку зрения было бы странно. Мы твердо знаем, что портреты XVIII века в их лучших образцах — это шедевры, составляющие нашу национальную гордость. Встреча с ними должна нас обогатить и осчастливить. Но сколько раз случалось мне видеть, как люди в музее равнодушно проходят мимо всех этих кавалеров и дам, не ощущая красоты живописи и даже не заглядывая в лица. Нас с ними действительно уже разделяет рубеж (и не один), за двести лет нас от них (или их от нас) унесло временем очень далеко, мир изменился неузнаваемо, и лица на старинных портретах, недвижно позирующие, странно скованные, глядят загадочно из своего XVIII века. Это искусство, по-видимому, нуждается в комментариях не только потому, что в нем есть элементы не всегда нам понятной условности, но и потому, что в психологическом складе эпохи не все нам теперь понятно, а многое и чуждо.

Но в самой проблеме комментария к произведению искусства содержится некая сложность. Надо ли вообще что-то знать о произведении живописи до того, как его увидишь? Не мешает ли это непосредственному восприятию? Не сбивает ли нас с толку, например, всемирная слава той или иной картины, известие, что ее крали ввиду ее неслыханной цены и ее разыскивал Интерпол, что ее общение со зрителем приобрело особый характер (говорят, Мона Лиза («Джоконда») Леонардо да Винчи получала письма!), что ее воздействие на зрителя уже почти гипнотическое. Не рискуем ли мы подпасть под чужое влияние, да еще умноженное многолетней традицией, подогретое ажиотажем, который не только не приблизит нас к произведению искусства, но уведет от него.

А зачем нам знать, как создавалась картина, в какой среде, в каком кругу? Надо ли нам знать имя той молодой женщины, чье лицо повторяется в картинах Сандро Боттичелли и достигает неповторимой трогательной прелести в «Рождении Венеры»? Если мы досконально изучим жизнь Флоренции XV века, ее нравы, быт, историю, станет ли нам ее лицо понятнее и ближе? Разве жизнь маленького немецкого княжества, где писал Бах, хоть сколько-нибудь поможет нам в постижении глубин его великой музыки, разве она не вне времени, как и лицо Боттичеллиевой красавицы, разве не общаемся мы с ними непосредственно, легко минуя века и не нуждаясь ни в каких комментариях? Казалось бы, наоборот, нужно отбросить все второстепенные подробности жизни, забыть все исторические реалии, да они и забываются, исчезают сами собой.

Произведение искусства, в частности живописи, не нуждается в комментарии хотя бы уже потому, что оно само исчерпало свой сюжет, да к тому же его язык на язык слов не перевести. Впечатление зрителя от сочетания тонов, точности линий, игры светотени, как правило, бессловесно. Все сказанное в конце концов будет бесконечно бледнее самих красок, линий и теней — слово и живопись живут в разных рядах и друг друга выражают весьма приблизительно. Попытка словесного описания собственно живописи в конечном счете нередко сводится к поневоле однообразному перечислению того, как, скажем, жемчужно-серые тона великолепно соседствуют с оливково-зелеными. Подобный комментарий тоже, конечно, небесполезен, он заставляет настораживаться наш глаз, искать сочетаний, которых сами мы, быть может, и не разглядели. Чтобы передать сколько-нибудь адекватными словами краски и линии, нужен особый, редкий дар, далеко не всем искусствоведам данный.



Д. Левицкий
А. И. Борисов
1788

А что касается историко-биографического комментария, то он может стать просто опасен.

В 1788 году Д. Г. Левицкий написал портрет купца Борисова. Мужчина средних лет, в поддевке, с густой бородой весь повернут к зрителю и смотрит ему прямо в глаза. Кто он такой, этот человек? Следуя, по-видимому, самой простой ассоциации, связанной со словом «купец» (где купец, там ухарь-купец), автор монографии о Левицком (и большой знаток живописи XVIII века) отметил в Борисове нечто удалое и разбойничье, чуть ли не героя большой дороги. Всматриваешься в эти темные глаза и действительно в глубине их видятся Муромские леса, логово Соловья-разбойника. Но вот что читаем мы в книге о Левицком Н. Молевой: «А. И. Борисов положил начало большому собранию древних грамот. В 1786 году он собственноручно переписал два древних хронографа, которые, как и другие обнаруженные Борисовым материалы, были использованы Новиковым в его исторических публикациях. А. И. Борисова особенно интересовали древние исторические сочинения, описания путешествий, но он охотно готов был содействовать и современной деятельности Типографической компании». Вот он, оказывается, кто — сподвижник великого Новикова, никаких Муромских лесов, научные изыскания, новиковская знаменитая типография, груды книг. Нет, теперь ясно, в прекрасных глазах Борисова светит просветительская мысль передового человека эпохи. Но вот старший научный сотрудник Русского музея Георгий Викторович Смирнов неопровержимо доказал, что на портрете изображен совсем другой Борисов, сын городского головы города Калуги. Какой смысл было нашему воображению метаться между просветительской типографией и большой дорогой? Лучше уж зрителю не иметь никакого комментария, чем сталкиваться с подобным комментаторским произволом.

Да и много ли он дает для понимания портрета, биографический комментарий, даже если он точен?

Рокотовский портрет Дарьи Федоровны Дмитриевой-Мамоновой, написанный в 80-е годы. Перед нами гордое, торжествующее лицо, на губах полуулыбка, а глаза замкнуты, словно бы хранят какую-то тайну. Нетрудно было бы подобрать к тайне опять же биографический ключ: судьба этой женщины, урожденной княжны Щербатовой, была сложна и необычна. Ее полюбил Дмитриев-Мамонов, фаворит Екатерины,— история эта известна, ее (в общем довольно правдиво) поведала сама Екатерина.

Но красноречивей всего рассказывают ее два портрета из Русского музея.

Портреты написаны Михаилом Шибановым в 1787 году, и оба с натуры. На одном царица, на другом ее фаворит. Екатерина тут похожа на пожилого мужчину, крепкого хозяина. А. М. Дмитриев-Мамонов на портрете совсем юный, его миловидное, неясное лицо кажется таким слабым ввиду сильных черт императрицы и таким гладко-тающим ввиду ее морщин, что несоответствие возрастов и характеров выглядит почти пугающе. И тут легко представляешь себе, как молодой человек влюбился в юную фрейлину (Дарья Федоровна Щербатова родилась в год екатерининского переворота и, стало быть, была младше императрицы на тридцать три года), они тайком встречались во дворце, как трепетали, боясь разоблачения. Их роман в конце концов и был разоблачен, Екатерина в этой сложной ситуации вела себя достойно, сперва долго плакала, запершись, а потом, как видно, взяла себя в руки, закрепила за Мамоновым все свои (как всегда в таких случаях огромные) дары, устроили пышную свадьбу, сама убирала невесту к венцу. Правда, свадьба была не больно весела, по словам той же Екатерины, в день ее и жених, и невеста оба плакали. После свадьбы молодые уехали из Петербурга. Когда через год Мамонов стал проситься обратно



Ф. Рокотов
Д. Ф. Дмитриева-Мамонова
1780-е гг.



Ф. Рокотов
В. Е. Новосильцева
1780

(сохранились его письма к царице), он получил вежливый, но непреклонный отказ (да и «известная должность» была уже занята).

Нетрудно предположить, что жизнь молодой графини Дмитриевой-Мамоновой была не из легких: иметь соперницей самою царицу, долго дрожать и прятаться, а потом, в замужестве, видеть, как муж рвется обратно — к власти, к роскоши двора, к центру, где бьется пульс государственной жизни. Всех этих сведений, как бы ни были они скудны для понимания характера и отношений, все же достаточно, чтобы объяснить сложность лица, его вызывающую, как бы что-то преодолевающую гордыню, легкую, чуть презрительную улыбку и непреклонную замкнутость глаз, как бы противостоящих страданию.

Но улыбка Дарьи Федоровны Дмитриевой-Мамоновой, и ее замкнутый взгляд, и ее независимость — все это принадлежит не только ей, вот что удивительно.

Портрет Новосильцевой — один из самых блестящих рокотовских портретов — долгое время был безымянным; на нем есть надпись: «Портрет писан рокатовим в Москве 1780 году сентября 23 дня а мне от рождения 20 лет шесть месицов и 23 дны». Исходя из безграмотности надписи принято было полагать, будто на нем изображена какая-то темная провинциалка (предположение странное, поскольку русские дворяне тогда, да и много позже, плохо писали по-русски, если вообще писали). Но потом в результате тщательных исследований и архивных изысканий установили, что на портрете изображена Варвара Ермолаевна Новосильцева, женщина, окончившая Смольный и после замужества вошедшая в круг московской знати. На портрете ей двадцать, но она, как и Дмитриева-Мамонова, выглядит много старше, словно бы она умудрена годами. А вид у нее такой же победительный, на губах очень похожая улыбка — и так же замкнуты глаза; красивые длинные брови словно выложены бархатом, а во взгляде «пугающее всеведение» (как справедливо заметила Н. Лапшина, автор монографии о Рокотове).

Этот ряд взглядов и улыбок можно продолжить.

Портрет Е. Н. Орловой в Третьяковской галерее очень параден. Если Новосильцева в простом просторном платье, похожем на домашнее, то Орлова тонко перетянута в стане и великолепно одета: темно-красным горит идущая через плечо орденская лента (орденоносные женщины впервые появились в XVIII веке), сверкает алмазный портрет императрицы (знак статс-дамы), по краю мантии виден горностай (знак княжеского достоинства), высоко взбита роскошная прическа, на грудь спадают два крутых, тяжелых локона (впрочем, обычных для рокотовских портретов). Торжествующая полуулыбка и гордая аристократическая осанка — все это являет нам блестящую светскую львицу. Но подобное представление сохраняется лишь до тех пор, пока не заглянешь в глаза, они куда сильней и значительней всего этого великолепия. И с ними та же история: они тоже знают, да не говорят. Неясность черт, дымчатый расплыв контуров — и ночная мгла в глазах.

«Ночная мгла», как вы помните, лежит «на холмах Грузии», и память тотчас нам подсказывает: «Мне грустно и легко». Казалось бы, тональность очень близкая портрету Орловой, есть в нем и туманная легкость и печаль, но печальная интонация тут сильна настолько, что в конце концов уже и не легко. Томительное чувство охватывает вас при виде этого лица, есть в нем что-то обреченное, даже если и не знать (а впрочем, можно ли это — не знать?), что жить этой юной кавалерственной статс-даме осталось недолго, всего года два.

Нет, дело не в биографии модели. Вот перед нами еще один портрет — графини Е. В. Санти. Она родилась в 1763 году, значит, тут ей 22 года — но перед нами вновь лицо немолодое, сосредоточившее в себе значительный жизненный опыт, только,



Ф. Рокотов
Е. Н. Орлова
1779(?)



Ф. Рокотов
Е. В. Санти
1785

пожалуй, еще более замкнутое. Об этом портрете (как и о других, нами названных) много писали, точнее всех, кажется, описал его А. А. Сидоров. «...Темный овал. Чуть сдвинутое вправо, поставленное прямо и строго в три четверти бледное лицо молодой женщины. Высоко взбитые волосы украшены сверху цветами. Легкая прозрачная ткань на шее — и целым, неожиданно острым фонтаном на груди раскинулся букет цветов. Глаза из-под неправильных бровей глядят прищурившись. Тонкую вертикаль шеи подчеркивает длинная серьга и вьющийся, падая на плечо, локон. Колорит сдержан; он серебрист, переливчат, неповторяем. Портрет овит очарованием тайны».

И прищуренные глаза графини Санти те же, опять те же — длинные, загадочные, и пространство между веками опять заполнено таинственными тенями.

«Таинственный», «загадочный» — эти слова так часто употребляются, когда речь идет о рокотовских портретах, что уже стали общим местом, едва ли не банальностью. Глядя в эти глаза (прямо в них не заглянешь, они словно бы смотрят на вас, но всегда чуть-чуть мимо), хочется уловить и что-то другое, ведь сказать «тайна» — это, в сущности, ничего не сказать. В конце концов и прекрасное описание портрета Санти, сделанное А. С. Сидоровым, оно ведь тоже внешнее и сути не схватывает, начинает казаться, что здесь точное попадание столь же невозможно, как невозможно передать словами рокотовский колорит (особенно периода его московского расцвета). А между тем словно бы какая-то непреодолимая сила заставляет искусствоведов подбирать для рокотовской палитры адекватные слова. «Мастер серебристых, сдержанных гамм, скромных и острых сочетаний» — это Сидоров. Искусствовед Н. Врангель, теоретик «Мира искусства», восторгался тонкой согласованностью цветов: «Серебристая грязно-серая гамма. Белое с голубым, ярко-коричневое с грязным золотом, зеленью и розовым». Иные искусствоведы в бессилии принимаются просто считать, сколько, к примеру, оттенков зеленого содержит тот или иной участок живописи. Безуспешные попытки, не хватает слов, никак не удается передать эту тончайшую монотонность и соединение глухих тонов.

Новосильцева, Дмитриева-Мамонова, Санти, они так похожи, что наша память легко может их перепутать. Есть в их лицах что-то недостоверное, ускользающее. «На смех и назло здравому смыслу, ясному солнцу, белому снегу/Я полюбила темную полночь, лживую флейту, праздные мысли», — или эти колеблющиеся цветаевские строки тоже слишком определенны для такой текучей неустойчивости, какую являет собою рокотовский портрет?

Удивительный характер придают портретам Рокотова размытость их контуров, дымчатость границ. Пытаясь передать впечатление от его живописи, все время обращаешься к образу дымов, туманов, цветной мглы — они придают портретам оттенок печали.

Печали? Но в конце концов даже это слово, мягкое и лирическое, звучит тут слишком определенно. Задумчивость, грусть, тайна — все близко, и все не то.

Женщины Рокотова — странные сестры, странные птицы, севшие в ряд вне времени и неизвестно на какой территории. У них нет биографии. Они смотрят из таинственного далека (еще более непонятного, чем сам XVIII век), и не ясно, куда направлен их взгляд. Они сдержаны и замкнуты, отталкивая, они с необыкновенной силой влекут к себе и притягивают.

Но вот мы с вами в мире совсем иного художественного образа, в иной психологической атмосфере. Портрет десятилетней Сарры Фермор, написанный Иваном Вишняковым около 1750 года. Если и случается видеть, как посетители музея



И. Вишняков
Сарра Фермор
Около 1750 г.

проходят мимо портретов XVIII века, их не замечая, то перед этой девочкой они, как правило, останавливаются разом, словно столкнулись с ней в дверях.

Сперва ею просто любуешься — ее изяществом, свежестью, неповторимой выразительностью, не пытаясь разобраться в своих впечатлениях, да и не хочется разбираться, еще менее хочется, глядя на нее, что-нибудь говорить. Но потом возникает непреодолимое желание понять, что это такое, как могло возникнуть на полотне подобное чудо.

Портрет знаменит, написано о нем много — и о его родстве с древнерусской живописью, и о его близости к новому в России тех времен стилю рокайля. Весь художественный строй картины говорит о середине XVIII века, переходной эпохе в русской живописи, еще не вполне порвавшей с иконописной традицией, с парсуной. Фон картины еще лишен жизни и, может быть, действительно ведет родословную от сплошного (золото или охра) фона иконы. Сама фигура девочки еще плоска (древнерусских мастеров менее всего интересовало человеческое тело, жизнь иконы сосредотачивалась в лице и прежде всего в глазах), а узор ее платья, пожалуй, напоминает орнамент на стенах древнерусских церквей. Но портрет Сарры Фермор обнаруживает, конечно, куда больше различия с иконой, чем сходства, прежде всего уже самой задачей — она чисто светская, вполне ренессанская; художник передает не то единое, общее для всех чувство, каким охвачены, предположим, в деисусе все предстоящие — у них единое движение души (и рук) — или все великие русские богоматери, печалующиеся и скорбящие. Нет, Вишнякову нужна именно эта самая десятилетняя девочка и никакая другая, его интересует именно ее внутренний мир, независимо от какой бы то ни было специально заданной философской доктрины (если не считать, конечно, того, что у каждого художника своя система, свое мировоззрение и концепция).

Да, многое в позе, в повадке маленькой Сарры, в колорите картины заставляет вспомнить мир рокайля с его изяществом и живостью. Можно встретить сопоставление Сарры Фермор с «Жилем» Ватто, в позе которого, тоже статичной, также сосредоточилась затаенная жизнь. Ве́лика кладовая мирового искусства, и сравнения можно продолжать до бесконечности — по сходству и по противоположности: сравнивали же Сарру Фермор с инфантой Маргаритой Веласкеса. Вещи, кажется, несопоставимые — разные эпохи, различные живописные системы, разные взгляды на жизнь, чуть ли не противоположные характеры,— одно только и сближает картины, что и тут и там изображены девочки и обе в фижмах. Инфанта Маргарита (например, на ее портрете кисти Веласкеса из Венского музея) — крепкая, плотная, как грибок, стоит, ни с кем не общаясь, сосредоточенная в своем детском эгоизме и неразумии. В ней привлекает не столько лицо, сколько легкие золотые кудри, сильное (кажется — теплое) тельце, затянутое в серый шелк, самый этот шелк, его тяжесть, его тугие складки, темный жемчуг его отлива. Очарование портрета в этом схваченном куске жизни, которой полна вся картина, где лицо модели так же интересно, как и розовая отделка на ее корсаже.

А для меня, если уж речь зашла о сравнениях, эта работа Вишнякова связывается с картинами Боттичелли не по уровню мастерства, разумеется, и не по стилю, но тем особым чувством, близким печали, которое она вызывает.

На самом деле Сарра Фермор ни с чем не сравнима, вполне суверенна и другой такой на свете нет.

И когда мы смотрим на нее, неважно нам ее родство с парсуной или рокайлем, и это ничего, если мы не знаем ни слова из того, что говорят искусствоведы о стиле, о

жанровой принадлежности, о месте картины в историческом ряду (и может быть, в самом деле нам лучше всего этого не знать?),—язык искусства тут достаточно внятен.

Она глядит на нас с некоторым расчетом, Сарра Фермор, во всяком случае — осторожно. Закованная не только в свое негнущееся платье, но и в изящество позы, предписанной не менее жестким этикетом, она бы готова с вами заговорить, да не очень уверена в том, как ее примут.

Между тем жизнь в ней, недвижной, накопилась огромная, любопытство в глазах необыкновенное, в ней очарование белки, которая рассматривает вас с дерева и готова прыгнуть (и как же колорит зимнего дня идет этой беличьей осторожности). Она и прыгнула бы, да, наверно, не позволят.

Вишняков, писавший маленькую Сарру, видел ее глазами старшего брата (или отца, только молодого, у которого еще нет свойственного позднему возрасту излишнего умиления всем юным), оттого и удалось ему проникнуть в эту затаенную, закованную жизнь. Именно его сдержанная, чуть насмешливая братская нежность и позволила ему разглядеть все ее уловки и умыслы. Но, может быть, есть тут отчасти и тревога за ее судьбу.

Давно отмечено, что руки Сарры Фермор непропорционально длинны (честно говоря, если бы этого не заметили, не было бы и заметно, но теперь, мысленно выпрямив их, видим — висят ниже колен), что они написаны неумело, что в них как бы соединились архаика древнерусской живописи с жеманством рокайля (и отставленный мизинчик!). Но как они выразительны, эти тонкие, нескладные детские руки!

Я думаю, что все педагогические трактаты нравоучительного XVIII века, все, вместе взятые, не рассказали о ребенке и десятой части того, что сказал своим портретом Вишняков.

И вдруг ловишь себя на желании узнать ее судьбу—долго ли жила, была ли счастлива (кое-что историки о ней знают, знают, что жила долго, знают, за кого вышла замуж и сколько у нее было детей, но все это мало что о ней говорит). Ну, а если бы она ожила и сама о себе рассказала, прибавило ли бы это что-нибудь к тому, что рассказал о ней Вишняков? И да и нет. Нет, потому что художник увидел в девочке то, чего она сама о себе, разумеется, не знала. Но если бы Сарра Фермор вела дневник, он в сочетании с ее портретом был бы неоценимым свидетелем не только ее судьбы, но и ее времени.

Поскольку портрет рожден эпохой, он может очень многое о ней рассказать. Он может стать окном, за которым открывается глубокая перспектива и данной души и самого века. Именно портрет.

Я назвала XVIII век дилетантом, на самом деле, конечно, он был дилетантом далеко не во всем. Он успел высоко профессионально высказать себя в архитектуре, в скульптуре и особенно в портретной живописи.

Таким образом определяется задача книги: заглянуть в глубь духовной жизни русского XVIII века, понять, каков был в ту пору человек, каким ощущал себя в жизни, что о ней думал, как участвовал в общекультурном историческом процессе, иначе говоря, что оставил нам, своим потомкам. В осуществлении этой задачи портрет явится для нас и целью и средством одновременно: безмерно интересный сам по себе, он окажется еще историческим источником. Но и не один портрет. Сарра Фермор дневника не вела, зато сам XVIII век много о себе рассказывал.

От сопоставления портрета со словом эпохи выиграет также и сам портрет, речь его станет более внятной. А для нас возникнет некая стереоскопичность в восприятии людей XVIII века, достойных того, чтобы быть понятыми: уж, верно, они серьезно работали, если своей работой подготовили великий XIX.

В своих воспоминаниях А. Н. Бенуа рассказывает о том, как летом 1901 года он был в Гатчинском замке, еще хранившем в ту пору дух его странного и несчастного владельца — Павла I. В одной из комнат дворца висел большой портрет этого императора, нарочно спрятанный и запертый на ключ, чтобы даже члены царской семьи, тогдашние владельцы Гатчины, его не видели. Но Бенуа разрешили взглянуть. «И вот когда <...> безумный Павел,— пишет художник,— с какой-то театральной, точно из жести вырезанной короной, надетой набекрень, предстал передо мной и обдал меня откуда-то сверху своим «олимпийским» взглядом, я буквально обмер. И тут же решил, что воспроизведу раньше, чем что-либо иное, именно этот портрет, писанный Тончи и стоящий один целого исторического исследования».

Бенуа прав: портрет уже сам по себе как мало какой исторический источник может рассказать о человеке. Рассказ его сжат, в нем предельная концентрация мысли и чувства, и при этом он дан нам сразу. Историкам приходится восстанавливать прошлое по частям (из грамот или описей, из хроник или писем, сводов законов или философских трактатов), воссоздавать мозаично, причем смальты всегда не хватает. Да и воссоздавать, как правило, внешнюю сторону жизни. Конечно, многое о духовной жизни людей расскажут нам, к примеру, философские трактаты, но они слишком отвлечены; смогла бы сказать литература, но и она в XVIII веке еще очень далека от жизни. Безмерно трудно историку восстанавливать облик человека прошлых лет. И вдруг он живой стоит перед вами, можно заглянуть ему в глаза и постараться понять, о чем он думает.

Портреты по-разному рассказывают нам о своем времени.

В 1732 году К. Б. Растрелли (отец великого зодчего, замечательный скульптор) вычеканил оловянный барельеф императрицы Анны Иоанновны — в стиле барокко со всем изобилием, перегруженностью и вместе с тем буйной энергией, свойственной этому стилю. Никакие ученые труды не могут воссоздать подобного образа, никакие жизнеописания или факты никогда не расскажут нам столько, сколько рассказал этот чеканный портрет.

Мы многое знаем об Анне Иоанновне, знаем, что она была курляндской герцогиней, маленькой провинциальной правительницей, которой и во сне не снилась русская корона, знаем, что ее возвели на трон «верховники», аристократы, рассчитывавшие ограничить при ней царскую власть (и она это обещала), сделать ее послушным орудием в своих руках. Но Анна вместе со своим окружением (главным образом, немецким), нарушив все обещания, установила не только режим неограниченного самовластия, но и систему террора. Мы представляем себе низость ее нрава, убожество вкуса (шуты, «ледяной дом»), ее мстительность и зверскую жестокость (чудовищная казнь Волынского, Еропкина, Хрущева); мы читаем о ней в воспоминаниях Н. Б. Долгоруковой: «Престрашного была взору. Отвратное лицо имела; так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше, и чрезвычайно толста».

Но все же только взглянув на барельеф, созданный Растрелли, мы начинаем по-настоящему понимать и ее, и ее окружение, и созданный ими режим.

Перед нами могучая старуха, толстая баба-яга, дикая и страшная, а чекан красив и праздничен, весь в драгоценном мерцании, невозможность такого сочетания придает вещи особую эмоциональную остроту. Тяжкие драгоценности осыпают царицу, они перевиты с ее волосами и покрывалом, которое великолепно и бурно (вот оно барокко!) летит назад от ее уродливого лица, крючконосого, с опухшими веками. Тупая, мощная плоть — жирная шея и жирная полуоткрытая грудь — весьма выразительно контрастирует с крошечной коронкой у нее на голове. Она надолго остается в памяти, эта императрица, и преследует вас, как кошмар (каким были на самом деле она и ее



И. Вишняков
Анна Леопольдовна
1740-е гг.

правление). Конечно, царице хотелось видеть себя могучей, хотелось ей, наверно, и страх внушать, но художник отразил еще и низость характера.

Изобразительное искусство прошлых веков многое говорит о своей эпохе, оно восстанавливает костюмы, интерьеры домов, рассказывает о событиях, о которых, может быть, умолчали письменные источники. А сейчас с появлением новейших способов исследования живописи оно порой дает совсем уж неожиданные сведения. Иван Вишняков написал портрет правительницы Анны Леопольдовны — это племянница Анны Иоанновны, мать маленького Ивана Антоновича, которого императрица, умирая, объявила наследником престола. История эта достаточно известна, судьба несчастного мальчика, после елизаветинского переворота осужденного на вечную тюрьму, волновала и современников, и потомков (двадцать лет казематов и смерть от руки тюремщика). Об Анне Леопольдовне мы знаем мало, у власти она была недолго и никакого влияния на судьбу страны не имела.

Анна Леопольдовна изображена в простом красно-оранжевом платье, ее сложенные руки написаны неумело, они словно бы висят в воздухе вместо того, чтобы лежать на коленях. Но рентген увидел, что раньше у нее были другие руки, и левая обнимала сына. Обнаружился и сам маленький император, его славное скуластое лицо — в официальных портретах Ивана VI нет и тени той живости, той верности правде, какую мы видим на этом несуществующем портрете.

Однако портрет, как свидетель и очевидец эпохи, расскажет нам, конечно, не только о костюмах, быте и событиях. Во второй половине XVIII столетия, в период активного духовного роста человека, усложнения его внутреннего мира, русский портрет становится все тоньше, все разговорчивей — незаменимым свидетелем социально-психологических процессов эпохи.

Но тут мы сталкиваемся с явлением не менее загадочным, чем глаза рокотовских моделей.

Среди ранних портретов Д. Г. Левицкого один из самых знаменитых — портрет архитектора А. Ф. Кокоринова. Чуть повернутый к плоскости холста по диагонали, Кокоринов стоит свободно и смотрит куда-то вдаль с совершенной простотой, словно даже немного задумавшись, нет в нем ни тени позы или демонстрации. Богатый костюм его тоже абсолютно прост, хотя и написан он как очень красивый, в нем нет той тщательности в обработке драгоценных деталей, какую так часто видим мы в других портретах этого времени. Красота костюма здесь в мягкой гармонии тонов, в матовом блеске тяжелого атласа, чей белый цвет вобрал в себя и розовые и зеленые отсветы и великолепно сопоставлен с глубоким коричневым цветом меха. Золото камзола, тяжелого и словно бы стеганного, сгущено до темной бронзы. В сочетании тонов здесь такая договоренность и согласованность, что при взгляде на них возникает как бы чувство глубокого покоя. И когда в этом состоянии согласованности чувств мы обращаемся к лицу Кокоринова, мы ничуть не удивлены, найдя и здесь достоинство и спокойствие. А на причину такого душевного равновесия указывает рука архитектора.

Как мы видели, художники предшествующей поры обычно рук рисовать не умели (может быть, потому так и любили они погрудные безрукие портреты?), не знали, как их положить, как сложить, не видели в них ничего интересного, ничего характерного для человека. В руководстве по живописи даже предписывалось: если у модели руки нехороши, их следует взять у кого-нибудь другого, где они получше. Левицкий был большой мастер рисовать руки, и портрет Кокоринова тому доказательство. Руки архитектора прекрасны не только тем, что рисунок их «справедлив», но и своей выразительностью. Правая рука Кокоринова указывает на разложенные по



Д. Левицкий
А. Ф. Кокоринов
1769



Ф. Рокотов
Г. Г. Орлов
1762—1763

столу чертежи — знак его ремесла. Указывая на чертежи, сам архитектор на них даже не смотрит, настолько он уверен в себе и в том, что сделанное им — достойно. Отсюда и его спокойствие — от сознания того, что жизнь его идет, как надо, что назначение свое он выполняет, таланта в землю не зарыл. И будущее, по-видимому, не беспокоит его нисколько.

Но постойте, как же так?! Ведь Кокоринов человек трагический! Ведь он же покончил с собой! Талантливый, огромно богатый (женат был на одной из Демидовых), а значит, и независимый, еще молодой, он повесился на чердаке построенного им здания Академии художеств. Левицкий писал его за два-три года до смерти — неужели он, великий художник, не разглядел надвигающейся трагедии?

Вопрос серьезный, а может быть, один из главных для понимания портретной живописи XVIII века.

Григория Григорьевича Орлова, который долгое время был невенчанным мужем Екатерины, писали, конечно, не раз. Это был, по-видимому, человек неординарный. Существует любопытный документ, своего рода исповедь Екатерины, письмо, которое она послала Потемкину в ответ на его упреки в любовном легкомыслии. Она рассказывает о своей горькой женской доле — муж, нелепый и вечно пьяный; Салтыков, которого к ней приставили, чтобы обеспечить наследника престола, к которому она привязалась, но его вскоре услали за границу; роман с Понятовским — и вот, наконец, Орлов. «Сей бы век остался,— пишет Екатерина (напомним, что говорила она по-русски хорошо, а писала плохо),—есть ли б сам не скучал, я сие узнала в самый день его отъезда на конгресс из Села Царского и просто сделала заключение, что о том узнав уже доверки иметь не могу, мысль, которая жестоко меня мучила и заставила сделать из дишперации (отчаяния.— *О. Ч.*) выбор коя какой, во время которого и даже до нынешнего месяца я более грустила, нежели сказать могу, и никогда боле, как тогда, когда другие люди бывают довольные и всякая приласканья во мне слезы возбуждали, так что я думаю, что от рождения своего я столько не плакала, как сии полтора года; с начала я думала, что привыкну, но что далее, то хуже, ибо с другой стороны месяца по три дутся стали, и признаться надобно, что никогда довольнее не была, как когда осердится и в покое оставит, а ласка его мне плакать принуждала. Потом приехал некто богатырь...» — и далее речь уже идет о Потемкине.

Итак, Григорий Орлов, сменив Станислава Понятовского, стал фаворитом Екатерины, когда та была еще великой княгиней. За два с половиной месяца до переворота Екатерина тайно родила от Орлова сына — в эту ночь, рассказывают, ее гардеробмейстер Шкурин, чтобы отвлечь внимание от того, что происходило во дворце, поджег собственный дом; он же потом взял к себе ребенка и несколько лет воспитывал его под видом собственного сына.

Кажется, впервые Орлов предстает перед нами в записках Болотова, когда в Кенигсберге в ходе Семилетней войны появился пленный немецкий граф, королевский флигель-адъютант Шверин, он жил на свободе «и имел только двух приставов, таких же ребят молодых, таких же ловких, проворных и красавцев» — это были Орлов и его двоюродный брат Зиновьев. «Сии три молодца были тогда у нас первые и наилучшие танцовщики на балах,— пишет Болотов,— и как красотою своею, так щегольством и хорошим поведением своим привлекали на себя всех зрение. Ласковое и, в особливости, приятное обхождение их приобрело им от всех нас искреннее почтение и любовь; но никто тем так не отличался, как помянутый господин Орлов. Он и тогда имел во всем характере своем столь много хорошего и привлекательного, что нельзя было его никому не любить». А Болотов лести не знает.



Ф. Шубин
Г. Г. Орлов, мрамор,
1774

Потом в столице Орлов стал любимцем гвардейской молодежи, героем балов, маскарадов и любовных похождений. У него было четверо братьев, все они держались вместе (и поместья держали неразделенными), все так или иначе приняли участие в екатерининском перевороте. После переворота братья Орловы были награждены титулами, получили грандиозные подарки — землями, «душами», дворцами, деньгами и драгоценностями. Они стали беспредельно богаты.

Канун переворота 1762 года, тревожные времена. «Мы <...> начинали опасаться,— пишет Болотов, который в это время был в Петербурге,— чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения, а особливо от огорченной до крайности гвардии. Мысли о сем тем более всех нас тревожили, смущали и озабочивали, что мы опасались, чтоб нам при таком случае не претерпеть бы и самим чего-нибудь». В эти тревожные дни Болотов неожиданно вновь столкнулся с Орловым, которого не видел с Кенигсберга и которого тотчас узнал, «как он был все еще таков же хорош, молод и статен». Орлов очень ему обрадовался и усиленно просил к нему заходить, но Болотов не придал этому приглашению никакого значения. Орлов позвал его еще раз, присылал его звать, сам приезжал — и Болотову стало это странно. Он даже растревожился, почуяв крупную игру, сказался больным, не пошел и долго потом радовался тому, что избежал участия в перевороте, который, конечно, вознес бы его на огромную высоту, дал бы и титул, и богатство, но смешал бы его жизненные планы; теперь, когда был издан указ о вольности дворянства, Андрей Тимофеевич мог осуществить свою мечту: уйти в «абшид» (отставку) и уехать в родную деревню.

Эти два мелкопоместных дворянина, ставшие знаменитыми, пошли разными путями: один очертя голову кинулся в политический заговор и выскочил на вершину власти, другой обосновался в своей деревеньке. Оба пути были немаловажны для культуры страны. (Любопытно, что однажды они еще раз пересеклись: когда с участием Орлова организовалось «Вольное экономическое общество», одно время Орлов был его председателем, Болотов в своей провинции тотчас на это откликнулся и стал активнейшим его членом.) Отметим, что второй, болотовский «деревенский», путь оказался куда плодотворней.

В своей исповеди Потемкину Екатерина спрашивает, чем же она виновата? — будь у нее любимый муж, все бы в ее жизни пошло по-другому. Любимый муж (она с ним не венчалась, но проект такого брака существовал) был при ней одиннадцать лет, она считала его не только «самым красивым мужчиной империи», но и героем, достойным соперничать с лучшими людьми Греции и Рима времен республики. «Сей бы век остался, есть ли б сам не скучал». Но он скучал, заводил романы на стороне, а потом влюбился в свою кузину Зиновьеву и женился на ней.

Из всех портретов Орлова больше всего, как мне кажется, соответствуют его характеру два. Первый — гравюра Е. Чемесова, удивительного мастера психологических характеристик (мне кажется, никто из художников не изобразил так правдиво императрицу Елизавету — не той условной полненькой красоткой, как ее часто писали, но мягкой женщиной, в чьем лице есть что-то нервное, заставляющее вспомнить, как царица не находила покоя, металась из дворца во дворец, перебиралась из одной комнаты в другую и даже в церкви при всей своей набожности не могла долго стоять на одном месте, все бродила).

На гравюре Е. Чемесова у Орлова мужественное, веселое и легкомысленное лицо. Второй портрет — Ф. Рокотова — парадный, пышный, разноцветный; генеральский мундир, золотое шитье, ордена, все, что мы постоянно видим на портретах вельмож, но среди всей этой пестроты и роскоши перед нами предстает довольно простой парень, глядящий на мир словно бы с веселым любопытством. То же



Е. Чемесов
Г. Г. Орлов
1764



Е. Чемесов
Елизавета Петровна
1761

мальчишеское любопытство выражает и мраморное лицо Орлова на бюсте работы Ф. Шубина. Удивительную характеристику Орлову дала Екатерина, когда того уже не было в живых: «Князь Орлов был всегда génie (одарен.— *О. Ч.*), силен, храбр, решим, mais doux comme un mouton, il avait le coeur d'une poule», иначе говоря, мягок, как овца, и с куриным сердцем. Поскольку тут же говорится о храбрости, достаточно хорошо известной, то ясно, что Екатерина, вспоминая Орлова, говорит не о трусости его, но о мягкосердечии, которое, по мнению императрицы, мешало ему стать крупным политическим деятелем (каков был, например, «Гаур, москов, казак, лихой татарин» — как называет она Потемкина в письмах). Может быть, именно эти черты характера — мальчишество и мягкость — так и тянули Орлова к маленькому наследнику престола?

Если царица почти никогда не заходит в покои сына, даже когда тот болел, то Орлов тут частый гость. Он почти не бывает к обеду, где царит ненавистный ему Панин, но то и дело забегает к маленькому Павлу, и если вельможи в своей остроумной беседе за столом постоянно забывали о маленьком хозяине, то Орлов приходит именно к мальчику и ради него. Вот они с Павлом поделили духовые орудия, «назначили в комнате болота и пригорки (это рассказывает воспитатель великого князя С. Порошин), представили две армии, и началась с обеих сторон пальба». Вот они вместе работают на токарном станке. Орлов зовет Павла то на маневры, то в манеж для верховой езды, то на яхту. Было в его посещениях и много серьезного — он водил Павла в обсерваторию смотреть солнечное затмение, разговаривал с ним о физике, «о гремящем золоте», о химии, ботанике, анатомии; показывал модели набережной Мойки, Черной речки и Фонтанки, тогда еще текших в собственных берегах. Можно предположить, что Орлову и самому были интересны эти разговоры, во всяком случае, он сообщает Павлу об иностранных поселениях в России, показывает часы работы поселенцев. Это было не только увлечением Орлова, но и работой, порученной ему императрицей.

Орлов участвует во всех начинаниях императрицы в первый период ее царствования. Чесменский бой был результатом его планов — это он придумал ударить на турок с моря. Но самое главное — его сочувствие предполагаемым социальным преобразованиям. Он один из первых читал «Наказ» (и, по словам Екатерины, был от него в восторге). В «Вольном экономическом обществе» (о нем будет ниже) настаивал на публикации в русском переводе статьи, которая утверждала необходимость крестьянской собственности на землю и освобождение крестьян. Он один из депутатов и активных деятелей Комиссии по созданию новых законов страны. Одному заданию, которое выполнял Орлов, Екатерина придавала особое значение. Ее давно, еще в бытность великой княгиней, тревожила мысль о малолюдстве страны, когда же она оказалась у власти, эта проблема встала перед ней с тем большей остротой, что русские крестьяне, не вынеся наглой эксплуатации и жестокости помещичьей власти, бежали кто куда — кто на Дон, на Урал, в заволжские степи, кто в леса к раскольникам; солдаты дезертировали из армии, крепостные порой целыми семьями переходили границу. Русских беглых можно было встретить и в Швеции, и в Пруссии, и в Австрии, особенно много их было в Польше. Екатерина, отлично понимавшая причины бегства, издала множество указов, в которых обещала прощение дезертирам, предписывала, чтобы людям, вернувшимся из Литвы и Польши, были предоставлены льготы относительно работ и податей. «Нечего будет опасаться бегства русских за границу, когда им будет сделано любезным их отечество,— писала она.— Если бы Россия была такой, какой я желала бы видеть ее, у нас было бы больше рекрут, чем дезертиров».

Недостаток людей на огромных российских просторах Екатерина хотела возместить иностранцами — в декабре 1762 года был издан манифест о перемещении в Россию иностранных поселенцев, причем Екатерина писала генеральному прокурору, что манифест «должно публиковать на всех языках и во всех чужестранных газетах». Вот это-то важное дело — создание в России иностранных колоний — было поручено Орлову, и он занялся им с энтузиазмом. За границей работают его вербовщики, в разных местах, в частности на Волге, создаются иностранные колонии, именно в это время возникла знаменитая Сарепта (часами этих иностранных ремесленников и хвастался Григорий Григорьевич перед маленьким Павлом).

По свидетельству Новикова, Орлов в своих поместьях взимал самый милосердный (даже слишком милосердный!) оброк. Есть сведения о том, что Орлов задумал серьезные реформы в своих прибалтийских землях и даже дал соответствующие указания управляющему — и тот долго потом удивлялся, почему от графа больше никаких указаний по этому поводу не последовало.

Действительно, почему? Потому ли, что Орлов, загоревшийся вместе с Екатериной высокими мечтаниями, вместе с нею же и остыл?

«Гатчинский помещик хандрит»,— пишет Екатерина одному из своих корреспондентов. Владелец Гатчины, которую ему подарила императрица, действительно хандрил.

Почему же хандрил Орлов, которого природа, и особенно судьба, так щедро одарила? Но в том-то все и дело, что природа, наряду с прочими дарами, одарила его и безумием. Знаки болезни видны уже в самих сменах настроений, этих вспышках и остываниях (Екатерина много позже, на склоне лет, узнав о душевном заболевании одного из придворных, сказала своему секретарю, что она-то уж знает, что такое душевная болезнь: в свое время сильно намучилась с князем Орловым). Эту болезнь резко обострила смерть молодой жены Орлова Екатерины Николаевны. Ничто, ни власть, ни богатство, не спасло ее. Сколько он ни возил ее по заграничным врачам, она умерла от чахотки. (Она была характера легкого, светлого — до нас дошло ее письмо родным, где она успокаивает их, говорит, что у них с «князюшкой» все хорошо; и еще дошел уже упомянутый нами рокотовский портрет дивной красоты и лиризма). Этой смерти сознание Орлова уже перенести не могло, он умер в тяжком и унизительном безумии.

Надо сказать, что Екатерина до конца его жизни была сильно к нему привязана, в своих письмах к Потемкину не раз просит никогда не отзываться о нем плохо (а в одном жизнеописании Орлова говорится, по-видимому, с чьих-то устных рассказов, которые из XVIII века перекочевали в XIX, что во время болезни она приезжала к нему и сама за ним ухаживала).

Таким образом, Орлов, человек, как видно, самобытный и яркий, не оставил после себя ничего особо дельного. В одном из писем Екатерина с восторгом пишет, что Орлов с его блестящим знанием физики замечательно экспериментировал со льдом, приказал заложить его в фундамент и построил на нем ворота, которые стоят, не валятся, но и этих построенных на льду ворот от Орлова не осталось. Его запомнили прежде всего как любовника с сомнительной репутацией (в самом деле, не продавался ли он за власть, за богатство?). Собственно, таким счастливым фаворитом могущественной царицы и представляют нам его портреты — поздние ничуть не менее жизнерадостные, чем ранние. Ни один из художников, писавших Орлова, не ухватил и не показал нам того трудного, мрачного, трагического, что было в его натуре и судьбе.

Если бы уровень их мастерства не позволял им этого, тут не было бы ни вопросов, ни загадок, но мы знаем, они умели схватить глубину характеров, тончайшие

переживания, сложность взгляда, могли бы они, конечно, написать и страдание, и трагизм. Так что же значит — не хотели? Или не умели?

Но тот же вопрос встает перед нами в несравненно большем масштабе — в рамках всей эпохи.

Давно уже отмечено некое «семейное сходство» портретов XVIII века (насколько могу судить, объясняемое обычно их стилевыми особенностями и уровнем мастерства их творцов). И тут бросается в глаза свойственное всем им удивительное спокойствие и безмятежность (разве что легкая грусть иногда), словно все они жители благословенной Аркадии, а отнюдь не бурного XVIII столетия России. Нет на этих лицах отсвета ни личных трагедий, ни трагедии страны. Почему?

Ответить на этот вопрос, исходя лишь из самого портрета, вряд ли возможно. Необходимо понимание эпохи. А для этого неизбежно придется прибегнуть к помощи иных ее свидетельств — и прежде всего к слову.

Но если представляется необходимым сопоставить портрет со словом эпохи, возникает вопрос — с каким именно. Чем располагала в те времена русская литература?

Казалось бы, всего ближе живописи должна быть лирика XVIII века, но ее задачи в то время были другие, а в связи с этим и возможности ее были невелики. Я отнюдь не хочу этим сказать, что она была плоха — она выполняла свое назначение, сколько могла удовлетворяла потребности общества. Но вместе с тем она нередко отражала не столько реальные чувства, сколько чувства вообще, отвлеченные и потому неопределенные; безлик был ее лирический герой (то, что у Сумарокова и других поэтов встречаются хорошие, искренние стихи, общей картины не меняет). Утомительная повторяемость тем, невозможное однообразие, нагромождение стереотипов — все это производит впечатление мертвенности. Стихи полны банальных сентенций, их бесконечные пастушки́ и пасту́шки (столь прелестные, к примеру, на фарфоре и гобелене) надоедают безмерно и своими стенаниями, и своей фривольностью. «Штамп, шаблон становились принципом искусства», — справедливо писал Г. Гуковский. Естественной живой жизни оно отразить не могло, да, повторим, и не собиралось.

Но постойте, ведь был Державин!

Да, был Державин.

Великий Державин — исключение и чудо (на полях современной ему поэзии он представляется буйным красавцем-конем среди мирного стада). Могучая жажда и радость жизни, острота ее восприятия соединены в нем с даром находить редкие, друг к другу настороженные слова. Он крушит каноны и штампы, кажется, сам того не замечая, живая жизнь шумит и сверкает в его стихах; недаром в них так часто гремит гром — от небесного грома и от грома пушек до соловьиного. И тут же фламандская тяга к простым радостям бытия, когда стол, накрытый к обеду («румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны»), вызывает поэтический восторг («что смоль, янтарь, икра и с голубым пером / Там щука пестрая — прекрасны!»).

Если до Державина поэзия была почти черно-белой, то с ним является сюда живопись, великолепная по палитре: красные цвета — от румяного до черно-огненного; зеленые, изумрудные; желтые — от янтарного до чистого золота. «Взглянь, Апеллес! взглянь в небеса!/В сумрачном облаке там/ Видишь, какая из лент полоса <...> Пурпур, лазурь, злато, багрянец,/ С зеленью тень, слиясь с серебром...»

Здесь такие живописные возможности, такое богатство изобразительных средств, какое современным ему поэтам и не снилось, — действительно, только с живописью можно сравнить его поэтическую ткань, с Левицким, с Боровиковским. Художники умели писать блеск драгоценностей — в поэзии Державина целая россыпь



В. Боровиковский
Г. Р. Державин
1795

самоцветов, они нужны, чтобы выразить переливы света и цвета в природе — от водопада («Алмазна сыплется гора») до павлиньего хвоста («Лазурно-сизы-бирюзовы / На каждого конце пера <...> Наклонит — изумруды блещут! / Повернет — яхонты горят!»).

Но Державину внятна гамма нежных переходных тонов, он слышит шорохи и шелесты, чувствует природу на ощупь («бархат пух грибов»). Он любит и умеет ловить трепетание света, отсветы и блики, движущиеся тени облаков и делает это с таким искусством, что порой кажется чуть ли не предтечей импрессионизма. Его влечет к себе вода (окрашенная зарею, освещенная луною; восход солнца над ключом — «лучом кристалл твой загорится»), он видит сквозь нее «пестрых краснооких ходящих рыб» (а вот опять они же, но в час заката: «По рдяну вод стеклу мелькают/ Вверх рыбы серебром» или «Сребро, трепещуще лещами»); ловит сверкание водяных капель, когда птицы «с перьев бисер отряхают, разноцветный влажный огнь».

Но нигде он не достигает такой поразительной силы, как в понимании жизненного трагизма.

Тема смерти постоянно возникает в поэзии второй половины XVIII века, в связи с ней поэты не устают твердить свои банальности — что смерть неизбежна, что она всех уносит, и бедняков и богачей — и так далее. Вот, например, как звучит это у В. И. Майкова:

Всякий шаг нам — шаг до смерти,
Всякий миг влечет нас к ней,
Всякий час грозит претерти
Вервь кратчайших наших дней,—

пустые стихи, удивительные своим приплясывающим ритмом. Может быть, только Державину было дано услышать погребальный колокол, как голос времени.

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает.

Поразительно его ощущение жизни, как наклона, на котором не удержаться,— его знаменитое «скользим мы бездны на краю».

Без жалости все смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит <...>
Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны
И точит лезвие косы.

Но в то же время его строки могут быть тихими, задумчивыми, полными мягкой печали.

Но нет пустынь таких, ни дебрей мрачных, дальных,
Куда любовь моя в мечтах моих печальных
Не приходила бы беседовать со мной.

(Разве две последние строчки мы не могли бы принять за пушкинские?)
А вот его стихи на смерть первой жены, любимой «Плениры»:

Не сияние луны бледное
Светит из облака в страшной тьме,
Ах, лежит ее тело мертвое,
Как ангел светлый в крепком сне.
Роют псы землю, вкруг завывают,
Воет и ветер, воет и дом...

(Не Блока ли это нам напоминает, не Ахматову ли?)

Живопись XVIII века далеко обогнала его литературу (мы это еще увидим). Державин обогнал не только современную ему поэзию (что было нетрудно), но в сложности своего ви́дения, в богатстве живописных средств стоит чуть ли не выше самих живописцев.

И вдруг мы наталкиваемся на беспомощность и бессилие удивительные — это там, где Державину нужно углубиться в душевный мир другого. Казалось бы, это вообще в задачи лирики не входит (достаточно, если поэт умеет выразить себя), но в том-то и дело, что чувства, заложенные в любовной лирике Пушкина, Лермонтова или Тютчева, обладают такой светоносной силой, что бросают отблеск и на возлюбленную, высвечивая ее духовный облик. Порой перед нами настоящее (и нежнейшее) лирическое исследование — лермонтовское «На светские цепи», посвященное М. А. Щербатовой, многие пушкинские стихи, в частности, посвященные Наталии Николаевне, тютчевские стихи Е. А. Денисьевой. Державин подобных стихов еще писать не умел, в его стихах к первой жене, «Пленире», и ко второй, «Милене», видно горячее желание выразить свою любовь, но нет ни образа этих женщин, ни образа любви. «С Пленирою младою мы в лодочке катались» и «Я тут сказал: Пленира! Тобой пленен мой дух» и т. д. Здесь явное «отставание» от уровня современной ему живописи и по средствам и по результату, да и от самого себя.

У нас, кстати, есть возможность прямо сопоставить живописный портрет человека со стихами Державина, тому же человеку посвященными (тоже с попыткой написать портрет). В послании к Н. А. Львову (о нем речь впереди) поэт представляет себе, как тот вернулся домой после своих трудов. «Тут нежна, милая супруга / Как лен пушист ее власы, / Снегоподобною рукою, / Взяв шито брано полотенце, / Стирает пот с его чела». Как это бесконечно далеко от того, что рассказал о Львовой своими портретами Левицкий. Сопоставление со стихами нам ничего не дает, решительно ничего не прибавляет к рассказу художника (может быть, даже что-то убавляет). А вот если сопоставить портрет Львовой с письмами-дневниками ее мужа, образ этой женщины тотчас осветится новым светом. Львов в Гатчине один в маленькой избушке, ночь, тоска, воют волки. «Ничего бы этого не было, кабы ты не уехала, — пишет он, — ночь бы себе, а мы себе».

Впрочем, поэт и художник — разные свидетели эпохи. Поэт выражает себя через себя, портретист — себя через другого, через внутренний мир другого, в этом его задача, а потому его свидетельства имеют другую цену. Словом, сопоставление живописи со стихами Державина трудно: и потому, что художники XVIII века — вполне дети этого века, в то время как о Державине хочется сказать, что он вне веков,

но также и потому, что в изображении внутреннего мира человека Державин «отстает» от живописцев.

Если перейти к прозаической литературе XVIII века, то нетрудно убедиться, что и она еще не умела рассказать человеку о человеке, и ей еще не хватает глубины и разнообразия чувств. Конечно, проза уже формировалась в оригинальной русской комедии и прямо расцветала в публицистике (Новиков и другие, особенно же молодой Крылов). Она уже умела ставить социально-нравственные проблемы современности, уже научилась тонко высмеивать и жестко бичевать, но углубиться во внутренний мир человека, как это уже умели портретисты, еще не могла.

Но постойте, ведь был Фонвизин!

Да, был Фонвизин, но он комедиограф, а исследовать духовную структуру общества, пользуясь одним лишь инструментом комедии, пусть даже гениальной, невозможно. У комедии свои законы, свои задачи, если это и зеркало, то все же зеркало смеха, кривое по определению: она отбирает черты жизни, преувеличивает их, чтобы лучше рассмотреть и ярче показать. Комедия может отражать ту или иную сторону общественной жизни, выражать ее ту или иную нравственно-социальную проблему, но зеркалом общества в целом и тем более зеркалом души она быть не может (даже «Ревизор»!); если «Недоросль» и называют зеркалом, то лишь потому, что она была единственным произведением подобного масштаба — не видела еще наша литература великих зеркал. И наконец, сопоставление портрета с комедийной прозой невозможно потому, что портрет второй половины XVIII века совершенно лишен не только комедийности, но, как правило, даже оттенка иронии.

Но была в XVIII веке отличная русская проза, уже способная рассказать о внутреннем душевном мире человека, она создавалась подспудно, еще вдали от печатного станка, но до нас, по счастью, она дошла.

По крупным и мелким усадьбам, по городским особнякам созревала литература, во всем противоположная официальной (если говорить о трагедиях, одах и героических поэмах). Одна имела целью воспеть чувства возвышенные (зачастую реализовавшиеся как выспренные). Другая имела смысл только как правдивая.

Мемуары — а мемуаристика XVIII века обширна — это то простое жизнеописание, то бытописание, то прямая исповедь. Авторы мемуаров, как правило, писали честно. Читатели — дети, ради которых это обычно и писалось, вообще родные (а это огромный круг — дворянская родня), друзья, соседи по поместью, кружок единомышленников (вторая половина XVIII века — время таких кружков) — этот читатель был свой.

Чтобы показать, насколько мемуары по самому творческому методу отличались от литературы, особенно официальной, попробуем заглянуть в их мир. Мы сразу же обнаружим, что язык литературы XVIII века нам во многом не понятен — хотя бы уже одним его пристрастием к аллегории. Мы не только забыли сюжеты, лежащие в основе аллегорий, и не знаем самой системы аллегорических символов (в иных школах XVIII века были специальные дисциплины, их изучающие), нам не понятна самая идея — выражать чувства с помощью Афродиты-Венеры или Посейдона-Нептуна. А XVIII веку это почему-то было нужно.

Античная мифология жила глубоко в сознании XVIII века. Мраморные сатиры и нимфы, что выглядывали из зелени его парков, крылатые психеи, что вились среди лепнины его потолков, амуры, что кувыркались по карнизам,— все это было не просто украшением, это жило особой жизнью — жизнью воображения. Реальные образы двоились, вместе с луной вставала Артемида-Диана — в окружении звезд с месяцем во лбу она выезжала на колеснице; холодный ветер представлялся Бореем; человеческие



С. Торелли
Екатерина II, аллегория
1760-е гг.

качества являлись в античных одеждах: красота — Венерой, доблесть — Марсом, а Мудрость — Минервой. Ведь и Новиков в своем «Трутне» (а в литературе той поры вряд ли было что-либо более передовое и жизненное) не просто хвалит Фонвизина за его «Бригадира», а рассказывает о том, как печально задумался на Парнасе Аполлон и загрустили музы (умерла на земле поэзия!), но вдруг приходит весть об авторе «Бригадира», и Парнас ликует. Ведь и маленький Гете сочинял сказки не про Ханса и Гретель, но о Парисе и Меркурии. XVIII век думал и живописал этими образами, он ими дышал и жил (и этого дыхания хватило до пушкинской поры).

Язык аллегорий был сложен и многоречив, над изображением надстраивалось целое здание рационалистических знаков, и всем казалось, что изображаемый сюжет от этого становится умней, понятней и, главное, возвышенней. Живая жизнь в воображении художника порою так тесно переплеталась с мифологической, что отделить два эти ви́дения мира уже невозможно — остается воспринимать их в единстве. И все же это странное, расщепляющееся единство.

Чтобы показать его странность и сложность, возьмем изображение события, в свое время сильно поразившего современников,— победу русского флота над турецким при Чесме в 1770 году, знаменитую победу, не раз, кстати, бывшую предметом живописи. Чесменский бой действительно отозвался по всей России («Никогда не забуду того дня,— пишет в своих воспоминаниях И. И. Дмитриев, мальчиком живший в Симбирске,— когда слушали мы реляции о сожжении при Чесме турецкого флота. У отца моего от восторга прерывался голос, а у меня навертывались на глаза слезы»), да и по всей Европе. «Пылающий флот в Чесменской бухте,— пишет Гете в своем жизнеописании «Поэзия и правда»,— стал поводом для ликования всего цивилизованного мира; каждый считал себя причастным к торжеству победителей, когда на Ливорнском рейде был взорван военный корабль, дабы художник мог увековечить на холсте великую победу под Чесмой». События в Ливорно, о которых говорит Гете, тоже стали знамениты: чтобы увековечить свою победу на полотнах художников, командующий флотом Алексей Орлов устроил в Ливорнской бухте грандиозную инсценировку Чесменского боя, причем для полноты и достоверности картины был действительно взорван настоящий военный корабль.

Посмотрим, как отразился Чесменский бой в сознании современников — это введет нас в атмосферу эпохи, приучит к ее подлинному языку, а кстати, и покажет ту двойную систему художественного ви́дения, когда правда факта неразрывно сплетается с торжественностью и высокопарностью аллегории.

Поэт Михаил Херасков, написавший «Чесменский бой», перед тем как писать поэму, побывал в Чесменской бухте, отлично знал, как было дело, где стоял «Евстафий», которым командовал капитан Круз, где «Три святителя», где «Ростислав», на котором плыл князь Долгоруков. И о самых жестоких минутах боя он знал, когда «Евстафий» сцепился снастями с горящим кораблем капитан-паши, пылающая мачта турецкого корабля рухнула близ пороховой камеры «Евстафия» и он взлетел на воздух. Все это поэт описывает точно. Но среди реальных кораблей у него в волнах Чесменской бухты мечутся тритоны, наяды и нереиды, а над кораблем летит лютая Дискордия, несущая войну и смерть.

Идет по морю турецкий флот, и метафору «все живое бежало перед ним» Херасков развертывает широкой картиной, где тритоны в ужасе ныряют в волны, нереиды прячутся в пещерах, а вот и сама Дискордия — «склокоченны власы и взоры раскаленны, дыханье огненно, уста окровавленны, не сыта вкруг нее лежащими телами с мечом и пламенем летит меж кораблями». Никто не посмеет сказать, что ее образ

безжизнен — нет, движение ее шумно, ее раскаленные взгляды жгутся, она правдива, она реальна — это война.

Поэт поднимается тут до прекрасных стихов:

Ужасны фурии, участницы войны
Взошли на корабли с турецкой стороны.
Там смерть бледнеюща, там ужас, там отрава.
С российской стороны — Минерва, Марс и Слава.

И когда навстречу турецкому флоту с его фуриями как солнце взошло лицо Марса, мы и в него готовы были поверить. Но, увы, нас обманули: Марс оказался всего-навсего Алексеем Орловым. Мы вступаем в целое море лукавства, подобострастия, грубой лести — и мифологические образы, только что бывшие живыми и яркими, умирают у нас на глазах. Такая нестойкость, такая пульсация мифологических образов, то ярких и живых, то тусклых и мертвенных, легко объяснима: все же они родились не у нас, а в далекой по времени, чужой цивилизации.

А вот иной способ изображения тех же событий — в рассказе того самого князя Долгорукова, который плыл на «Ростиславе» (у Хераскова: «...бестрашный Долгорукой и храбрости его все воинство порукой»). Мы прибегаем к его рассказу совсем не для того, чтобы уличить Хераскова во лжи, нет, сопоставление столь разных произведений — поэмы и воспоминаний — даст основание для более любопытных выводов.

Юрий Владимирович Долгоруков, князь, Рюрикович, родился в 1740 году. Ему не исполнилось и девяти, когда он был уже «на военной службе» — записан в полк унтер-офицером, в двенадцать стал прапорщиком, в четырнадцать «досталось ему в поручики» — этому странному, введенному Петром обычаю записывать детей на военную службу, чтобы, пока они растут, им шли чины, сам XVIII век усмехался, и случалось, что в семье, обрядив младенца в мундирчик, много тому смеялись.

Но юный князь Митрофанушкой не стал, в семнадцать лет он отправился в армию (шла Семилетняя война), в первом же сражении был ранен в голову, в восемнадцать произведен в секунд-майоры за храбрость, командовал полком — и началась его военная жизнь в великих трудах маневров, походов, осад и сражений. С каждым годом рос его военный опыт, да и военная наука его «много выучила».

Он прожил долгую жизнь (девяносто лет), его военный опыт пригодился во время войны с Бонапартом, когда князь командовал ополчением нескольких губерний.

Но это все его, так сказать, послужной список, нас же более всего интересует человеческий облик автора записок. Долгоруков не искал чинов и наград, двор не тянул его к себе магнитом, как других. Он был умен, наблюдателен, справедлив, таким, как правило, является он в воспоминаниях современников, таким выглядит и в собственных записках, написанных «для любезной дочери и друга княжны Варвары Юрьевны».

Когда разразилось 14 декабря, Долгоруков был глубоким стариком. Начались аресты, и к старому князю кинулись за помощью: нужно было ходатайствовать за одного из арестованных. Старик был искренне возмущен мятежом и наотрез отказался защищать государственного преступника, нарушившего присягу своему государю (для дворянина XVIII века не было большего преступления!). А потом надел шубу и поехал хлопотать.

Все, что мы знаем об этом человеке, вызывает уважение и симпатию, но нам особенно важно отметить одно его свойство: он правдив. Правдив не только в том смысле, что не лжет, — он совершенно лишен позы, ему чуждо желание приукрасить себя или как-то сгустить краски обстоятельств, чтобы на их фоне лучше смотреться

самому. Его описания войны и связанных с ней событий настолько дегероизированы, что невольно приходит на ум то отношение к войне, которое возникло в XIX веке (Стендаль, Толстой), а в XX продолжилось в ремаркизме.

Во время турецкой кампании Юрий Владимирович был послан в Черногорию, чтобы поднять ее против турок. Этот эпизод нетрудно было изобразить романтическим приключением, тем более что он был послан тайно, под именем купца Барышникова, и вместе со своими спутниками пробирался непроходимыми горными тропами, над пропастями, неся тяжкий груз — не грех было бы дома рассказать об этом хотя бы с некоторым оттенком романтизма. А вот что пишет Долгоруков.

«В жизнь мою не имел я более трудности; мы несли на себе деньги, медали, порох, свинец и прочее; будучи так нагружены, по каменным горам, ухвачиваясь за терновые кусты, где мы обдирали руки и даже подошвы все изорвались. В девять часов мы дошли до земли Черногорской, и сделалось жарко, я не мог дале следовать, сел отдыхать в таком положении, думая, что б со мной ни случилось, не могу больше идти. По прошествии короткого времени привели мне осла, на коем я продолжал путь до селения Черногорского, называемого Черница». Право же, князь мог бы умолчать о такой подробности, как осел: и так-то он не выглядит героем, а уж когда на сцену вышло это животное...

Для понимания человека XVIII столетия очень важно услышать его язык, его интонацию. Послушайте, как описывает Долгоруков войну.

После Чесменского боя адмирала Спиридова очень тревожили корабли: турки строили их на одном из островов, они были почти готовы, и Долгоруков взялся их сжечь. Разработав план операции — с северной стороны фальшивая атака полковника Толя, с юга — десант полковника Кутузова «и с ним были албанцы», а между Кутузовым и Толем десант самого Долгорукова «с 30 гренадерами... и два маленькие единорожка, кои бомбардиры под командой храброго князя Волконского на руках несли» (Юрий Владимирович, заметим, никогда не упускает случая сказать о храбрости кого-то другого, только не о своей собственной). «Я со своим судном первый пристал к берегу, — продолжает он, — не занимаясь перестрелкой, хотя по горам много пустой пальбы производили. Кой час албанцы увидели меня на берегу, как пчелы ко мне налетели, и едва князь Волконский начал из своих единорожков палить, турки к городу побежали, албанцы за ними. Турки отбегут, и албанцы остановятся. Я <с> моими гренадерами и пушчонками подойду к албанцам, единорожки выстрелят — турки побегут. Итак я четыре раза подходил с албанцами, и турки пробежали строящие<ся> корабли».

Впрочем, такая простодушная правдивость — что было, то было, — такая очевидная дегероизация войны, явное желание уйти от барабанного боя официальных реляций свойственны не только Долгорукову. Стоит прочитать описание войны у Болотова, который в Семилетнюю войну был в войсках, сражавшихся в Пруссии. Правда (существенное различие), Андрей Тимофеевич Болотов, как человек робкий, мечтал только о том, как бы ему унести с фронта ноги и отсидеться в канцелярии (о чем тоже написал с совершенной правдивостью), а Долгоруков — профессиональный военный — стремился к тому, чтобы «быть в войне». Другой страстный военный-профессионал Л. Н. Энгельгардт, участник многих войн, так описывает эпизод времен турецкой кампании. «Турки для воспрепятствования работ стреляли ядрами; первое, которое я услышал, заставило меня с такой торопливостью нагнуться, что обе шлифные пряжки у меня лопнули». А Болотов уж и вовсе не скрывал своей робости, напротив, он без устали рассказывает случаи, когда «так испужался», что «стал в пень» и даже от страха «руки ел», — и не поймешь, то ли он так простодушен, то ли,

напротив, не без лукавства спорит с той ходульной и фальшивой героикой, которая встречалась ему на каждом шагу в одах, трагедиях и поэмах.

Итак — Чесменский бой в его двойном изображении.

Орловы, стоявшие во главе флота, Алексей и его младший брат Федор, прежде чем возглавить эскадру, шумно проехали по городам Европы, устраивая празднества, поражая роскошью, щедростью, веселостью, обаянием (и ростом тоже). Они проехали с блеском — полубоги! — и Хераскову нетрудно было перевести их в область античного мифа («не лесть Фортуне здесь плетет венцы лавровы, о вас известен свет, о храбрые Орловы»). Но для того чтобы организовать жизнь эскадры, командовать морским боем, мало богатства, обаяния, двух метров роста и даже энергии — нужны были технические знания и опыт, которых у братьев не было. Сколько бы ни сравнивал поэт Алексея Орлова с Марсом и Александром Македонским, истинного положения вещей это не скрыло, и, конечно, такой человек, как Долгоруков, не мог смотреть без раздражения на то, что делается во флоте под водительством братьев. Он вообще весьма иронически относится к тем, кому было поручено командовать флотом, не только к Орловым, но и к адмиралу Спиридову, который встречи с вражескими кораблями отнюдь не жаждал — «с одной стороны неопытность наших морских начальников, а с другой — нежелание воевать было причиной их медлительности. Флот наш зашел в Аглинской порт, где простоял семь месяцев, якобы за починкою кораблей, а самая причина, что адмирал все твердил: «Авось помирятся».

Феодор, красотой и младостью цветущий
И первый мужества примеры подающий,
С «Евстафием» летел в Нептуновы поля.

«Евстафий» — тот самый корабль, который сцепился с горящим кораблем капитан-паши (или, по Хераскову, которого толкнула на турецкий корабль несытая Дискордия). На «Евстафии» плыл Федор Орлов, брат Алексея.

Судьба Федора почему-то очень тревожит автора поэмы, который даже просит младшего Орлова умерить воинский пыл.

Но ты, младой герой! уйми свое стремленье...
Увеселение ты братиев твоих,
Жалей, Орлов, жалей цветущих дней своих.

Усердные просьбы к Федору Григорьевичу не губить свою молодую жизнь хотя бы ради братьев выглядят странно и, надо думать, вызывали улыбки читателей, тех, кто знал, как было дело. А дело было так.

Русские увидели турецкий флот в канале между островов, он был на якоре, выстроен в линию и лишь корабль капитан-паши стоял вперед кабельтов на шесть.

«По сигналу выступили мы в атаку, — рассказывает Долгоруков. — Первый корабль «Европа», пришед в дистанцию, поворотив вдоль турецкого флота, производил пальбу; за оным корабль «Евстафий» — тоже, а потом «Януарий». «Европа», пришед против капитан-пашинского корабля, увидел перед собой мель; опасаясь потерять корабль, повернул назад. Потом «Евстафий» думал то же сделать, но его паруса были весьма повреждены — начало корабль дрейфовать на капитан-пашинский, и думали, что будет ручной бой. Адмирал и граф Федор Григорьевич сели в шлюпку и погребли на фрегаты, стоящие в отдалении от флота, забыв на корабле: адмирал своего сына, а граф Орлов своего друга князя Козловского».

Итак, граф Федор Григорьевич, «первый мужества примеры подающий», очень даже «жалел цветущих дней своих» и энергично отбыл с горящего корабля; создается

впечатление, что автор проговорился в том, что отлично помнил, но что хотел бы забыть.

«Наш корабль,— продолжает Долгоруков,— сцепился с турецким: капитан Круз, увидя турецкий корабль пустой, послал на последней при нем имеющейся шлюпке адмиральского сына к графу Алексею Григорьевичу с поздравлением, что он взял турецкий корабль, но когда наши взошли на корабль, увидели внизу дым и второпях не старались гасить, а перебежали на свой корабль. Вскоре турецкий корабль был весь в огне, и наши люди с изумлением ожидали своего жребия, как вдруг с турецкого корабля мачта упала на наш корабль, и искры упали в крюйт-камеру, которая была открыта по причине сражения, и мгновенно наш корабль подняло совсем на воздух, и на обломки попали капитан Круз, штурман и человека четыре; прочие все погибли, и князь Козловский, а потом и турецкий корабль сгорел и тоже на воздух взлетел, а турки все перебрались на берег. Третий корабль из авангарда, «Януарий», еще прежде поворотил из боя вон».

В поэме Хераскова этот эпизод боя написан довольно точно. Правда, трагическую случайность, когда вражеские корабли сцепились снастями и не могли расцепиться, поэт представляет великой ловкостью русских: «Как зверь, запутанный в расставленных сетях иль голубь, у орла биющийся в когтях, не может Бей-Гасан от россов отцепиться», ради красоты и патриотизма отодвигая в тень тот факт, что и россы, несмотря на горячее желание, тоже отцепиться не могли. Но главное, конечно, в том, как описан эпизод с Федором Орловым.

Устами вестника поэт сообщает старшему Орлову, что его брат был с горящего корабля «в ладью спущен» (мы видели, что это произошло задолго до того, как турецкий корабль загорелся, а не сразу, как только корабли сцепились), и тут же восклицает с поспешностью: «прерви ту повесть, муза», чтобы дальше перейти к чудесному спасению капитана Круза и его товарищей, взрывом выброшенных в море. Эта внезапная просьба музе умолкнуть весьма красноречива. И опять же нетрудно представить, как в дворянских гостиных, особенно оппозиционной Москвы, героем и любимцем которой стал потом Долгоруков, хохотали, читая это место. Вообще одическая лесть встречала не раз иронический отклик, особенно передовых людей XVIII века,— достаточно взглянуть на уничтожающие заметки, которые делал Федор Каржавин на полях «Оды на взятие города Очакова» того же Хераскова.

Увидев, как взорвался «Евстафий», Алексей Орлов,— так рассказывает Долгоруков,— бросил бриллиантовую табакерку и «только выговорил: ,,Ах, брат!“».

Для Хераскова при его литературном методе эта сцена слишком бедна, ему нужны громкие, пылкие речи, в которых выражались бы пылающие страсти.

У Хераскова Алексей Григорьевич видит, что

...пламя вдруг «Евстафия» объемлет.
Вздрогнуло сердце в нем, он вопль и громы внемлет;
Поколебалося и небо и земля.
Взглянул на свой корабль — но нет уж корабля!..
«Погиб, любезный брат, погиб ты!»,— вопиет,
И те слова твердя, без памяти падет.

И уж конечно, не обошлось тут без мифологических реминисценций — Херасков сравнивает страдания Орлова с горем Ахилла, узнавшего о смерти Патрокла.

Перед нами не просто вопрос правды или неправды данного события, мы имеем дело — и это важно для нашей темы — с двумя разными художественными методами и способами вúдения.

Высокопарные вопли Орлова, его романтический обморок и соседствующие с ним холодные литературные сравнения — все это принадлежность ложной, умышленной литературы, которой хватало, как мы видели, на то, чтобы нарисовать пусть условную, но несомненно живую картину встревоженного моря и яростного морского сражения, но которая простых человеческих чувств выразить не могла.

У Хераскова живая жизнь перегружена ненужной и даже противопоказанной ей пышностью, в конце концов (с нашей точки зрения, Херасков так не думал) испорчена притворством и приторностью. Простой рассказ Долгорукова несравненно художественней — его принцип противоположен и куда более действен: из сложного, многослойного куска жизни, взятой в момент ее крайнего напряжения, он выбрал строго, честно и самое главное — именно это: «только выговорил: “Ах, брат!”» и брошенная (бриллиантовая!) табакерка. Херасков много говорит и ничего не достигает. Долгоруков в словах экономен и самыми скупыми средствами передает все, что нужно,— и горе Орлова и его характер.

А Хераскову между тем все еще мало трагических красот, он подробно разрабатывает тему страданий старшего Орлова, которого «зовет Феодорова тень, виясь меж кораблями»,— и это нам тем более любопытно, что примерно в то же время, когда тень Федора Григорьевича вилась меж кораблями, сам он, сидя вдали от боя, ел яичницу, во всяком случае именно за этим занятием застал его брат. «Граф Алексей Григорьевич, Грейг и я,— пишет Долгоруков,— поехали их (Федора Орлова и адмирала, о том, что они живы, было уже известно.— *О. Ч.*) отыскивать, нашли графа Орлова — в одной руке шпага, а в другой ложка с яичницей, адмирала с превеликим на груди образом <и> большая рюмка водки в руках. Мы взяли их и перевезли к себе на корабль».

Херасков, конечно, знал, как произошла эта встреча, о ней, вне всяких сомнений, тоже рассказывали на флоте, но как мог он в своей поэме представить истинное положение дел? Здесь опять же вопрос не правдивости, а художественного метода. Алексей Орлов поэмы, узнав, что брат жив — «стихии страшные, огнь, вихри и вода!.. В первый в свете раз смягчились для героя»,— воздев глаза к небу, горячо его благодарит (но ведь это же классицистический барельеф!), а потом ждет лодки со спасенным братом.

Увидел! — раздались в волнах веселья звуки:
Друг к другу издали они простерли руки.
И будто по волнам бежать они хотят,
Друг к другу с током слез в объятия летят.

О, как возликовали тут тритоны, наяды и нереиды! — возможно ли, уместно ли было ввиду них упоминание о яичнице?

Разумеется, Херасков был честен, когда наполнил картину боя наядами и пустил лететь свою Дискордию, он воспользовался мифологическими образами (столь милыми и понятными эпохе Просвещения), чтобы выразить силу и напряженность чувств. Он не отступал от реальности. Кстати, для несытой Дискордии можно было бы найти аналог в картине великого реалиста Брейгеля: его «Безумная Грета» — дикая старуха-мародерка, шагающая по растерзанной стране,— оба чудовища правдиво выражают сатанинское начало войны.

Но художественные возможности поэта оказались ограничены его собственным методом, диктовавшим ему «возвышенность», которая в конце концов вовсе оторвалась от реальной почвы (и в конце концов привела к прямой лжи). Будущее было за тем литературным методом, который создала мемуарная литература. Ведь, действительно,

мемуары писали, как правило, те, кто так или иначе был удален из столичного центра, избежал в общем-то пагубного влияния двора, те, кого не видали в передних фаворитов, кто не кланялся из-за чинов (или, как Болотов, кланялся, да перестал).

Болотов уехал в деревню, как только вышел указ о вольности дворянства,— сознательно, «программно» уехал, потому что «имел случай видеть большой свет, видеть двор и все происходящее в нем, насмотреться жизни знатных и больших бояр и насмотреться до того, чтоб получить к ней и ко всему виденному омерзение совершенно». Ю. В. Долгоруков вышел в отставку, тоже вдоволь наглядевшись на Орловых и Потемкиных; армейский офицер Пишчевич, который двора вовсе не видал,— все они и многие другие, жившие в полуопальной Москве или в провинции,— вот обычные авторы мемуаров. Ни Орловы, ни Потемкин, ни Зубовы мемуаров не писали. Написала записки Е. Р. Дашкова, написала сама Екатерина, но в этих записках нет той непосредственности, которая свойственна мемуарам XVIII века. К тому же они писали по-французски, что снижает ценность этих записок, потому что одно из самых существенных достоинств русской мемуаристики XVIII века — это, конечно, ее язык.

Мы находим здесь редкое богатство языка, оригинального, чистого, своеобразного, свободного от той ужасной иностранщины, которой так густо замусорила русскую речь петровская эпоха. Может быть, ничто не отражает так новой стати человека XVIII столетия, как язык мемуаров. Он исполнен достоинства, спокоен, в нем нет напыщенности классицизма, некоторой слезливости сентиментализма, он куда проще и строже. Он правдив.

«С сего времени до 30 лет моей жизни все места, где только я ни жил, даже переезжал, до самых малейших подробностей весьма помню... Так, например, на пятом или шестом году моего века, едучи осенью из Почепа в Баклань, при захождении солнца спускалась наша повозка с небольшого бугорка к реке Судости. От солнечных лучей, скользящих, что теперь знаю, по гладкой поверхности воды, казалась она огненною; через нее летело несколько сорок в лес ночевать. Глядя на все сие, я не знаю отчего, стало мне очень грустно. Сия картина и теперь еще так жива в моей памяти, что я, кажется, мог бы ее нарисовать. С того времени воззрение на заходящее осеннее солнце всегда в душе моей производит уныние». Эта великолепная проза принадлежит Григорию Винскому, мелкопоместному дворянину екатерининской эпохи, который только тем посмертно и стал известен, что написал эти записки, найденные где-то Александром Ивановичем Тургеневым.

Мы недаром задержались на особенностях русской мемуаристики второй половины XVIII века: нетрудно убедиться, что портретная живопись и проза мемуарной литературы родственны друг другу не только потому, что рождены примерно одним и тем же временем,— они принадлежат одному и тому же восприятию жизни, относятся к одному и тому же художественному методу. Строгость, простота и правдивость отличают и слово мемуариста, и кисть художника. Портретисты отходят от высокого барочного стиля, их уже не привлекает выспренний язык аллегории, их влечет простота. Чтобы почувствовать это, достаточно самого беглого взгляда. Как бы ни были различны, например, модели Левицкого, все они объединены общим свойством — сдержанностью. Возьмем ли мы портрет совсем юной девушки (М. А. Дьякова) или мужчины в расцвете лет (Я. Е. Сиверс), в отрешенной задумчивости Дьяковой, в энергичной сосредоточенности Сиверса мы увидим ту же благородную сдержанность (она же определит и колорит обеих картин). Слово мемуарной прозы, сдержанной, простой и правдивой, вполне достойно того, чтобы его сопоставили с великими портретами XVIII столетия.

ГЛАВА II

О СВЕЖЕМ ВЕТРЕ И ТЯЖКОМ ПЛЕНЕ

Обычно портреты XVIII века разделяют (в значительной мере условно) на репрезентативные (парадные), которые говорят о том, каким хотел себя видеть человек, каким хотело видеть его общество, и интимные, не столько демонстрирующие общественное положение человека, сколько раскрывающие его душевный мир. Сопоставить с мемуарами всего интересней, конечно, именно лирический портрет.

Но ведь и в мемуаристике есть своя репрезентативность: многие авторы заняты почти исключительно собственными служебными делами, в том числе повышениями и наградами. Любопытный пример являют записки фельдмаршала Миниха. Он приехал в Россию при Петре I. Военный инженер, полководец, политический деятель, он строил, воевал, интриговал. При Анне Леопольдовне достиг колоссальной власти — и вдруг рухнул с елизаветинским переворотом, был арестован, приговорен к смертной казни, положил голову на плаху (поразив свидетелей хладнокровием), но, помилованный, сослан в Сибирь. Петр III вернул его ко двору, и старик остался верен императору; в роковые июньские дни 1762 года, когда Екатерина уже объявила себя самодержицей, а Петр III метался в Петергофе, Ораниенбауме и, наконец, на двух суденышках по Финскому заливу, именно Миних давал тогда ему трезвые (правда, уже бесполезные, но они этого еще не знали) советы. Такую жизнь и в нескольких томах не опишешь — авантюрный роман! Но фельдмаршал описывать ее не стал (в первой половине XVIII века еще не писали лирических мемуаров).

Если сравнить любой портрет Миниха и его записки, и тут и там мы найдем примерно одну и ту же «репрезентативность»: как портрет представляет нам благовидного генерала в орденах, так и записки являют собой в основном послужной список.

Дело здесь не только в неумении рассказать о себе — эпоха так высоко ценила государеву службу, что многие мемуаристы с гордостью представляют на суд потомкам именно свой послужной список, свои посты и ордена. Сам Державин, как видно, считал наиболее важным в своей жизни службу; недаром он отчужденно пишет о себе в третьем лице (что, впрочем, было принято в ту эпоху). В его записках мы видим Державина — солдата, офицера, Державина — крупного чиновника, сенатора. Державина — поэта в его записках, собственно, почти нет.

Тем не менее общий процесс в мемуаристике — это расцвет личного, интимного начала. Тем же путем идет и портретная живопись. Их сопоставление даст нам очень много для понимания не только данных людей или данных событий, но и самого духа эпохи, круга ее интересов, уровня ее мышления и чувств.

В Третьяковской галерее висит картина Д. Г. Левицкого «Екатерина II-законодательница»; впрочем, создавал ее не один Левицкий, литературную композицию и программу придумал и разработал Н. А. Львов (всякий, кто хоть сколько-нибудь занимался культурой XVIII века, знает разнообразие и обаяние этого таланта). Картина чисто аллегорическая, а язык аллегорий в XVIII веке был, как мы видели, сложен и велеречив.



Д. Левицкий
Екатерина II-законодательница
Начало 1780-х гг.

На картине — храм богини правосудия, сама богиня с весами в руках восседает на задрапированном пьедестале, но она отодвинута в сторону, потому что центральное место занято ее жрицей Екатериной. Царица сжигает на жертвенном огне алые маки (это значит: на благо общества она приносит свой покой); у ног ее лежат книги, на книгах «вооруженный Перуном» орел сторожит содержащиеся в них законы. Перед нами, казалось бы, холодная, умышленная аллегория, а картина получилась живой и горячей.

С аллегориями XVIII века происходят порой такие странные вещи. Казалось бы, эти отвлеченные построения не только рационалистичны, но и расчетливы, а подчас прямо льстивы и подобострастны; все эти торжествующие Минервы, все эти Славы и Виктории, венчающие героев, они скорее риторика, чем искусство. Но как порой бывает интересно и весело смотреть на этот великолепный поток апофеоза, свободный разворот фигур, нагромождение облаков,—все это клубящееся, мчащееся (на колесницах, на дельфинах, в собственном полете) несомненно отражает XVIII век, его энергию, его устремление и надежды. Тогда аллегория, которая так часто является нам напыщенной и скучной, вдруг наполняется жизнью — и возникает как бы своего рода аллегорический реализм. Да, конечно, перед нами рационалистическое искусство, но все дело в том, что рационализм XVIII века сам был в расцвете, в полете, он был душой и движущей силой культуры своего столетия (вот уж когда были «физики в почете» — от разума, от образования, от науки и только от них ждали многие передовые люди эпохи счастливого устройства на земле) и мог вместе со всей своей атмосферой надежд и уверенности в победе дать жизнь искусству. Уместно напомнить тут наблюдение, сделанное когда-то Н. Н. Пуниным, отметившим отличие русского и западноевропейского аллегоризма. Западноевропейские академические художники, имея за плечами большую живописную традицию, были виртуознее; русская аллегория грубовата, а порой и неуклюжа. Зато ее идейное содержание значительно шире, чем у западноевропейской, последняя чаще всего прославляет великих мира сего, подчеркивая их разнообразные добродетели, «а русские, сверх того, пытались еще выразить в аллегорической композиции целые исторические события, этические постулаты и сложную цепь нравоучений; русские художники были в большей степени философами и дидактиками, чем громадное большинство западноевропейских живописцев». В аллегорическом построении Н. А. Львова тоже очень сильно нравственно-дидактическое начало.

«Екатерина II-законодательница» из Третьяковской галереи — вещь артистическая, написанная с воодушевлением, с живописным размахом и силой. Аллегория здесь ожила. Широко и свободно движение Екатерины, буйные занавесы у нее над головой похожи на корабельные снасти (их красному цвету откликается сливочная белизна платья царицы), а в тумане видно море и в нем уже настоящий корабль, вьется на мачте военно-морской флаг с андреевским крестом (это, конечно, воспоминание о победах русского флота при Чесме!). Словно бы ветер прошел по храму, взвил занавес и смял ковер на полу. Курится в сизом дыму жертвенник — и дым над ним размыт ветром! — темно тлеют угли. Сама Екатерина, молодая, веселая, ничем от моря не отгороженная, она не только часть этой живой жизни — именно от нее-то и идет заряд энергии, сообщающей картине жизнь. Чтобы вполне понять интонацию вещи, ее силу и новизну, любопытно сравнить ее с портретом Елизаветы, какой ее изобразил Л. Токке. Царица стоит недвижно, окутанная пышной роскошью; мы только и видим, что эту величавую статуарность в мехах и драгоценностях; гигантский разворот мантии, толсто затканной орлами; корона, скипетр, держава. Все здесь живо — и ткани, и шитье, и драгоценности, и мебель; одна только императрица нежива, она стоит, недвижная, без



Д. Левицкий
Екатерина II-законодательница
1783



Ф. Шубин
Екатерина II-законодательница, мрамор
1789

чувства, без мысли. С помощью пышных шелков и сверкающих алмазов утверждается ее величие: она не в состоянии увлечь, она может только поразить и подавить властностью.

А Екатерина Левицкого в простом белом платье, перехваченном поясом, мантия так далеко откинута за плечи, что ее почти не видно, царских регалий и вовсе нет, если не считать малой короны, которую на голове едва различишь. Совсем нет в этой царице заносчивости или авторитарности, желания поразить или подавить. Зато есть веселая энергия, а широкое, приглашающее движение как бы говорит: у нас идет славная работа, приходите. Перед нами уже иная эпоха.

Но в Государственном Русском музее в Ленинграде хранится вариант той же картины — тот же храм, тот же жертвенник, та же богиня правосудия в правом верхнем углу, тот же орел на книгах. Но картина получилась не только иной по своему духу и настроению, но даже прямо противоположной по смыслу. Живопись потеряла размах, силу и теплоту колорита, она стала гладкой и прилизанной; изменилось освещение — картину залил холодный желтоватый свет. Улегся ветер. Занавес, уже не красный, а бутылочно-зеленый, вяло свисает, ковер на полу гладко расправился и оброс добропорядочной бахромкой. А самое удивительное превращение произошло с героиней. Она стоит, совершенно так же протянув руку к жертвеннику. Но она уже стоит обособленно, четко отгороженная — снизу ровным полом, сверху — спокойным занавесом, а от моря — ровной балюстрадой; кстати, на стоящем вдали корабле уже не военно-морской флаг, а российский — «где на военном щите,— гласит нам разъяснение,— меркуриев жезл, означающий защищенную торговлю» (ушла победная романтика андреевского флага!). Екатерина Русского музея тоже в белом платье, но теперь на нем зеленоватые рефлексы от бутылочного занавеса. Ярче выступили суетные знаки царской власти: орденская цепь выписана с четкой тяжестью, ярко переливается муаровая лента, орлы на мантии — как кованые. А главное, самою Екатерину тут словно подменили. Движение ее — тоже рука, приглашающе протянутая,— теперь салонно, а если и приглашает, то всего вернее к столу или в гости. Улыбка холодна и любезна — перед нами слащавая дама, притворщица.

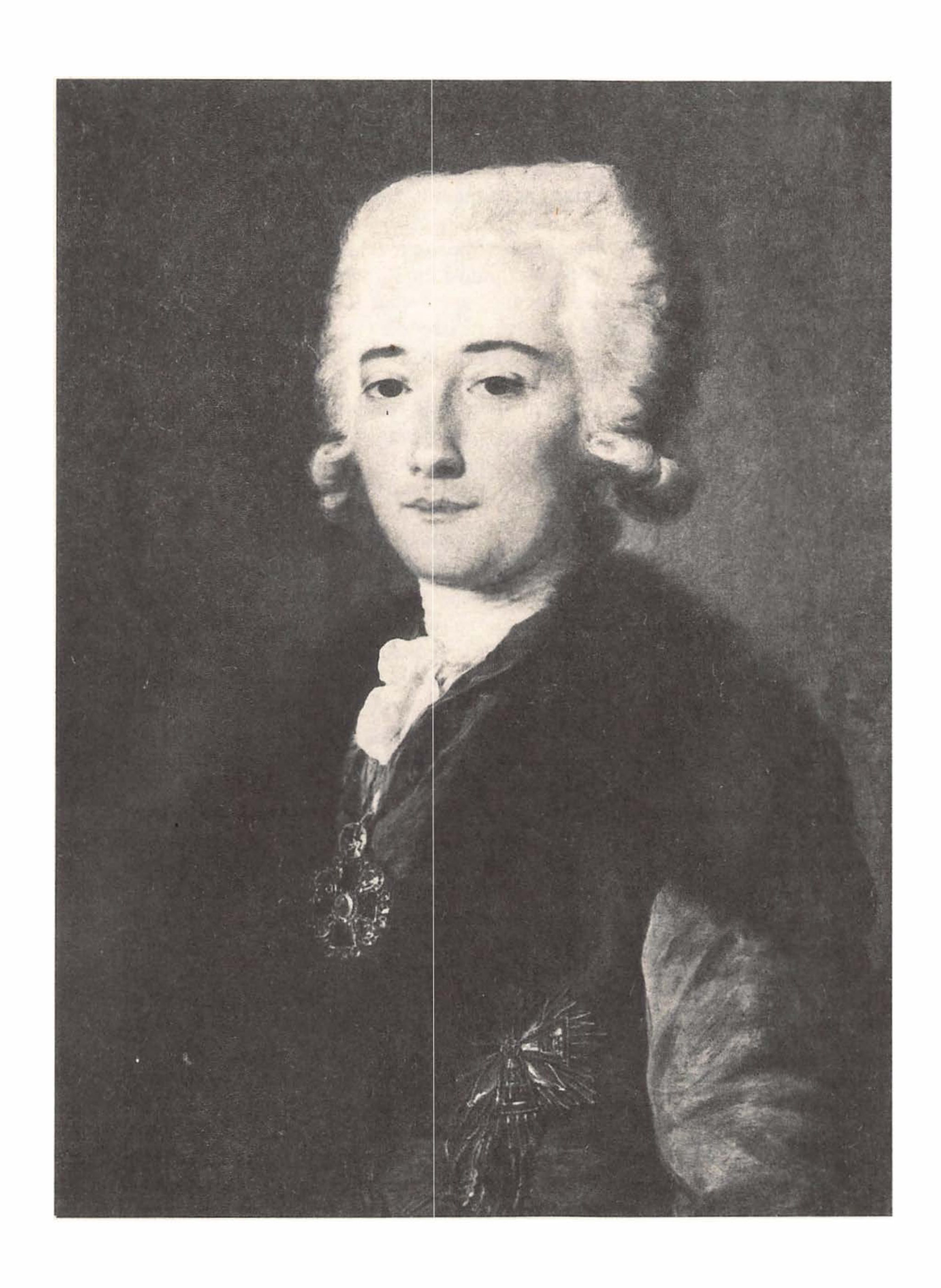
Обеих Екатерин, если судить по их внешнему виду, отделяет лет 10—15, и легко было бы предположить, что Левицкий писал эту женщину в разные периоды ее жизни и она просто успела состариться. Но в том-то и дело, что первая картина относится примерно к концу 70-х годов — началу 80-х, а вторая — к 1783 году, значит, на первой — императрице, самое меньшее, к пятидесяти, на второй — за пятьдесят. Может быть, художник в первом варианте просто выдумал свою героиню, а во втором был верен правде? Но почему же тогда первая картина, придуманная, исполнена жизни и несомненной искренности, а вторая, реальная, неинтересна и мертва? Кстати, в том же Русском музее стоит скульптура Федота Шубина на тот же сюжет «Екатерины-законодательницы», мраморная царица очаровательна, молода, полна ума и обаяния, нет сомнений, ее ваяла влюбленная рука — такую вещь сделать без любви, а с одним лишь расчетом на гонорар, орден или иную выгоду невозможно. Между тем работа Шубина относится к 1789 году, когда Екатерине было шестьдесят.

Но ведь перед нами аллегория, которая не обязана воспроизводить реального человека, она дает концепцию его и его общественной роли. На самом деле реальная Екатерина была не такой, какой предстает на картинах Третьяковки или Русского музея, а примерно такой, какой ее написал в 1787 году Михаил Шибанов.

Этот удивительный, «таинственный» (как его назвали искусствоведы «Мира искусства») художник происходил, по-видимому, из крепостных, появился как бы неизвестно откуда со своим уже сложившимся высоким мастерством, со своей



М. Шибанов
Екатерина II в дорожном костюме
1787



М. Шибанов
А. М. Дмитриев-Мамонов
1787

предельной правдивостью (и тягой к чисто народному сюжету, картинам крестьянского быта). Он был выдвинут Потемкиным (стал его живописцем), был вызван им в Киев, чтобы писать с натуры императрицу (честь, которой не удостаивался даже Левицкий, писавший Екатерину по другим портретам) и ее тогдашнего фаворита А. М. Дмитриева-Мамонова. Шибанов и тут, при исполнении царского заказа, остался предельно правдив.

Портрет Екатерины на удивление прозаичен. Царица похожа на мужчину — перед нами именно пожилой мужчина с лицом еще крепким (но все же линии его чуть волнятся жиром), с румянцем, несомненно, здоровым (но уже чуть склеротическим). И меховая шапка с кистью, висящей над левым плечом (Екатерина в дорожном костюме), и дородность, и красный кафтан с орденами, и твердый рот, и деловой взгляд — это крепкий хозяин (кстати, мемуаристы говорят, что в ее повадках той поры, манере кланяться, например, появилось нечто мужское), сильный, волевой — никаких мечтаний или возвышенных порывов, никакой романтики, только дело.

Значит ли это, что в композиции Левицкого «Екатерина-законодательница» и в скульптуре Шубина дана нам аллегория настолько отвлеченная, что уже к реальной Екатерине отношения не имеет?

Но если аллегория дает концепцию человека, значит, она все же имеет к нему отношение — это понимание его личности, а главное, его общественной роли, пусть и апологетическое. Да и восторг восторгу, как видно, рознь. В картинах Левицкого отношение к главному персонажу столь различно, что невольно возникает мысль: перед нами едва ли не противоположные взгляды на одного и того же человека; первый взгляд действительно восторженный, а во втором восторг сильно охладел.

Столь резкое отличие двух картин одного и того же художника на один и тот же сюжет давно уже замечено искусствоведами и воспринято как загадка. Ее пытались решить таким образом: официальный, заказной портрет царской особы не может быть написан искренне и свободно, художник обязательно угнетен требованиями заказчика и жестким регламентом условностей, все это должно сковывать вдохновение, сушить краски — тогда-то и получается Екатерина Русского музея, холодная, приторная, лакированная вещь. Но как в таком случае быть с Екатериной из Третьяковской галереи, откуда в этом официальном, заказном портрете царствующей особы появились и радость, и вдохновение, и отличная живопись? «Похоже на то,— говорится в одной из монографий,— что Левицкий писал эту вещь без оглядки, с увлечением, ставя перед собой и решая вполне определенные живописные задачи». Таким изъятием из картины концепции, превращением ее в эскиз (недаром «Екатерину-законодательницу» Третьяковской галереи в искусствоведческой литературе одно время называли эскизом), более того — в простое живописное упражнение, ни на какую мысль не претендующее, пытались решить загадку, явно ее не решая, настолько первая Екатерина полна жизни и мысли. Кстати, когда в 1793 году Левицкий сделал на тот же сюжет рисунок (итальянский карандаш и белила), он повторил именно первую картину с ее энергией и порывом ветра, причем этот характер благодаря графической технике выявлен еще ярче. Значит, художник, а за ним и другие (именно с этого рисунка делал гравюру Н. Уткин) считали первый портрет Екатерины отнюдь не эскизом, а лучшей и основной картиной этого сюжета.

На самом деле в двух разных «Екатеринах-законодательницах» Левицкого никакой загадки, как мне кажется, нет, здесь недоразумение, которое всего верней объясняется незнанием модели и даже искаженным представлением о ней. Мы снова стоим перед необходимостью проникновения в эпоху, в ее события и атмосферу, идейные течения, в ее социальную психологию и в самою социальную борьбу.

Далеко не всегда нам удается сопоставить портрет человека с его собственными мемуарами или с теми записками, где говорится именно о нем,— есть великолепные мемуары людей, чьи портреты до нас не дошли (или дошли маловыразительные); есть великолепные портреты людей, не написавших ни строчки. Поэтому нам предстоит подчас сопоставление «вообще», когда портрет будет поставлен на общий фон современной ему мемуаристики. А начать, как мне кажется, лучше всего именно с Екатерины, которая сама о себе очень много рассказала, о ней немало рассказали окружающие, и портретов ее великое множество.

Начать с Екатерины важно не только потому, что она более трети века была у власти, имела возможность влиять и влияла на современное ей русское общество. Самое для нас важное заключается в том, что она с необыкновенной яркостью и полнотой выразила свой век с его особенностями, сложностью, глубокими и острыми противоречиями.

Вместе с этой нетривиальной личностью мы войдем, таким образом, в самую суть социальных и социально-психологических противоречий, свойственных второй половине XVIII века России.

О Екатерине расскажут прежде всего ее портреты; правда, хороших и подлинных не так уж и много (по большей части сама она художникам не позировала, они писали по предыдущим ее изображениям: существовало несколько устойчивых типов ее портрета — тип Рокотова, тип Лампи и т. д.). Мы будем говорить о тех, где чувствуется реальный характер и живая жизнь — будь то реальность изображения или реальность отношения к модели.

Начнем с самого первого портрета, написанного в России,— с портрета кисти Луи Каравака (1745). Екатерина недавно приехала в Петербург невестой великого князя Петра Федоровича, наследника престола, была встречена приветливо, только что получила орден св. Екатерины (с ним она и изображена). Ей тут пятнадцать, мать еще при ней, но скоро уедет, и останется девочка одна среди чужих людей. Она владеет немецким (родной) и французским, здесь иные говорят по-французски, в том числе и императрица Елизавета, но все же кругом непонятная речь,— и она начинает старательно учиться русскому, настолько старательно, что, когда ее крестят в новую веру (из лютеранства в православие), она так чисто произнесет по-русски символ веры, что кругом все умилятся, а иные заплачут, в том числе и Елизавета. Правда, символ веры Екатерина затвердила, по ее словам, как попугай, но язык учит старательно и будет говорить на нем хорошо (а писать будет очень плохо до самой смерти — впрочем, многие дворяне, коренные русские, если вообще писали, то писали не лучше, да и говорили часто с сильным акцентом, особенно в конце XVIII — начале XIX века).

Каравак приехал в Россию еще при Петре I и стал русским художником не только потому, что вошел в художественную жизнь страны и создавал портреты русских царей и придворных, но и потому, что сам подвергся сильному влиянию русской живописной школы.

В своих записках Екатерина упоминает об этом портрете.

«Она (Елизавета.— *О. Ч.*) стала говорить со мной по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала, и тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение <...> Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком, и оставила его у себя в комнате; это тот самый, который скульптор Фальконет увез с собою во Францию; я была на нем совсем как живая».

Каравак — далеко не первоклассный живописец, в его портрете куда больше статуарности, чем в уже известной нам Сарре Фермор, к тому же здесь в застылой позе модели нет той затаенной жизни, которой живет юная вишняковская героиня.



Л. Каравак
Великая княгиня Екатерина Алексеевна
1745

Плоское тело Екатерины неотчетливо отделяется от фона, как бы тонет в нем, но насыщенная коричневая гамма (меха, платье, каштановые волосы) красива и благородна (чуть легкого кружева, чуть драгоценностей, цвет красной орденской ленты притушен), ничто не отвлекает нашего внимания от розового лица юной модели. Это длинное изящное лицо с маленьким, слегка вдавленным ртом, углы которого углублены тенями, оттого создается впечатление, будто вот-вот появится улыбка (которую впоследствии не раз опишут и прославят — здесь ее, пожалуй, можно угадать); волосы сильно оттянуты назад и открывают выпуклый лоб. А главное — глаза, большие, светящиеся, очень яркие, темно-серые, словно бы потемневшие от всего, что довелось недавно увидеть, от любопытства, надежд и предвкушений.

Жить этой девочке интересно — еще бы! Она, принцесса по титулу, а на самом деле дочь небогатого прусского чиновника (ее отец, принц Ангальт-Цербстский,— комендант, а потом губернатор Штеттина), переехав русскую границу, оказалась не то в сказочном царстве, не то в счастливом сне. В царских санях, выложенных соболями, они с матерью въезжали в русские города под колокольный звон и пушечную пальбу, их встречали блестящие вельможи, их осыпала милостями сама императрица. А впереди...

Перед нами лицо живое, гармоническое (мать в детстве убеждала Екатерину, что та дурнушка и что, так сказать, в целях компенсации должна быть умной; множество людей, видевших ее в дни юности и молодости, говорят, что она была хороша), но есть в нем нечто и себе на уме. Это уже и сейчас волевое лицо. Из ее собственных признаний — а она уже тогда довольно четко себя понимала — мы узнаем, что она честолюбива (огонь честолюбия всегда будет ярко гореть в душе Екатерины), что ее мало привлекает будущий супруг, нескладный и, главное, неумный, зато очень влечет (давно и отчетливо, еще в Штеттине влекла) русская корона.

До короны далеко. Она еще не знает, что ей предстоит семнадцать лет крутиться и выкручиваться в сложнейшей обстановке двора: он и всегда-то бывает по структуре сложен, а тут — особенно, поскольку водил хоровод вокруг женщины, может быть, и не лишенной достоинств, но все же капризной, вздорной и невежественной. Елизавета очень скоро невзлюбила новую свою племянницу и, кажется, вообще не раз пожалела о своем выборе. Екатерине сразу же запретили связь с родными; она была, очевидно, умна, ее стали опасаться. Она ушла в одиночество, в самообразование, в книги, все глубже раскрывавшие перед ней мир Просвещения. Но честолюбие снедало ее, жажда короны была неодолима, а корона, хоть и полагавшаяся им с мужем по праву (поскольку Петр Федорович был законным наследником престола), могла от нее ускользнуть: ей, как и всем, было хорошо известно, что враги ее в случае смерти Елизаветы могут выдвинуть собственного претендента, да и на мужа, который открыто ее не любил, надежда была невелика. И вот все больше и больше она вмешивается в дворцовые интриги, об умной великой княгине уже знают при иностранных дворах Европы, ее уже учитывают в политической игре, а она работает без устали, по ее словам, не меньше, чем иной министр,— и голова у нее идет кругом от той опасной игры, которую ведет сама и которую ведут вокруг нее.

От этого времени осталось несколько портретов Екатерины, по большей части репрезентативных, где нет ни характера, ни порой даже простого сходства. Между тем характер у этой женщины был редкий. С необыкновенной дерзостью ведет она переписку с английским послом, занимает у Англии деньги, обещая расплатиться, когда станет императрицей. В письмах, не скрывая, что ждет смерти Елизаветы, сообщает, что у постели больной императрицы дежурят трое ее шпионов, друг друга не знающих, готовых при первых знаках агонии сообщить ей — и тогда она войдет

прямо в спальню умершей с преданными ей гвардейцами. Переписка производит весьма тяжкое впечатление цинизмом, с каким Екатерина ждет смерти больной, той жестокостью, с какой радуется роковым признакам близкого конца (который, однако, в тот год не наступил). Мы видим: жесткой стала эта душа. А потом, когда она вся в черном, заплаканная, с распущенными волосами, воплощением скорби и горя явится у гроба Елизаветы, мы понимаем, что душа эта стала лицемерна. Переворот 1762 года (свержение Петра III) был осуществлен дерзко и счастливо, он многократно описан в литературе, его изображали и художники: Екатерина в мундире Преображенского полка (ей одолжил его в те жаркие дни один из офицеров), с распущенными волосами, верхом на своем любимом Бриллианте впереди войск. Есть и гравированный портрет, где она в том же мундире, в треуголке, к которой приколота дубовая ветка (такие ветки прикалывали в те дни к своим треуголкам ее приверженцы). Лицо ее полно жизни — это победительница, умница, само обаяние.

Но скажем сразу: становиться между этой умницей и властью было смертельно опасно.

А между нею и властью все-таки еще стоял ее муж, хотя и сдавшийся, хотя и готовый принять любые условия, но все же — законный император. Низложить его было не так уж трудно, поскольку он, допустив грубейшие политические ошибки, восстановил против себя многих и особенно гвардию. Но все же он был законным императором. Так до сих пор мы и не знаем, была ли Екатерина повинна в его смерти. Известное письмо Алексея Орлова, где он с воплями раскаяния говорит об убийстве Петра (как в ссоре за картами государь заспорил с князем Барятинским, «так его и не стало»), кажется искренним («Помилуй меня хоть для брата! <...> Свет не мил; прогневили тебя и погубили души навек»), да только сам-то человек был до крайности двуличен; письмо его можно трактовать двояко: как событие, для Екатерины неожиданное, и как заранее договоренный ход, который должен был в случае необходимости — если у нее спросят — ее оправдать и вывести из игры; этого хода не сделали, потому что с нее никто не спросил, а записка Орлова до самой смерти Екатерины пролежала в особой шкатулке.

Так или иначе, смерть этого человека на совести Екатерины; была пролита кровь, и это не могло не отразиться на ее характере. И еще раз, когда речь зайдет о власти, она прольет кровь. История офицера Мировича, пытавшегося освободить из Шлиссельбурга Иоанна Антоновича («казненного вместо Екатерины II»,— как в запальчивости скажет Герцен), тоже ведь таинственна, уже среди современников ходили разговоры, а теперь иные авторы убеждены, будто не без ведома Екатерины произошло само нападение Мировича на шлиссельбургский гарнизон (а поскольку еще Петр III предписал, а Екатерина это предписание подтвердила, что при попытке к освобождению Иоанн должен быть убит, то стража его и убила).

Словом, две подозрительные истории, обе кровавые, убравшие с ее пути разом двух соперников, равно опасных.

Есть еще и третье доказательство того, как беспощадна была Екатерина к любому, кто становился между нею и властью,— «княжна Тараканова», «авантюрьера», кстати, для Екатерины тоже смертельно опасная, так как направила свои удары в самые болезненные точки екатерининской внешней и внутренней политики: Польша, Турция и Пугачев (которого самозванка называла братом). В этой истории уже никакой таинственности нет — эта женщина была предательски заманена на корабль тем же Алексеем Орловым, доставлена в Петербург и умерла от туберкулеза в Петропавловской крепости. А если представить себе, что она умирала в каземате



А. Антропов
Петр III
1762

крепости, расположенной как раз против дворца, прямо ввиду его окон, то образ Екатерины, и без того мрачный, представится нам в совсем уж погибельном свете.

Но сейчас наша сцена осветится ярко и празднично, мы видим Екатерину, пришедшую к власти. Прежде всего — великодушную. Она не тронула никого из своих врагов, приверженцев мужа,— невиданное дело: все предшествующие перевороты сопровождались репрессиями, часто зверскими казнями, ссылками, конфискациями. Даже Елизавета Воронцова, фаворитка Петра III, принесшая Екатерине столько горя и унижений, для ее гордости непереносимых, не претерпела никаких особых неприятностей.

Месть, злоба и тем более мелкие женские дрязги императрицу не занимали. Ей было не до того: дел у нее — непочатый край.

В бурном 1762 году художник Алексей Антропов, ученик И. Вишнякова и учитель Д. Левицкого, написал два эскиза, безусловно, разделенных днем переворота 28 июня: на одном изображен самодержец Петр III, на другом — самодержица Екатерина II. Эти два небольших эскиза близки по размеру и по композиции, но вместе с тем настолько несхожи, что (как отмечено в книге И. М. Сахаровой об Антропове) вряд ли они были задуманы как парные, очень уж они различны по стилю, настроению, программе.

Петр III стоит в узком, красиво заставленном пространстве, и кажется, что здесь царит ночь: тонут во мраке коричневые стены, темно-зеленые колонны и занавес, наконец, фон, переходящий в прямую черноту, где весь в ярких бликах горит изящный рокайльный столик (а на нем грудой сверкают императорские регалии, разложенные на мягком красном бархате,— художники замечательно умели писать блеск драгоценностей и фактуру тканей); с другой стороны — трон, тоже весь в мерцании резьбы и украшений, на нем брошена горностаевая мантия. Но все это драгоценное мерцание притушено, чтобы не мешать световому лучу, выхватившему из мрака фигуру Петра. Здесь палитра становится яркой — золото перевязи с тяжелыми кистями, шитье темно-зеленого, как бы снова отступающего во мрак, камзола — и неожиданно огненные пятна отворотов и воротника. Узкая фигурка и сама как драгоценность на темном бархатном фоне. Но если к ней приглядеться...

До нас дошло множество портретов Петра III (в том числе и писанных Антроповым), и потому мы можем сказать, что император на эскизе несомненно похож. Он выступает горделиво, рука с маршальским жезлом эффектно опирается о столик с императорскими регалиями, другая — уперта в бок, нога в высоком со шпорой сапоге с важностью выставлена, корпус горделиво откинут. Но никакого величия при этом не получается, поза подчинена какому-то несерьезному танцевальному ритму, что-то менуэтное есть во всей этой хрупкой фигуре с ее несоответственно маленькой головкой и вместе с тем что-то птичье — не то чиж, не то дрозд. Но если вглядеться в лицо, впечатление живости пропадает — глаза сонные, физиономия тупая.

И сколько разом всего вспоминается в связи с этим портретом! Рассказ Якова Штелина (приставленного к Петру Федоровичу еще в те времена, когда тот был великим князем) о том, как в родной Голштинии девятилетний мальчик, сын герцога, бредивший военными ученьями и парадами и бывший в войсках своего отца унтер-офицером, стоял во время парадного обеда у дверей на часах и с тоской смотрел, как за столом отец и гости пируют без него. В конце концов отец сжалился над ним, с улыбкой подозвал, «поздравил лейтенантом» и пригласил к столу «по его новому чину». Мальчик был так потрясен повышением в чине, что почти не мог есть,—то был счастливейший день его жизни. И герцог отец радовался, видя, наверно, в сыне нового Карла XII.

Мы не станем обращаться к свидетельствам Екатерины, предположим, что она, ненавидевшая мужа, плохой свидетель. Но можно вспомнить рассказ А. Т. Болотова, знаменитого мемуариста, о том, с каким изумлением наблюдал он развлечения молодого императора и всей его компании. «Редко стали мы уже заставать государя трезвым и в полном уме и разуме, а всего чаще уже до обеда несколько бутылок аглинского пива, до которого он был превеликий охотник, уже опорожнившим, то сие и бывало причиною, что он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровью от стыда перед иностранными министрами (послами.— *О. Ч.*), видящими и слышащими то и бессменно смеющимися внутренно».

А сам молодой офицер, глядя на то, как проводят время первые люди государства, не знал, плакать ему или смеяться. «Не успеют, бывало, сесть за стол, как и загремят рюмки и покалы и столь прилежно, что, вставши из-за стола, сделаются иногда все, как маленькие ребяточки, и начнут шуметь, кричать, хохотать, говорить нескладицы и несообразности сущие. А однажды, как теперь вижу, дошло до того, что вышедши с балкона прямо в сад, ну играть все тут на усыпанной песком площадке, как играют маленькие ребятки. Ну все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей под задницы и кричать:

— Ну! ну! братцы, кто удалее, кто сшибет с ног кого первый?—и так далее.

А посему судите, каково же нам было тогда <...> видеть сим образом всех первейших в государстве людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкущихся и друг друга наземь валяющих?»

Болотову можно верить, он честнейший свидетель. Нельзя тут не вспомнить и колоссальную политическую глупость Петра III, который, став властелином огромной, богатой, могущественной империи, готов был бросить ее в тяжелую войну с единственной целью — отвоевать у Дании свои крошечные родовые владения.

Вот именно эти «вздор и нескладицу» изобразил Антропов в эскизе 1762 года, «вздор и нескладицу» среди царской роскоши и в царских регалиях. Это не значит, что художник сознательно писал сатиру, напротив, он, как это всегда и делали художники XVIII века, старался изобразить модель в наилучшем виде (так, например, мы знаем, что Петр III был рябым от оспы, этого, естественно, ни один художник не изображал), просто он писал, как видел, может быть, добросовестно стараясь прославить, а неподкупная кисть его — разоблачала.

Как резок переход от эскиза Петра III к эскизу Екатерины! Словно бы распахнули окна и вместе с солнцем в комнату, где стоит царица, влился поток энергии. В сочетании светло-красного и атласно-голубого есть что-то детски радостное. Сказалась ли здесь атмосфера предкоронационных торжеств или надежды, связанные с новым царствованием, сменившим опасное для России правление Петра III? Как бы то ни было, для этих двух эскизов, противоположных по колориту и настроению, художник выбрал также и разные стили: если Петру Федоровичу подошел легкий, чуть несерьезный рокайльный стиль, то в эскиз, посвященный Екатерине, проникла энергия барокко — недаром композицию его Антропов взял с уже известного нам барочного портрета Елизаветы кисти Л. Токке. Но если в образе Елизаветы одна лишь репрезентативность, то в Екатерине антроповского эскиза виден яркий характер. Вряд ли можно тут говорить о внешнем сходстве — кстати, внешность Екатерины той поры люди воспринимали по-разному. Болотов, с любопытством ожидая в дворцовом зале появления императрицы, которую еще никогда не видел, скользнул взглядом по двум полноватым, невысоким кавалерственным дамам, шедшим по залу, и не догадался, что одна из них Екатерина, а другая Елизавета Воронцова. А Рюльер, автор интересных записок о России, описывает Екатерину царственной



А. Антропов
Екатерина II
1762

красавицей. Причина разногласий может быть и в том, что Болотов видел Екатерину в один из самых тусклых и темных периодов ее жизни, и даже в одну из самых скверных ее минут, когда она, законная жена и императрица, вынуждена была появиться публично рядом с любовницей мужа — рядом, но не на равных: Елизавета Воронцова откровенно ждала императорской короны, а Екатерине реально грозила ссылка в монастырь.

На эскизе Антропова она такая, какой видел ее Рюльер, но много интересней. Хотя она и стоит, гордо выпрямившись и словно бы даже подбоченясь (она поддерживает царскую мантию,— кстати, неправдоподобно длинной рукой, Антропову, как и его учителю Вишнякову, руки не давались), но и в том, как она стоит — упруго, прочно (вспомним танцующую хлипкую фигурку Петра), и в том, как подбоченилась, каким оживлением горит ее лицо,— видна не гордыня (чувство мертвенное), а жажда живой жизни. Перед нами та самая женщина, что замыслила опаснейший политический шаг, совершила переворот, а потом в мужском костюме впереди гвардейцев верхом отправилась добывать власть.

Но можно было увидеть Екатерину 60-х годов и по-другому. Большой портрет работы С. Торелли (Русский музей) написан как раз в начальный период царствования. Это прекрасный портрет, если рассматривать его с точки зрения живописи, и удивительный с точки зрения историко-биографической. Задуман он как самый парадный — Екатерина стоит в большой короне, горностаевой мантии, с державой и скипетром в руках, одежды ее роскошны, корсаж в тяжелом золотом шитье, огромная белого атласа юбка вся в тканых двуглавых орлах. Вокруг нее много бутафории, над ней — занавес с кистями. Но вся эта бутафория написана жестко, бедно и как-то невнимательно, внимание художника сосредоточено на лице, которое тоже написано сдержанно и жестко, но зато с большой силой. Это трезвое, обыденное, прозаическое лицо на удивление не гармонирует с царской пышностью, а большая императорская корона ему решительно не идет. Если бы в руках у этой женщины был бы, предположим, не скипетр, а поваренная ложка, а у пояса связка ключей, мы, может быть, и тогда бы не удивились, такая перед нами будничная, деловая (как сейчас бы сказали —бытовая) женщина. Домоправительница в короне. Таково первое впечатление, и чем больше вглядываешься в портрет, тем оно сильнее. Нет, конечно, не на уровне поваренной ложки эта деловитость — стоит взглянуть в жесткие глаза Екатерины, чтобы это понять,— они отчетливо и повелительно держат вас на расстоянии, эти умные, холодные глаза. Женщина портрета Торелли отлично знает, чего хочет.

А чего она хочет?

Екатерина как государственный деятель и личность основательно забыта; можно сказать, что ее сейчас в общественной памяти почти и вовсе нет. Историки ею почти не занимаются; последнее время она то и дело, как под поезд, попадает под перо романиста, но нас от нее это только еще больше отдаляет. В нашей памяти давние — веселые и язвительные — строки А. К. Толстого в его «Истории государства Российского от Гостомысла...» о том, как Екатерина переписывалась с Вольтером и Дидро, как они убеждали ее: «Народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорей свободу дать», в ответ на что она очень растрогалась — «и тотчас прикрепила украинцев к земле». Эти строки помнятся хорошо — насмешка вообще всегда сильно действует на воображение, но против этой Екатерины в нашей памяти восстает другая — из «Капитанской дочки», исполненная необыкновенного обаяния, с ясными глазами, улыбкой («которая имела прелесть неизъяснимую»), с достоинством и той деликатностью, с какой она сыграла роль судьбы.



Ф. Рокотов
Екатерина II
1763

Но вместе с тем, если собрать воедино все, что говорил о ней Пушкин, какой невероятный получится разнобой! «Старушка умная жила / Приятно и немножко блудно, /Вольтеру первый друг была, / Наказ писала, флоты жгла...»

Есть у Пушкина насмешка и поострее: «Тартюф в юбке и короне». Но если вспомнить из «Капитанской дочки»: «Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность», противоречие возникает невозможное — как согласовать это «внушало доверенность» с «Тартюфом в юбке»? Между тем у Пушкина есть о Екатерине прямо-таки гневные строчки: когда история оценит ее роль в судьбах страны,— говорит он,— «голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России». Может быть, дело в том, что этот текст был написан задолго до «Капитанской дочки», что Пушкин, когда писал эту повесть, уже знал о Екатерине очень много, зачастую из первых рук, и уж, во всяком случае, прямой неправды о ней писать не стал бы (да и не смог бы — она у него живая)? Но в том-то и дело, что в одно и то же время он высказывается о царице противоположным образом, с одной стороны: «Развратная государыня развратила и свое государство», а с другой — «в России было только три самобытных деятеля просвещения: Петр I, Ломоносов и Екатерина». И наконец: «Екатерина, ученица XVIII столетия. Она одна дает толчок своему веку». Даже так! Нам важно отметить это сосуществование в пушкинском представлении двух разных Екатерин. Как и на картине — аллегории Левицкого — опять две разные!

Впрочем, уже с самого начала ее царствования представления о ней двоились. Она триумфально пришла к власти, гвардейские полки присягнули ей один за другим. Но вскоре среди тех же гвардейцев начались волнения, Семеновский и Преображенский полки однажды всю ночь стояли под ружьем, не расходились, кричали, что хотят на престол Иоанна Антоновича, и «называли императрицу поганою». Во время ее путешествия по Волге крестьяне приносили свечи, чтобы ставить перед ней, как перед божеством (и то сказать, где это видано, чтобы русская царица пустилась в путь по стране, чтобы увидеть ее своими глазами), а народные проповедники причисляли ее к племени антихристову. Впрочем, и там, где молились, и там, где проклинали, отношение было безличным, не к ней, а к императрице. Но и в ее самом непосредственном окружении (и в ее собственной семье) опять же все было двойственно. Княгиня Дашкова одновременно и любит ее и ненавидит, говорит о темных пятнах на ее светлой короне. Державин восторженно восславит свою Фелицу, но он же потом с грустью поймет, что от близкого знакомства прототип не выигрывает, «ибо издалека те предметы, которые ему (Державину — в своих записках он, как мы знаем, писал о себе в третьем лице.— *О. Ч.*) казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явилися ему при приближении ко двору весьма человеческими и даже низкими и недостойными Великой Екатерины, то и охладел так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим, чистым сердцем в похвалу ея». Когда статс-секретарь Екатерины Храповицкий просил поэта вновь воспеть ее в стихах, Державин отказался, ответив: «Ты сам со временем осудишь / Меня за мглистый фимиам». Вокруг нее много было «мглистого фимиама», но и искреннего восхищения тоже, притом со стороны людей, ее хорошо знавших. О ее уме (ума ее никто никогда не отрицал), справедливости, обаянии, очаровании даже, написано немало и написано искренне.

Такая разноголосица отзывов (и такая разноликость портретов) все же требует объяснения — в чем тут дело? В ошибках тех, кто о ней или ее писал? В знаменитом лицемерии царицы, в ее умении обворожить и провести? Или причины тут глубже и любопытней? Это важно понять.

В 1767 году депутаты, созванные ею для того, чтобы дать стране новые законы, в искреннем порыве восторга просили ее принять титул «Великой», который она отвергла, резонно заявив: «О моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить». Разве это желание не справедливо?

Каждый, живущий на земле, имеет право на беспристрастный суд. А уж если человека нет на свете, наша ответственность перед ним, естественно, возрастает — он не в состоянии защитить себя и свое доброе имя. Здесь должен быть подведен итог, максимально справедливый и документированный. Между тем в литературе, как научной, так и беллетристической, царит неслыханный произвол по отношению к тем, кто, так или иначе, выделился на исторической арене,— их доброе имя словно бы выморочно, словно бы тот факт, что они знамениты, ставит их вне закона. На них налетают историки и драматурги, романисты и сценаристы — и всяк кричит: «Мое, мое!» Это чувство полной собственности на имя умершего, чувство полной безответственности перед ним обычно находит свое выражение в формуле: «Я так это вижу». Но ведь это факт биографии автора, что и как он видит. А у человека, жившего на земле, была своя единственная судьба, свои мысли, чувства и поступки, никто не имеет права приписывать ему чужие дела и слова. Да и портрет живой модели тоже требует точного прочтения.

«О моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить». А можем ли мы сказать, что беспристрастны в своих суждениях о Екатерине Алексеевне?

Если историки прошлого занимали по отношению к ней различные позиции, то в нашей исторической науке установилось едва ли не единодушное к ней отношение — его можно определить, как невнимательно-недоброжелательное (и в искусствоведческих книгах, где она часто поминается, та же тенденция). Конечно, ученые, хотят они того или нет, вынуждены выделить в истории XVIII века две крупнейшие политические фигуры, но если Петр — «и мореплаватель, и плотник», и великий реформатор, то Екатерина — прежде всего хитроумный демагог. Только то она и делает, что заигрывает и кокетничает (если верить историкам, мир не видал более игривой царицы), иногда носится с планами и все время вынуждена уступать. С кем же она заигрывает, с кем кокетничает? Ну, прежде всего с Вольтером и энциклопедистами, вообще с либеральными идеями. Иногда эти либеральные идеи называются уже либеральными силами (что, как всякому ясно, не одно и то же), демократическими настроениями каких-то кругов — это им она будто бы время от времени вынуждена уступать. Сама же в душе была закоренелой крепостницей, носителем самой черной реакции, одна была у нее забота — укреплять феодальный строй (что не помешало ей в конце концов развалить управляемое ею государство). Если собрать воедино все эти дефиниции, постоянно сопутствующие Екатерине, в сущности, возникнет формула, близкая той, над которой смеялись еще И. Ильф и Е. Петров: «Екатерина II была продукт».

«Я отличалась в то время живостью чрезвычайной; меня укладывали спать рано (женщины уходили в другую комнату поболтать). Чтобы они поскорее ушли, я делала вид, что сразу заснула, и только лишь оставалась одна, садилась верхом на подушку и скакала в кровати до изнеможения. Помню, что я поднимала такую возню, что мои прислужницы прибегали взглянуть, в чем дело, но находили меня уже лежащей, я притворялась, что сплю; меня не поймали ни разу и никто никогда не узнал, что я носилась на почтовых у себя в постели верхом на подушке».

Стоит услышать живой голос самого «продукта», становится ясно: ни эту девчонку верхом на подушке, ни ту зрелую женщину, которая с улыбкой о ней

вспоминает, невозможно (как, впрочем, и любого человека, тем более — одаренного) внести ни в какую ведомственную графу.

А между тем эта девчонка, скачущая ночью «на почтовых», с ее лукавством, витальностью, бешеным темпераментом, она не только уже содержит в себе будущую Екатерину, она выражает свой век, она уже участвует в его полете — пока еще только верхом на подушке.

Возьмем — наугад — другой период ее жизни. 1768 год, Екатерина — она уже шесть лет на троне — решила привить себе оспу. Чтобы понять значение подобного шага, надо представить себе ужас, какой внушала в те времена эта болезнь, косившая многие тысячи и на всю жизнь уродовавшая тех, кому посчастливилось выжить. Но и противооспенные прививки вызывали чуть ли ни тот же страх. Против них восставало духовенство, протестовала сама медицина, среди народа распространялась паника («печать, коготь дьявола»). Да и просвещенному человеку страшно было вводить в свой здоровый организм смертельную заразу.

Екатерина, как и все, безумно боялась оспы и потому решила вступить с ней в борьбу, ввести в стране оспенную прививку, а начать с себя; она считала, что «было бы позором не начать с себя — да и как ввести прививку оспы, не подав собственного примера?» «Я была очень удивлена, — продолжает она, — что гора родила мышь, стоило ли поднимать такой шум из-за такого пустяка, говорила я, и мешать людям спасать свою жизнь? Я ни на минуту не ложилась в постель и все дни продолжала принимать людей. Генерал-фельдцейхмейстер граф Орлов, этот герой, храбростью и великодушием подобный римлянам лучших времен республики, привил себе оспу, а на другой день после операции отправился на охоту в страшную метель».

Сколь бы ни было эффектно обставлено оспопрививание царицы, это была дельная мера, имевшая огромное значение для здравоохранения страны.

«Наказ писала, флоты жгла...» Как она «флоты жгла», мы отчасти уже видели, и не это нас интересует. Куда интересней посмотреть, как она «Наказ писала», — книгу, где изложены основы, которыми должна была руководствоваться Комиссия по созданию новых законов Российской империи (Уложенная комиссия).

В нашей литературе «Наказ» («пресловутый Наказ», как нередко о нем говорят) называют «откровенной компиляцией», да и к тому же еще и неудачной: взяв идеи великих просветителей, говорят нам, Екатерина эти идеи обкорнала, отбросив их радикальные тенденции и заменив их чисто монархической программой. И я, признаться, привыкла считать его «пресловутым» и чисто компилятивным. Но в подобных случаях никогда никому на слово верить нельзя — велика сила устоявшихся (чтобы не сказать слежавшихся) представлений.

Первое знакомство с этой небольшой книжкой убеждает, что перед нами сочинение весьма дельное и серьезное, уж не говоря о том, что «Наказу» предпосланы манифест, указы, подробнейшие инструкции, образцы многих необходимых документов, — словом, видно, что Екатерина не «носилась с планами», а детально их разрабатывала.

Мы разом оказываемся в атмосфере невиданных в России преобразований.

Стране нужны новые законы — кто их выработает? Государственная комиссия, сенат? В том-то и дело, что нет. Создателями новых законов должны стать депутаты, созванные со всех концов страны. Вы думаете, одни лишь дворянские, поскольку речь идет о царице, выражающей интересы крепостников? Опять же нет. В Комиссию по созданию нового Уложения своих депутатов должно было послать не только дворянство, но и горожане (купцы, ремесленники), но и крестьяне — однодворцы, государственные крестьяне, пахотные солдаты; казачество, инородцы. Самодеятель-

ность страны — вот чего добивалась Екатерина (правда, самодеятельность в жестких рамках порядка).

И действительно, по всей стране начались выборы, составлялись наказы избирателей. Сомодержавная Россия делала первые шаги по пути самоуправления.

Когда видишь, насколько была продумана вся система практических мер, с какой энергией внедрялась она в жизнь, становятся сомнительны все эти обвинения в кокетстве, заигрывании и лицемерии. Не станет человек столько работать, годами, с жаром, задумывать огромные преобразования — и все это ради внешнего эффекта? Сколько потрачено трудов — организовать по всей стране выборы депутатов, выделить для этого деньги, подготовить помещения, внимательно следить за тем, как идет работа,— и все это с единственной целью понравиться старому философу, пусть и очень знаменитому? Екатерине очень хотелось нравиться западноевропейскому Просвещению — и тут ей достаточно было хвастать в письмах (что она неукоснительно делала), но чтобы ради этого подниматься и поднимать других на столь огромную работу?

Работница — такой изобразил Екатерину Торелли. Нам нетрудно представить, что это именно она (как о ней рассказывают) вставала очень рано, раньше своих слуг, сама топила печку, варила кофе и садилась работать — когда приходили статс-секретарь и другие должностные лица, она уже успевала многое сделать. Именно она, первая после Петра, начала разъезжать по стране (с той существенной разницей, что Петр значительную часть царствования провел за границей, а она туда не выехала ни разу, ей и дома дел хватало). Ее предшественница Елизавета тоже не сидела на месте, но это было бестолковое метание из дворца во дворец, с праздника на богомолье; Екатерина ездила как управляющая («глаз хозяина коня кормит» — так пословицей объясняла она свои инспекции).

Портрет Торелли... Мы благодарны художнику за честный рассказ, но женщина, на нем изображенная, так прозаична, что ее не заподозришь в мечтаниях и взлетах. А Екатерина в 60-е годы была переполнена мечтами, которые ввиду ее трезвости скорее можно назвать планами.

Рационалист (как и все деятели Просвещения), Екатерина была убеждена: если разумно, то и получится. Стоит только объяснить людям, как умно, благородно и славно то, что им предлагают, и они сразу кинутся выполнять предлагаемую программу, а стоит ее выполнить, и в стране воцарится счастье (насколько оно возможно на земле,— оговаривается она, как трезвый человек). Отсюда ясна и задача просветителя — разъяснить людям, в чем состоит их благо и как его достичь. А уж если волею судеб просветитель оказался на русском престоле во всеоружии самодержавной власти (она с самого начала провозглашает в «Наказе»— что в России, как во всякой обширной стране,— мысль, почерпнутая ею у Монтескье,— возможно только самодержавие),— значит, его дело не только проповедовать передовые идеи своего века, но и осуществлять их на практике. Вот откуда ее уверенность в победе.

Орудием преобразования должен стать закон. Дитя разума, он в глазах Екатерины обладал необыкновенным могуществом. Вот откуда ее законодательная одержимость («законобесие», скажет она со свойственной ей самоиронией).

Конечно, нам, познавшим сложность исторического процесса (в частности, его социально-экономическую детерминированность), знающим, сколько могучих факторов сплетаются в ходе его,— нам твердое намерение Екатерины осчастливить человечество одними законодательными актами представляется в высшей степени наивностью. Но странно было бы судить царицу XVIII века с позиций сегодняшнего знания.

Как все идеологи эпохи Просвещения, она твердо верила в человечество, в его

здравую, разумную природу, а если уровень общественного сознания еще не дорос до предполагаемых законов, если умы людские еще не готовы, тогда — «примите на себя труд приуготовить оные и тем самым вы уже многое сделаете». Таким образом, все оказывается исполнимым: Россия страна европейская, она готова к тому, чтобы под руководством самодержавной власти воспринять и осуществить идеи лучших умов человечества, а если и не готова, деятели Просвещения ее подготовят.

В «Наказе» Екатерина провозгласила два великих принципа: равенство граждан перед законом и презумпция невиновности; в стране крепостного права, в правопорядке, гда человека по первому слову доносчика тащили на дыбу, эти принципы, казалось, были рычагами, способными перевернуть общественное сознание. С блеском сражается Екатерина против пытки, против конфискаций, против самой смертной казни: «Опыт свидетельствует,— пишет она,—что частое употребление казней никогда людей не сделало лучшими». И какая нам печаль, что она взяла все эти мысли у Беккарии или, как она сама говорит, «обобрала президента Монтескье». Да, конечно, сочинение ее компилятивно, но ведь не диссертацию же она пишет, и мы говорим не о том, была ли она оригинальным мыслителем, создавшим собственную философскую систему. Речь идет о ее взглядах и устремлениях, ее роли просветителя. Не будь ее, лежали бы мысли Беккарии и Монтескье разбросанными по книжным полкам дворян-интеллигентов, на языках, недоступных широким читающим кругам, а тут они были собраны воедино и напечатаны по-русски от имени верховной власти — могучий рупор в те времена.

С огромной энергией обрушивается она на один из самых страшных законов — закон об оскорблении величества. Нельзя наказывать за слово, говорит Екатерина, оно составляет преступление, только «совокупленное с действием».

Письма, которые «суть вещь, не так скоро преходящая, как слова», тоже не могут считаться преступлением. И далее следует такое рассуждение: «Запрещают в самодержавных государствах сочинения очень язвительные: но оные делаются предлогом, подлежащим градскому чиноправлению, и не преступлением; и весьма беречься надобно изыскания о сем далече распространять, представляя себе ту опасность, что умы почувствуют притеснение и угнетение: а сие ничего иного не произведет, как невежество, опровергнет дарование разума человеческого и охоту писать отнимет».

Образованный читатель тотчас возразит — а Новиков, а Радищев, а закрытые типографии, а горящие книги? Это 90-е годы, до них еще очень далеко, предстоит совсем иная эпоха. Екатерина даст огромный толчок книгопечатанию, при ней будут открываться, а не закрываться вольные типографии, возникнет общество переводчиков, великое дело в те времена, когда западная культура хлынула в Россию и важно было, чтобы не только высший слой дворянства к ней приобщился, но и широкие круги населения. Екатерина еще разожжет журнальную полемику, сама примет в ней участие и даже вызовет на себя огонь довольно резкой критики — нет, в те годы она далека была от мысли отбить у кого бы то ни было охоту писать.

Здесь не место углубляться в социальную политику молодой Екатерины, но на иных эпизодах ее мы остановиться должны.

Известно, что депутаты Комиссии по составлению нового уложения получили ряд привилегий, а также пожизненный знак отличия, некий жетон, который должен был им (и потомкам их) напоминать, в каком великом предприятии они участвовали. Но самый характер и значение депутатских привилегий, думается мне, поняты еще недостаточно, потому что перед нами новообразование, которое невозможно переоценить. Институт депутатов, собственно, явился как бы опытным полем для великого по

тем временам «социального эксперимента». Из лучших граждан страны Екатерина хотела создать как бы людей нового типа, наделенных всеми теми правами, которыми, по ее мнению, должны были быть наделены жители государства, отвечающего идеям Просвещения.

«Социальный эксперимент» Екатерины (она его, наверно, не считала экспериментом, но зерном новой общественной жизни) заключался в том, что эти люди, избранные по всей стране, представители самых разных социальных слоев, от могущественного вельможи до мужика, были уравнены в правах (вот оно, равенство перед законом). Все они должны были явиться в Москву и стать творцами российских законов, все они, и вельможа и мужик — и для того и для другого это было великой новостью,— навсегда освобождались от смертной казни, пытки и телесных наказаний, а имущество их — от конфискаций. Екатерина хотела снять тот страх, что парализовал общественную жизнь, вечную дрожь человека XVIII столетия за себя (гибель на плахе) и за близких (конфискация), это чувство полного бессилия перед произволом. Императрица как бы обвела депутата неким кругом, поставив его под особую юрисдикцию, наделив его достоинством и независимостью.

Чтобы понять значение этого «социального эксперимента», нужно вспомнить, каким могучим орудием в руках монархической власти были пытки, казни и конфискации, когда при любой смене самодержца все замирало в мучительном ожидании — кого? Куда? Только в ссылку или на дыбу и на плаху? Мемуары эпохи рассказывают об этом очень красочно. Пятнадцатилетняя Наталья Шереметева, самая богатая невеста России, уже была обручена с юным Иваном Долгоруковым, фаворитом царя-мальчика Петра II, когда узнала, что царь внезапно умер. «Как скоро эта ведомость дошла до ушей моих, что уже тогда со мной было, не помню,— пишет она в своих воспоминаниях,— а как опомнилась, только и твердила: ах! пропала! пропала! Не слышно было иного ничего от меня, что пропала! Как кто не старался меня утешить, только не можно было мой плач пресечь или уговорить. Я довольно знала обыкновение моего государства, что все фавориты после своих государей пропадают: что было и мне ожидать? Правда, что я не так много дурно думала, как со мной сделалось».

При всяком дворцовом перевороте начиналось гигантское перераспределение владений, рушились одни фамилии, возвышались другие, а главное, раболепие русского общества каждый раз получало новую пищу, всякие попытки независимости (пусть даже некоего узкого аристократического круга) бывали задушены. Екатерину упрекают в деспотизме, а между тем она тут сознательно выпускала из рук могучие рычаги, отказалась от испытанных методов власти.

Попробуем представить, как чувствовал себя человек XVIII столетия в этом новом неслыханном положении — он, защищенный законом от самой государственной власти. Это ощущение должно быть достаточно сильным и для вельможи. Но каким же острым оно должно было быть у депутата-мужика, каково было ему, вечно жившему в страхе кнута, батогов, палок и уж во всяком случае простых ежедневных зуботычин, вдруг ощутить себя — неприкосновенным?

Да, конечно, речь шла о создании человека нового типа — человека, к которому власть никак не могла подобраться, ни через душу его, ни через тело, а если учесть, что все эти депутаты обладали собственностью, то, значит, и «костлявой рукой голода» она не могла их задушить. Конечно, Екатерина еще не ввела принцип полной депутатской неприкосновенности, но уже то, что депутат был лично неприкосновенен, должно было создать особое социально-психологическое самоощущение.

И вот депутаты, эти граждане некоего будущего желанного государства,

собрались в Москве, чтобы дать стране новые законы. О чем они тут говорили, чего хотели, какое законодательство собирались установить?

30 июля 1767 года из головинского дворца в Лефортове, где останавливался двор, двинулась грандиозная процессия, потянулись придворные кареты (золоченые шкатулки на высоких колесах), в одной из них, запряженной восьмериком, ехала Екатерина в мантии и малой короне; за ее каретой Григорий Орлов («безусловно самый красивый мужчина империи»,— это, конечно, Екатерина) вел взвод кавалергардов, за ними — карета великого князя, тогда тринадцатилетнего,— все это было пышно, многолюдно, сверкающе и медленно двигалось к Кремлю; толпы народа сбегались смотреть на великолепное шествие.

А депутаты шли в Успенский собор попарно в ряд, впереди дворяне, позади крестьяне, распределенные по губерниям (а внутри каждого сословия депутаты были распределены не по их социальной значимости, а по мере их прибытия в Москву и регистрации в депутатском списке — принцип «поторапливайтесь», стремление выделить не самого знатного, а самого усердного). После торжественной службы в соборе начался не менее торжественный акт присяги депутатов — каждый из них просил бога, чтобы «ниспослал ему силы отвратить сердце и помышления от слепоты, происходящей от пристрастия, собственной корысти, дружбы, вражды, и ненавистные зависти, из коих страстей родиться бы могла суровость в мыслях и жестокость в советах», и клялся усердно служить делу создания новых законов, «соответствуя доверенности избирателей» (не воле императрицы, заметьте, а воле избирателей).

Вслед за этим состоялся великолепный многолюдный спектакль в аудиенц-зале Кремлевского дворца — Екатерина стояла на тронном возвышении, а рядом с ней на столе, покрытом бархатом, лежал «Наказ». Атмосфера была особая, восторженная, многие депутаты плакали.

Разве это ничего нам не напоминает? Храм правосудия и книги законов, которые сторожит орел (есть, что сторожить!), и сама законодательница, не жалеющая сил для общего блага. И ветер живой мысли, и мечты о равенстве людей перед законом, и борьба за человеческое достоинство, и умение работать, приглашение к работе — это картина Левицкого, та самая «Екатерина-законодательница» из Третьяковской галереи.

На следующий день, когда депутаты собрались (не где-нибудь, а в Грановитой палате) и началось чтение «Наказа», тогда-то в порыве всеобщего энтузиазма и решили поднести Екатерине титул «премудрой и великой матери отечества», тогда-то она и ответила со свойственной ей пунктуальностью: 1) великая — «о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить»; 2) премудрая — «никак себя таковой назвать не могу, ибо един бог премудр»; 3) матерь отечества — «любить богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимой от них есть мое желание».

«Любить богом врученных мне подданных»... Но ведь самую многочисленную часть ее подданных составляли крепостные крестьяне, рабы, которые в торжествах участия не принимали. Их не позвали в Комиссию, у них наказов не спрашивали. Все сословия были представлены здесь своими депутатами, все, кроме крепостных крестьян, именно тех, кто, как никто другой, нуждался в защите и покровительстве закона.

Проблема вольности... Тогда, в «Наказе», «философ на троне» из нее кое-как теоретически выкрутился: истинная свобода, доказывал он, возможна только в рамках закона — и казалось бы, тут были сведены концы с концами, поскольку предполагалось безотлагательно создать новые законы.



Ф. Рокотов
А. П. Сумароков
1777(?)

Но в России уже существовали законы — страшные законы рабства. Это были не теоретические, а реальные, непреложные законы, обладающие могучими корнями в экономике, социальном устройстве, общественном сознании (в том числе и в системе нравственных представлений — эту чудовищную безнравственность оправдывали на разные лады), писанные и неписанные, существующие и в Уложении, и в указах, и в обычаях, и в головах. Да к тому же еще — когда? В великолепный век Просвещения, в век торжества Разума, когда были провозглашены великие идеи Свободы и Равенства, русские мужики жили в самом диком рабстве, ничем не отличавшемся от плантационного, когда людей открыто, не таясь и не стыдясь, приравнивали к скоту и разве что продавали подороже, зато так же, как и скот,— поодиночке (отрывая от земли и от семьи). Крестьянский вопрос был проблемой номер один, его ни обойти, ни объехать при любом социальном преобразовании и тем более при создании новых всероссийских законов. И логика и практика приводили законодательницу именно к этой задаче и предлагали свободно ее решать в рамках именно такой жесткой необходимости. Да только собиралась ли она эту проблему решать?

Важный вопрос. Вообще крестьянская проблема настолько определяла собой русский XVIII век, что, минуя ее, невозможно понять людей этого века в любом его сословии. И о культуре его нельзя говорить, забывая об этой проблеме.

Петр I крепостных основ России не тронул и даже их укрепил.

Ничтожных его преемников, коронованных (императоры и императрицы) и некоронованных (временщики) крестьянский вопрос вообще не волновал.

Екатерина мимо него пройти не могла.

Как-то поступит она, умная, прогрессивная, просвещенная?

Представьте себе, что в «Наказе» нет главы о крестьянстве, есть главы «О дворянстве», «О среднем роде людей», «О городах», главы обширные, полные дефиниций, перечислений прав и обязанностей. Главы о крестьянах в основной части «Наказа» нет. Значит ли это, что царицу совсем не интересовал крестьянский вопрос?

Напротив, это значит, что он ее слишком сильно интересовал.

Окончив свой труд, Екатерина отдала его на обсуждение сначала очень узкому, а потом более широкому кругу людей, которым дано было право критики. Этот первый выход «Наказа» в жизнь, его первое столкновение с жизнью весьма показательны. Екатерина предложила окружающим такой высокий уровень разговора, что отклики на ее вызов поневоле должны были выявить состояние умов, нравственный облик тех, кто ее окружал. Получил на прочтение «Наказ» и А. П. Сумароков. Он был тогда очень влиятелен в обществе, его трагедии были знамениты и разыгрывались в театрах, его стихи любимы и заучивались наизусть. Сумароков был сильным и признанным идеологом целой группы дворянской интеллигенции, его тянуло к социальным проблемам, он всегда готов был ввязаться в идейный спор. Он утверждал право дворян владеть крепостными, но ставил его в зависимость от уровня образования и нравственности.

Какое барина различье с мужиком?
И тот и тот — земли одушевленный ком.
И если не ясней ум барский мужикова,
То я различия не вижу никакого.

Дворянин, не отвечающий образцу просвещенности, не имеет права пользоваться своими привилегиями.

А если у тебя безмозгла голова,
Пойди и землю рой или руби дрова...

Люди, рожденные равными, различаются только степенью образованности и просвещения (мысль опасная, социально взрывчатая).

Надо ли удивляться, что Екатерина дала читать свой «Наказ» именно этому человеку. Но у них вышел спор, который до нас дошел, потому что на письменные возражения поэта Екатерина отвечала тоже письменно.

Самое для нас интересное, конечно, начинается там, где речь заходит о вольности. Сумароков: «Вольность и короне, и народу больше приносит пользы, чем неволя». Екатерина удивлена: «О сем довольно много говорено»,— пишет она, имея в виду, что об этом много говорено в «Наказе». Но Сумароков хвалит вольность лишь для того, чтобы перейти к ее антиподу: «Но своевольство,— говорит он,— еще и неволи вреднее». «Нигде не найдете похвалы первому»,— это Екатерина. И вот начинается разговор о главном — крестьянский вопрос. Сумароков теоретизирует: «Между крепостного и невольника разность: один привязан к земле, другой — к помещику»,— очевидно, ему хочется провести грань между крепостным и рабом, доказать, что крепостное право это далеко не рабство.

«Как так сказать можно,— восклицает Екатерина.— Отверзите очи!»

Это «отверзите очи» очень характерно для Екатерины 60-х годов. Сама она в эти годы очей не закрывала — недаром той же весной 1767 года отправилась из Твери по Волге в путешествие, во время которого внимательно ко всему присматривалась, там, где видела процветание, радовалась, там, где видела разорение, отнюдь не горевала (вот уж не в ее характере), а собиралась исправить. Письмо ее из Нижнего Новгорода: «Сей город ситуациею прекрасен, а строением мерзок, только поправится скоро, ибо мне одной надобно строить как соляные и винные магазины, так губернаторский дом, канцелярию и архив, что все или на боку лежит или близко того». Вот это желание тотчас взяться, засучить рукава и поднять то, что на боку лежит, тоже в ее характере (эскиз Антропова, картина Торелли).

А сколько всего в это время в России «на боку лежало» — вся страна находилась в упадке и разорении. Но царица была полна такой неиссякаемой энергии, такой веры в удачу, что ни страшные донесения, которые шли к ней со всех концов страны, ни то, что видела она собственными глазами,— все это не только ее не обескураживало, но вызывало новый прилив энергии и уверенности в успехе. Разве не для того она работает не покладая рук?

Да, она хотела знать истинное положение вещей, но когда во время путешествия крестьяне подали ей около 600 жалоб и почти все на помещиков, эти жалобы были возвращены челобитчикам с указанием, чтобы больше таких не подавали. Что же, ее девиз «отверзите очи» не действовал, когда дело касалось реального положения крепостных? Но ведь именно в связи с проблемой крепостного права она и написала эти слова Сумарокову. «Отверзите очи», как можно говорить об отличии крепостного от раба там, где людей продают поодиночке?

Почему же она не откликнулась на жалобы реальных людей, на их реальные страдания? По равнодушию? Все, что угодно, только равнодушной в те годы она не была. Боялась заглянуть в бездну?

Но посмотрим, как дальше шел ее спор с Сумароковым.

«Сделать русских крепостных людей вольными нельзя»,— пишет Сумароков, и это его замечание очень важно: оно ясно говорит о том, что в первом варианте

«Наказа» Екатерина ставила вопрос об отмене крепостного права. Но как же поэт объясняет, почему нельзя освободить русских крестьян? «Скудные люди,—говорит он, имея в виду помещиков,—ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян, и будет ужасное несогласие между помещиков и крестьян, ради усмирения которых потребны будут многие полки; непрестанная будет в государстве междуусобная брань, вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах...» «И бывают зарезаны отчасти от своих»,—многозначительно напоминает Екатерина. Значит, трезво судила, значит, помнила о бездне.

Есть в этом споре и еще одно любопытное место. «Примечено,—пишет Сумароков,—что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий не имеет». «И иметь не может,—тотчас откликается царица,—в нынешнем его состоянии».

У них у обоих не было ни малейшего представления о народе, о той духовной работе, что шла в его глубине, но их отношение к крестьянам полярно: Сумароков говорит о них с презрением, Екатерина их оправдывает ужасными условиями, в которых они живут. Пусть ее рассуждения отвлеченны, пусть они идут не от любви к русскому мужику, а от чтения французских философов, все же это рассуждение в пользу народа.

Но если в «Наказе» ставился вопрос об отмене крепостного права, значит, была тут глава о крестьянстве—куда же она делась?

Дело в том, что «Наказ» редактировали и редактировали варварски—у этого самодержавного автора, увы, был цензор и не один. Конечно, ее единомышленники признали ее труд целиком. Григорий Орлов, например, как она сама пишет, был от него без ума, но критика большинства оказалась настолько резкой, что Екатерине пришлось отступить. Она сама говорит об этом в письме к Д'Аламберу: «Я зачеркнула, разорвала и сожгла больше половины, и бог весть, что станется с остальным».

Таков был результат первого столкновения «Наказа» с жизнью.

Есть в «Наказе» странная XI глава, она называется «О порядке в гражданском обществе»—тема, казалось бы, огромная, а глава—крошечная, чуть более двух страничек, она зажата между X («Об обряде правосудия», 35 страниц) и XII («О размножении народа в государстве», 8 страниц), а говорит как раз о рабстве, и если предыдущая глава содержит 106 пунктов, излагающих предмет систематически, подробно и дельно, то тут начинается чистая невнятица.

Перед нами, несомненно, лоскутья той главы, которая говорила о крестьянах и крепостном праве. В екатерининском архиве сохранились отрывки, которые кое-что говорят нам об этой пропавшей части «Наказа». Вот один из таких отрывков.

«Законы должны и о том иметь попечение, чтобы рабы и в старости и в болезнях не были оставлены. Один из кесарей римских узаконил рабам, оставленным во время их болезни от господ своих, быть свободными, когда выздоровеют»—каково должна была звучать эта мысль в крепостническом обществе?

Между тем дальнейшее рассуждение Екатерины в этом выброшенном отрывке еще любопытней. Она затрагивает вопрос о помещичьей власти в одной из самых существенных ее сторон—речь идет о праве помещика судить своих крестьян, праве, которое отдавало мужика во власть барина, практически неограниченную. Послушайте, как тихо, как осторожно (и как настойчиво) подбирается автор «Наказа» к этой проблеме. «Когда закон дозволяет господину наказывать своего раба жестоким образом, то сие право должен он употреблять как судья, а не как господин. Желательно, чтобы можно было законом предписать в производстве сего порядка, по

которому бы не оставалось ни малого подозрения в учиненном рабу насилии». «В российской Финляндии,— продолжает она так просто, будто в словах ее нет никакой взрывчатой силы,— выбранные семь или восемь крестьян во всяком погосте составляют суд, в котором судят о всех преступлениях (то есть им принадлежит юрисдикция и по тяжким преступлениям! — *О. Ч.*). С пользою подобный способ можно было бы употребить для уменьшения домашней суровости помещиков или слуг, ими посылаемых на управление деревень их беспредельное, что часто разорительно деревням и народу и вредно государству, когда удрученные от них крестьяне принуждены бывают неволею бежать от своего отечества». Вот так начала она с рассуждений о праве «господина наказывать раба своего жестоким образом», а кончила идеей независимого крестьянского суда! Мысль о том, что крестьяне должны судиться собственным, а не помещичьим (и даже не государственным) судом, Екатерина развивает настойчиво: «Есть государства, где никто не может быть осужден инако как двенадцатью особами, ему равными,— закон, который может воспрепятствовать сильно всякому мучительству господ, дворян, хозяев и проч.». Нет, она хорошо знала, что делается в стране, и не может быть сомнений в том, на чьей она стороне — крестьянина или «господ, дворян, хозяев и проч.».

Екатерину этого уровня рассуждений мы совершенно не знаем, хотя абзацы, выкинутые из «Наказа», известны давно, они приведены еще у С. М. Соловьева в его «Истории России».

Чего только не предлагал автор «Наказа» в отношении крестьян. В Греции и Риме, говорит она, рабы могли требовать, чтобы в случае жестокости господина их продали другому, а потому «господин, раздраженный против своего раба, и раб, огорченный против господина своего, должны быть друг с другом разлучены». В крепостнической России подобное предложение, предполагающее некое равенство желаний, звучало прямым бунтом.

«Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества»,— значится в печатной редакции,— «и привести его в такое состояние,— продолжает выброшенный отрывок,— чтобы они могли купить сами себе свободу». Но это только один предлагаемый ею путь, есть и другой: установить короткий срок (например, как в Библии) «службы», то есть крепостной зависимости. Но и за расплывчатой фразой «законы могут учредить нечто для собственного рабов имущества», за ней тоже стояли весьма серьезные намерения.

Мы опять вступаем в полосу социального спора, и опять по необходимости: без этого не понять нравственного, а значит, и культурного облика общества. А может быть, без этого и портреты его людей останутся нам непонятны?

Еще в пору работы над «Наказом», в 1765 году, она создала «Вольное экономическое общество», которое должно было служить «к исправлению земледелия и домостроительства», оно состояло из вельмож с Григорием Орловым во главе, из представителей коллегий, а также из ученых (входил в него и великий математик Эйлер); занималось оно практическими вопросами (почва, удобрения и пр.), но был человек, который считал, что оно должно ставить главные проблемы страны. В конце 1765 года неизвестная особа, подписавшаяся И. Е., прислала Обществу письмо с вопросом о том, какая крестьянская собственность полезней земледелию — полная или ограниченная. Этот вопрос, по-видимому, в Обществе не рассматривался (его нет в протоколах журнала), и вот 1 ноября 1766 года в Общество пришло новое послание от той же неизвестной особы и к нему приложен ящичек с тысячью червонцев. Автор уже прямо ставил вопрос: нужно ли в интересах общества крестьянину право собственности на землю, и предлагал объявить конкурс на лучшее произведение по

этому вопросу; была назначена денежная премия, и об этом напечатали в газете. Всякому, читавшему письма неизвестной особы, нетрудно отгадать автора — текст первого письма (1765) дословно совпадает с текстом «Наказа», тогда еще не опубликованного. Екатерина подбрасывала поленья в разожженный ею огонь. Всякому было ясно, что за проблемой крестьянской собственности стоит проблема крестьянской свободы.

Между тем дело, затеянное Екатериной, обеспокоило дворянство, и снова выступил Сумароков с поразительными для нашего уха рассуждениями. Прежде всего, пишет он, «надобно спросить: потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На это я скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность или потребна клетка, и потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи. Однако одна улетит, а другая будет грызть людей. Так одно потребно ради крестьянина и другое — ради дворянина; теперь осталось решить (очевидно, предыдущий вопрос автору ясен.— *О. Ч.*), что потребнее ради общего блаженства; а потом, ежели вольность крестьянам лучше укрепления, надобно уже решить задачу объявленную. На сие все скажут общества сыны, да и рабы общества сами, что из двух худ лучшее не иметь крестьянам земли собственной, да и нельзя, ибо земли все собственные дворянские <...>. Что же дворянин будет тогда, когда мужики и земля будут не его, а ему что останется? Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, того и толковать не надлежит» (честное слово, кажется, будто с Екатериной спорит сама госпожа Простакова).

С разных концов — и из России и из Европы — стали приходить сочинения на предложенную тему (всего их пришло 160), лучшим было признано сочинение профессора Дижонской академии Беарде де л'Абей, который ответил на поставленный вопрос утвердительно. Стали члены Общества решать, можно ли этот опасный ответ публиковать на русском языке (на французском публиковать все были согласны), спорили четыре месяца и постановили: пусть решает императрица. Но императрица решать отказалась: Общество вольное, самоуправляющееся, пора иметь собственное мнение.

При голосовании чаша весов склонилась, так сказать, в антикрестьянскую сторону, но тут Екатерина явно надавила своим весом на чашу меньшинства (где были Григорий Орлов, Сиверс, Эйлер, всего одиннадцать человек против шестнадцати), собрание удивительным образом заявило, что число согласных и несогласных «почти равно» и что статью надо печатать. И статья о том, что крестьянин должен быть свободен и владеть собственной землей (правда, все эти реформы предполагались, как очень постепенные), была напечатана.

Но почему Екатерина действовала так осторожно, почему все время старалась остаться в тени и высказываться чужими устами. Любопытно, что в прибалтийских землях она действовала прямо противоположным образом: объезжая их, она выслушивала жалобы крестьян, а потом потребовала от ландтага, и весьма решительно, чтобы тот принял меры в защиту крепостного крестьянства от произвола помещиков. А в отношении к крестьянству российской части империи ее политика скрытна и полна потайных ходов? Почему? Прежде чем ответить на этот вопрос, вернемся к вопросу об Уложенной комиссии — как-то справилась она с поставленной перед ней задачей.

Ах, напрасно господа депутаты возносили к небу сочиненные Екатериной молитвы, прося бога отвратить их сердце от корысти и «ненавистные зависти». С необыкновенной энергией они посословно кинулись друг на друга — дворянство на купечество, купечество на дворянство, родовое дворянство на неродовитое и наоборот. Екатерина ждала, что ей расскажут о нуждах страны, а получила свару сословий. Она

хотела облегчить участь крестьянства (оставим ее планы освобождения крестьян, поскольку они в печатный «Наказ» не вошли), а получила... В том-то и дело, что в этом кипении страстей было одно ужасное единство: все сословия жаждали владеть крепостными крестьянами. Конечно, были у Екатерины и единомышленники. Так, дворянский депутат Коробьин говорил о том, что надо ограничить помещичий произвол, надо сделать крестьянина собственником того, что он зарабатывает своим трудом, но предложение было отвергнуто Комиссией. Дворянство не шло ни на какие уступки, когда дело касалось его власти над крестьянами. Но и купечество считало, что ему без крепостного труда не обойтись (вольнонаемные рабочие разбегаются). Требовала себе крепостных и казачья старшина. Духовенство потребовало крепостных организованно — через синод. Даже черносошные крестьяне и крестьяне-однодворцы — крестьяне! — не прочь были купить своего крепостного собрата.

Екатерина говорит об этом времени в своих воспоминаниях. «Предрасположение к деспотизму вырастает здесь лучше, чем в каком бы то ни было другом обитаемом месте на земле,— писала она о нелюбимой ею Москве,— оно прививается с самого раннего возраста, когда дети видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами; ведь нет дома, где не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления. Попробуй сказать, что они такие же люди, как мы,— даже когда я сама говорю это, я рискую тем, что в меня станут бросать камнями; чего только я не выстрадала от такого безрассудного и жестокого общества, когда в Комиссии для установления нового Уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету, и когда невежественные дворяне, число которых было неизмеримо больше, чем я когда-либо могла предполагать, ибо слишком высоко оценивала тех, которые меня окружали, стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев <...> Я думаю, что не было и двадцати человек, которые бы по этому предмету мыслили гуманно, как подобает людям».

Когда Екатерина говорит о том, как горько было ей обнаружить свои столь коренные расхождения с обществом, представленным Комиссией, мы можем ей поверить. В самом деле, каково ей было читать или слышать выступления депутата Алфимова, который оправдывал право дворян продавать крестьян поодиночке (право, против которого даже крайние консерваторы, подобные Щербатову, и то горячо протестовали), и, главное, искренне оправдывал тем, что бывают дворяне бедные, задолжавшие, им нечем платить долги иначе, как продавши одного из крестьян, и тогда продать нужно, это хорошо, потому что бедный дворянин сохраняет оставшуюся часть имения.

А теперь нам любопытно было бы спросить историков, которые так любят говорить о том, что Екатерина заигрывала с либеральными силами и вынуждена была делать уступки демократическим настроениям: где они, эти настроения? Кто их выражал? Какие именно люди представляли те слои, перед которыми, заигрывая и кокетничая, отступала императрица? Ведь идейные течения либеральной или демократической мысли должны были быть очень сильны, а общественные слои, их породившие и поддерживающие, очень могущественны, чтобы перед ними вынуждена была отступать такая властная женщина, какой была Екатерина. Искать их в дворянстве? — но оно устами своего передового идеолога рассуждало о канарейке, которой нужна клетка, а в лице рядовых дворян жарко спорило о том, можно ли продавать крестьян поодиночке. Купечество? Разночинцы? Не было в те поры в

России «третьего сословия», хоть сколько-нибудь оформленного и сознавшего свои общественные интересы. Екатерина понимала, какую мощную опору могло бы дать ей «третье сословие», «средний род людей», как она его называла, и станет энергично способствовать его созданию, но этот слой был при ней настолько слаб, что сам нуждался в помощи государственной власти и опорой для нее, конечно, служить не мог.

Так с кем же все-таки она заигрывала и кому принуждена была уступать в своей либеральной политике? Ответа на этот вопрос в литературе вы не найдете, потому что его нет.

Существует анекдот (в XVIII и XIX веках слово анекдот означало короткий, невыдуманный рассказ). Анекдоты подчас многое говорят о своей эпохе, недаром Пушкин так жадно расспрашивал живых свидетелей XVIII века и записывал рассказанные ими анекдоты. Пренебрежение к этому историческому источнику напрасно (надо только знать ему цену). «В истории я люблю только анекдоты,— с некоторым полемическим перебором писал Мериме в предисловии к своей «Хронике царствования Карла IX»,— а из анекдотов предпочитаю такие, в которых, как мне подсказывает воображение, я нахожу правдивую картину нравов и характеров данной эпохи. Страсть к анекдотам нельзя назвать особенно благородной, но, к стыду своему, должен признаться, что я с удовольствием отдал бы Фукидида за подлинные мемуары Аспазии или Периклова раба, ибо только мемуары, представляющие собой непринужденную беседу автора с читателем, способны дать изображение человека, а меня это главным образом занимает и интересует». Мы, не поступаясь Фукидидом, без всякого стеснения обратимся к любому живому слову прошлого).

Итак, существует анекдот, дошедший до нас сложным путем. Д. Бибиков, племянник А. И. Бибикова, маршала (председателя) Комиссии, встретил в Дрездене сына Дениса Давыдова и рассказал ему эпизод, слышанный им от дяди. «В зале заседаний находились большие ширмы, за которыми стояло кресло императрицы и откуда она обыкновенно слушала прения депутатов; те из них, которые своими мыслями обращали ее внимание, приглашались ею запросто, и она часто и долго беседовала с ними». В предпоследнее заседание Бибиков объявил им, что труд их кончается и что их, вероятно, примет императрица. Один из депутатов спросил, станет ли она созывать их для издания новых законов. Бибиков ответил, что не знает ее воли, но что она, «вероятно уж, не приступит к какой-либо важной мере касательно интересов всех, не собравши снова депутатов». «Не успел он кончить свой ответ, как услыхал за ширмами с шумом отодвинутое кресло и шуршание удаляющегося платья императрицы. С тех пор она стала холодна к Бибикову, и он снова был вызван на политическое поприще только ввиду развития и опасности пугачевского бунта». Можно этот шумный уход Екатерины трактовать как знак ее негодования ввиду некой попытки ограничить ее власть (трактовка вполне возможная,— что-что, а делиться своей властью она никогда ни с кем не собиралась), но может быть и другое объяснение: созывать снова этих депутатов?— мог говорить ее уход.— Советоваться с этими, с ними обсуждать судьбы страны?

Да, она вынуждена была уступить и отступить, но не перед либеральными силами, а перед тем темным, корыстным крепостничеством, которое, вцепившись в крестьянские души, не желало их отпускать.

В XV пункте «Обряда управления Комиссии» Екатерина писала: «Есть ли Депутат Депутата обидит во время собрания и прения о делах бранию или иным непристойным образом, то Депутаты пенею накажут виноватого по своему рассмотрению; или выключением из собрания на время или и вовсе». Комиссия должна была стать

начальной школой новой социальной этики, практикумом по смягчению сословных страстей и предрассудков. В этой связи любопытно привести эпизод с дворянским депутатом М. Глазовым, который оскорбил депутатов каргопольских крестьян. В полном соответствии с «Обрядом» М. Глазов решением Комиссии был оштрафован. Но этого мало: его еще заставили — и это уже сверх того, чего требовал «Обряд»,— «при всем собрании просить ему у обиженных прощения». Можно себе представить, что творилось в душе у дворянина, когда он встал и начал свою извинительную речь, но не менее интересно и то, что чувствовали каргопольские черносошные крестьяне, когда они эту извинительную речь принимали,— не страх ли?

В эпизоде с Глазовым Екатерина демонстративно встала на сторону крестьян, сознательно унизила дворянина, последовательно провела свою точку зрения равенства людей перед законом.

Но она понимала, конечно, как опасен Глазов, потому что огромная масса дворянства была за него — и за ним. Пусть здесь, в особой социально-нравственной атмосфере, они его осудили (если дневная запись Комиссии правдива, то выступление Глазова вызвало не только «соблазн», но смех и негодование, но нам трудно судить, чего было больше, негодования или «соблазна»), но все равно они были — с ним. Императрица задела самые болезненные струны социального сознания дворянства. Единомышленников, как она сама говорит об этом, было едва ли двадцать человек, а врагом могло подняться целое сословие.

Разве не могла она вызвать в те годы уважение передовых людей своего времени? И можно ли подозревать в неискренности Державина, когда он прославлял свою «Фелицу»? Посмотрим, кстати, за что он ее хвалит? За умение крепко управлять государством («Так кормщик, через понт плывущий, / Ловя под парус ветр ревущий / Умеет судном управлять»), за покровительство наукам, ремеслам, торговле. Но больше всего поэта восхищает в Екатерине тот режим терпимости, вольности, уважения к людям, который она старалась установить.

Слух йдет о твоих поступках,
Что ты нимало не горда;
Любезна и в делах и в шутках,
Приятна в дружбе и тверда;
Что ты в напастях равнодушна,
Что в славе так великодушна,
Что отреклась и мудрой слыть <...>
Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и вьяв и под рукой,
И знать и мыслить позволяешь.

В царствование Екатерины можно

...пошептать в беседах
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить.

Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить.

Там свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят...

Здесь за каждым словом живая жизнь. «Отреклась и мудрой слыть» — это ответ Екатерины депутатам, предлагавшим ей титул премудрой и великой. «Там свадеб шутовских не парят» — прямое противопоставление ее царствования предыдущим, в том числе и Анны Иоанновны. «Или портрет неосторожно ее на землю уронить», здесь тоже речь идет о нешуточных делах: царский портрет в предыдущие царствования, включая времена Петра, был окружен атмосферой панического страха; не дай бог было не снять перед ним шапки, повернуть его лицом к стене, уронить его или запачкать, за все это следовали страшные кары. Екатерина, кстати, к своим изображениям относилась в высшей степени терпимо; так, один из портретов ей сильно не понравился, она сказала, что похожа тут на чухонскую кухарку, но это никак не отразилось ни на судьбе художника, ни на судьбе портрета. Мы часто забываем, что точку отсчета следует брать во временах, предшествующих Екатерине, а у Державина иной точки отсчета и не было.

Но продолжим его стихи.

Ты ведаешь, Фелица! правы
И человеков и царей;
Когда ты просвещаешь нравы,
Ты не дурачишь так людей...

В этих, не очень уклюжих, строках выражены два основных пункта ее программы: закон и просвещение.

Культ Екатерины в определенных кругах интеллигенции был очень велик и искренен — да это и неудивительно, настолько необычна была царица, велика ее энергия, свежи мысли и прогрессивны планы.

«Скажи, читал ли ты «Наказ» Екатерины? Прочти, пойми его»,— обращается Пушкин к цензору — уже в пушкинские времена такой призыв прочесть и понять «Наказ» был необходим. В царствование Николая I установилось пренебрежительно-злобное отношение к Екатерине. Андрей Карамзин в одном из писем рассказывает о своем разговоре с великим князем Михаилом Павловичем, братом Николая. Зашла речь о Петре I. «Вы знаете,— пишет Карамзин,— что это для них всех (то есть для царской семьи.— *О. Ч.*) божество, что же касается меня, то я обратного мнения. Он утверждал, что Пушкин недостаточно воздает должное Петру Великому, что его точка зрения ложна, что он рассматривает его скорее как сильного человека, чем как творческого гения; и тут со свойственной ему легкостью речи он начал ему панегирик, а когда я приводил в параллель императрицу Екатерину, он посылал меня подальше». Николай был не более деликатен к памяти бабки — рассказывали, что он велел повесить в своей уборной (в современном смысле туалет) картину, изображавшую приход Екатерины к власти. Николаевское пренебрежение к императрице, идущее, конечно, справа, от неприятия ее либерализма, соединилось с тем неприятием слева, которое было по отношению к ней, как деспоту, со стороны вольнолюбивых кругов, к которым принадлежал Пушкин. И тем не менее:

Скажи, читал ли ты «Наказ» Екатерины?
Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной.

Оказывается, и в пушкинские времена «Наказ», если читать его внимательно и непредвзято, актуален, его можно противопоставить реакционной практике существующего режима. Нетрудно предположить, что Пушкин, в это время (20-е годы) привыкший над Екатериной в лучшем случае подсмеиваться, был удивлен и тронут, когда прочел в ее «Наказе» близкие ему мысли. Если бы он прочел страницы, выпавшие при редактировании, его уважение к автору, конечно, еще более возросло.

Искажение облика Екатерины, крен в обличительную сторону неизбежно приведет к непониманию многого в событиях и самом духе второй половины XVIII века.

Но ведь было за что обличать! Речь может идти о прямых преступлениях против общества! В то самое время, когда заседала Уложенная комиссия, императрица подписала страшный указ, запрещающий крестьянам под страхом кнута и сибирской каторги жаловаться на своих помещиков. Указ тем и страшен, что подписан ею. Она, с ее «отверзите очи!», все понимающая, просвещенная, пишущая законы, где пытается как-то защитить крестьян от произвола, она в то же самое время — в то же самое! — закрыла им последний путь, запретила звать на помощь, не желала слышать стонов со дна бездны. Столько говорила об ограничении власти помещика, договорилась даже до того, что мужики должны судиться своим крестьянским судом, — и отдала крестьян в полный, ничем не ограниченный помещичий произвол. Так громко протестовала против жестокости — и подписала указ о кнуте (а надобно знать, что таким кнутом палач-профессионал мог убить человека с трех ударов). Говорят, она плакала, подписывая указ, — очень может быть: от одного всесветного позора можно было заплакать. Каким способом она самооправдывалась, нетрудно себе представить: на то и создана ею Комиссия, чтобы решить крестьянский вопрос в целом, улучшить положение народа вообще, тогда народу не нужно будет жаловаться. Но Комиссия, как мы знаем, ничего не решила, а позорный указ остался действовать. Дашкова, говоря о темных пятнах на светлой короне Екатерины, вряд ли имеет в виду этот указ, но он в ряду других антикрестьянских указов действительно являет собой пятно, которое не смыть!

Она плакала... Но раздавая своим приближенным тысячи крестьян — а это случалось часто по случаю побед, юбилеев, тезоименитств, просто по причине благорасположения, — она уже не плакала.

Все, что говорили о ней современники, ей враждебные, все, что пишут о ней наши историки, когда клеймят ее реакционером и крепостницей, — все верно. Да, раздала своим приближенным около миллиона крестьян! Да, не только не облегчила их положения, но заметно его ухудшила, несомненно способствуя процессу закрепощения и усилению крепостного гнета (и украинских крестьян, до того свободных, тоже прикрепила к земле). Она была невероятно расточительна по отношению к приближенным, которые получали и гигантские земельные владения, и гигантские денежные суммы, и в то же время на удивление скупа, когда дело касалось, предположим, денег для больниц или детских приютов. Она, так горячо говорившая о веротерпимости, все же (без большой, правда, охоты) преследовала секты. И приходили в Санкт-Петербург баржи, груженные людьми, назначенными на ярмарочную продажу (особенно ценились пригожие девушки). И кнут свистел, и ноздри людям рвали. Она поощряла книгопечатание — но при ней же громили типографии и сжигали книги рукой палача. Правда, это произошло уже в самый поздний период ее царствования, а старость нельзя судить с позиций молодости. Екатерина вообще царствовала слишком долго, пережила себя (и современники уже ждали, что она откажется от престола в пользу кого-нибудь из великих князей), к тому же испугалась французской революции. Но все

же вопиющее противоречие между тем, что она говорила и что делала, характерно для всего ее царствования — даже для тех же 60-х годов, когда она была в расцвете своих надежд и планов.

Я читаю один из поздних ее указов, строго регламентирующих, в какой карете и с какой именно упряжкой должны выезжать русские дворяне в зависимости от чина — кто шестериком, кто четвериком, а кто имеет право только на двуколку (на четыре колеса и то не имеет), замечательный образец сословной тупости, достойной какой-нибудь Анны Иоанновны, — и пытаюсь понять, что с нею произошло, с умной, просвещенной женщиной, которая так много хотела сделать?

Может быть, Левицкий и его друзья тоже ломали над этим голову? Во всяком случае перемену они заметили, да ее и нельзя было не заметить. Державин ее объяснил просто — тем, что издали Екатерина казалась куда привлекательней, чем вблизи; но дело, как видим, обстояло сложней. Императрица была так двойственна в своей программе и практике, сочетала в себе столько хорошего и плохого, что отношение к ней и не могло быть однозначным. Нет смысла выверять хронологически, когда поклонение ей было искренним и горячим, а когда наступило похолодание — две противоположных концепции ее правления могли существовать одновременно, для этого были все основания. Вот почему позиция Державина, полюбившего и разлюбившего царицу, точно соответствует программе обеих картин Левицкого. Таким образом, и никакой загадки в их различии нет. Есть противоречие живой жизни, отраженное художником.

Но могла ли Екатерина осуществить свою программу? — ведь она замахнулась на дело невероятной сложности — потому-то и вела себя с такой осторожностью, потому и за крестьянскую собственность позволила себе выступить лишь анонимно. Ей, узурпатору, вызвать ненависть дворянского сословия — значило погибнуть. А кроме дворянства иной опоры у нее не было.

Так что же — ее сломили? В том-то и дело, что нет. Она была по-прежнему полна жизненных сил, уверенности в себе, победительности и явного (и природного и программного) веселья.

Просто она ничего не могла поделать с «необходимостью», в рамках которой действовала. Работа Комиссии ясно показала, что ей не только не дадут провести реформу, но даже и краем задеть крестьянский вопрос. И действительно, социальные интересы определяющих сословий препятствовали тому, к чему стремилась она со своими преобразованиями. Поняв это, она просто бросила сопротивляться и бодро поплыла в потоке «необходимости».

Просто? В том-то и дело, что опять же все совсем не так просто. Судьба Екатерины (эта судьба видится мне трагической) ставит великий нравственный вопрос. Каким бы могучим законам человек ни подчинялся, внутри их можно найти множество личных позиций. Ведь были же в толще народной массы люди, которые не сдавались — к примеру, не только сами бежали из крепостной неволи, но создали целую систему побега, разрабатывали сеть путей, скрытых троп, тайных убежищ, где беглец, снабженный специальной картой («путешественником»), мог найти приют, запасы и проводника. Уж в какой социальной детерминированности жили эти люди, в каких железных тисках, и то не сдавались. А наша просвещенная — самодержавная! — Екатерина Алексеевна «поплыла».

Задачи, стоявшие перед ней — административные, хозяйственные, внешнеполитические особенно (войны, победы, новые земли), — были увлекательны, окружавшие ее люди — оригинальны, энергичны, много было в ее жизни побед, триумфов, много было



М. А. Колло
Екатерина II, мрамор
1769

праздника. И стала она жить, делая вид, что бездны нет. Убеждать своих иностранных корреспондентов, что народ ее совершенно доволен, что он поет и пляшет.

А баржи, груженные людьми, назначенными на продажу, по-прежнему шли в Санкт-Петербург, и кнут свистел по-прежнему.

Все это мы невольно вспоминаем, когда видим приторную, лицемерную Екатерину-законодательницу из Русского музея.

А ведь при ее огромной власти она могла бы многое сделать — если и не затормозить процесс закрепощения, то хотя бы несколько смягчить его зверские формы и уж во всяком случае не способствовать ему так энергично (не странно ли, что два крупнейших государственных деятеля XVIII века, Петр и Екатерина, оба резко усилили крепостничество?). Попробовать, по крайней мере, она ведь могла бы? Она не сделала ничего в пользу крепостного крестьянина и очень многое ему во вред. Так что же все-таки с нею случилось? Отчасти на этот вопрос отвечает ее характер, собственный ее духовный облик,— он важен нам и для понимания социальной психологии эпохи.

Вскоре после неудачи с Комиссией, в конце 60-х годов, она начала бурную журнальную полемику. Кстати, Екатерину часто корят за то, что она давила и угнетала журналы, но при этом забывают о том немаловажном факте, что прежде всего она их сознательно и энергично вызвала к жизни. В 1769 году она открыла свой журнал «Всякая всячина», который начинается мажорным, ликующим «Поздравлением с новым годом»: «О год, которому прошедшие и будущие завидовать будут, если чувства имеют! Каждая неделя увидит лист; каждый день приготовит оный. Но что я говорю? Мой дух восхищен до третьего неба... я вижу будущее. Я вижу бесконечное племя Всякия Всячины. Я вижу, что за нею последуют законные и незаконные дети». Вот откуда ликование — она открывает новую эру, эру журналистики. Племя действительно пошло расти, появились печатные дети, внуки и правнуки «Всякой всячины», а самое любопытное в том, что все они кинулись на свою прародительницу, редактируемую Екатериной. Началась острая полемика, оживленная перебранка между царицей и довольно большой группой русской интеллигенции. Еще не улегся поднятый императрицей шум в связи с Уложенной комиссией, а уж она поднимала новый.

Именно в то самое время, когда царица разжигала журнальную полемику, ее скульптурный портрет сделала замечательная художница Мари Анн Колло (известная у нас тем, что была автором головы фальконетовского Медного всадника, но заслуживающая, конечно, куда большей славы).

Мраморный барельеф Екатерины (он находится во дворце-музее Гатчины), оправленный в круг из темно-синего лазурита, являет собой удивительно пластичную и артистическую вещь. Екатерина тут не приукрашена, тот же, уже знакомый нам небольшой, чуть вдавленный рот, та же могучая челюсть и лицо уже отяжелевшее. Но сколько энергии и взлета в движении головы, сколько витальности и веселья! — кажется, что сама художница покорена воспроизведенными ею обаянием и силой. Но Мари Анн Колло создала еще одно изображение Екатерины — мраморный бюст (он в Государственном Историческом музее Москвы). Если обойти его сбоку и найти тот ракурс, в котором модель изображена на барельефе, станет ясно, что перед нами одна и та же женщина — тот же профиль, тот же тяжелый подбородок, тот же чуть оттянутый книзу глаз. Но Екатерина опять преобразилась — глаза ее смотрят тускло, выражение лица кислое. Словом, та же история: художник увидел императрицу в двух разных ипостасях и обе изобразил.

Но сейчас она перед нами в первой — привлекательной — своей ипостаси: она в жару журнальной перебранки.

Эта перебранка удивительна прежде всего по форме. Поскольку «Всякая всячина» неосторожно назвала себя родоначальницей, бабушкой остальных журналов, последние воспользовались образом и притом довольно бесцеремонно. «Что же до бабушки принадлежит,— пишет журнал «Ни то, ни се» (март 1769 г.),— то она извинительна потому, что выжила уже из лет и много забывается». Образ бестолковой старухи (кстати, не очень учтивый: хотя бабушка и метафорическая, но Екатерине все же сорок, по тем временам действительно немолода, а если учесть, что выдавали замуж и в 13 лет,— действительно бабушка) то и дело возникает на журнальных страницах. Новиковский «Трутень» дошел до такой дерзости, что заявил, будто «госпожа Всякая всячина» «на русском языке изъясняться не умеет и русских писаний обстоятельно разуметь не может» (если это намек на Екатерину, немку, то он несправедлив, она давно перестала быть немкой).

Русские просветители хорошо понимали, с кем спорят, знали, что за Екатериной в конце концов и Тайная экспедиция (сменившая Тайную канцелярию), и крепость, и Сибирь,— но выступали с отвагой. Так, например, «Смесь» задается вопросом, почему «Всякая всячина» так хвалима, и отвечает: «Во-первых, потому, что многие похвалы она сама себе сплетает, потом по причине той, что разгласила, что в ее собрании многие знатные господа находятся... Но правда ли то или нет, нам того знать не нужно, и мы судить должны то, что видим. Если и Великий Могол напишет, что снег черен, а уголь бел, то я ему не поверю». Ясно, что журналисты не помнят ни про крепость, ни про Сибирь — и в этом, конечно, тоже заслуга нашего «Великого Могола», это ею созданная атмосфера. Кстати, в развернувшейся ожесточенной полемике обе стороны то и дело апеллируют к публике, то есть к общественному мнению. Но нам, разумеется, всего важнее суть спора царицы с интеллигенцией.

Увидев, что вызванные ею к жизни журналы сразу же пошли по линии социальной критики, она принялась выступать против резкостей вообще, призывая отложить «все домашние распри» и быть помягче. Так, в одном из номеров «Всякой всячины» она говорит о некоем А., приславшем в журнал желчное письмо, и советует автору быть снисходительным к человеческим слабостям, потому что «кто только видит пороки, не имев любви, тот не способен подавать наставления другому. Мы и о том умолчать не можем, что большая часть материй, в его длинном письме включенных, не есть нашего департамента. Итак, просим господина А. впредь подобными присылками не трудиться; наш полет по земле, а не на воздухе, еще же менее до небеси; сверх того, мы не любим меланхолических писем». Автором этих слов, конечно, была Екатерина — и Новиков славно отделал ее в своем «Трутне»: «Многие слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия. Они говорят, что слабости человекам обыкновенны и что должно оные прикрывать человеколюбием; следовательно, они порокам сшили из человеколюбия кафтан <...>. По моему мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, который оным снисходит или (сказать по-русски) потакает <...>. Я хотел бы сие письмо послать госпоже вашей прабабке, но она меланхолических писем читать не любит, а в сем письме, я думаю, она ничего такого не найдет, от чего бы у нее от смеха три дня бока болеть могли».

На отповедь Новикова Екатерина, конечно, тотчас откликнулась: «На ругательства, напечатанные в Трутне под пятым отделением, мы ответствовать не хотим, уничтожая (то есть презирая.— *О. Ч.*) оные; а только наскоро дадим приметить, что господин Правдулюбов (от имени этого выдуманного персонажа писал Новиков.— *О. Ч.*) нас называет криводушниками и потатчиками пороков для того, что мы сказали, что имеем человеколюбие и снисхождение к человеческим слабостям и что есть



Д. Левицкий
Н. И. Новиков
1797

разница между пороками и слабостями. Господин Правдулюбов не догадался, что, исключая снисхождение, он истребляет милосердие <...> Думать надобно, что ему бы хотелось за все да про все кнутом сечь. Как бы то ни было, отдавая его публике на суд, мы советуем ему лечиться, дабы черные пары и желчь не оказывались даже на бумаге, до коей он дотрагивается. Нам его меланхолия не досадна; но ему несносно и то, что мы лучше любим смеяться, нежели плакать».

А ведь разговор шел об очень важном.

Мы видим: Екатерина призывает к терпимости (не обязательно «за все да про все кнутом сечь») и высказывает серьезную мысль: «кто только видит пороки, не имев любви, тот не способен подавать наставления другому». Она уже прямо ставит вопрос о личной ответственности. Причина неправосудия, говорит она, может быть и в плохих законах и в неправедных судьях, но главное — в нас самих. «Не замай всяк спросить сам у себя, более ли он вчерась или сегодня сделал справедливых или несправедливых заключений? Из всего сказанного выходит, что нигде больше несправедливости и неправосудия нет, как в нас самих».

Нравственное исправление невозможно осуществить, не начав с самого себя,— это мысль глубокая. Если бы она была внутренним кровным убеждением Екатерины, судьба ее сложилась бы иначе, может быть, не менее трагически, чем у ее сына. Но у нее это было не убеждение, а концепция, которая в сложных жизненных условиях легко трансформировалась (с концепциями это происходит куда легче, чем с убеждениями) в бодрую поверхностную «пропаганду». И потому ее призыв к терпимости (любопытно, что она учит терпимости одного из самых прекрасных и прогрессивных людей своего времени) рожден скорее всего стремлением, чтобы оставили в покое, не приставали бы с народными бедствиями, не обличали бы людей, с которыми ей работать, на которых опираться. А тут уж стали возможны и казенно-равнодушное «не есть нашего департамента» и совсем уж постыдное «мы не любим меланхолических писем». С годами все больше развивался в ней этот ужасный оптимизм, эта отвратительная бодрость, основанная на твердом намерении не видеть беды, на легком самоуспокоении — несу, мол, просвещение, делаю, что могу.

Эта самоуспокоенность ясно видна в ее портретах, особенно поздних.

Новиков имел право отчитать царицу — сам он любил народ и сострадал народу, отсюда и его сатира, полная тоски, отсюда и его высокий гнев. Он находит точные слова, когда говорит о Екатерине. Слабой совести люди — это о ней. Правда, «душа слабая и гибкая» — это о ней только отчасти: у Екатерины была сильная душа, но действительно — гибка (была в ней и гибкость понимания, но более всего гибкость приспособления). Екатерина была умна, ее сильный ум, подогретый сухим жаром ее души, оказался способен на высокие мысли. Но жар при столкновении с жизнью остыл, а ум? Ну, что до ума, то ведь он, вообще говоря, большой хитрец, может убедительно обосновать и данный тезис и противоположный, а уж там, где надо самооправдаться, достигает виртуозности. Кажется, одно лишь сострадание неподкупно и всегда на страже; может быть, порой и хочется ему уклониться и отдохнуть, но оно ничего поделать с собой не может (как не мог не вести свою грандиозную работу Новиков, как не мог не написать своей книги Радищев) — и стоит, пока не умрет.

У Екатерины была покладистая, сговорчивая совесть рационалиста, самооправдаться, самоуспокоиться не стоило для нее большого труда.

И вот явился миру «Тартюф в юбке и короне». И пошли в ее письмах к Вольтеру петь и плясать счастливые русские крестьяне, явилась тут у каждого в супе курица, и старый философ должен был, конечно, усмехнуться превращению гипотетической курицы Генриха IV в явно фантастическую русскую курицу Екатерины.

Да, она стала лицемерна, да, она делала хорошую мину при плохой игре, да, ее легко упрекать. Но и у нее было что ответить упрекавшим. Когда Дидро, вернувшись во Францию, обрушился на ее «Наказ», она свысока отнеслась к его нападкам: философ работает «над бумагой, которая все терпит», между тем как она, «бедная императрица», работает «на человеческой шкуре, которая, напротив, очень раздражительна и щекотлива».

Когда Радищев напечатал свою дивную книгу, Екатерина в замечаниях на полях написала и так: «Уговаривает помещиков освободить крестьян, да нихто не послушает». И всем им она ответила, когда спорила с Новиковым во «Всякой всячине»: «Наш полет по земле, а не на воздухе, еще же менее до небеси».

А ведь она взлетала высоко в своих мыслях и планах, была на уровне головокружительных идей XVIII века. Но сами эти идеи, какую роль сыграли они в столь сложной стране, какой была тогдашняя Россия? В сущности своей во многом близкие народной массе, униженной, темной, но живой в своей жажде свободы и социальной справедливости,—они не задели ее сознания; бесследно пролетели они над грузной массой русского дворянства, но задели и увлекли интеллигенцию, дворянскую, разночинную (и даже крепостную), сыграв немалую роль в формировании того общественного сознания, которое расцвело в XIX веке. Екатерина дала сильный толчок полету мысли, а сама, в сущности, увязла в этой грузной дворянской массе, полной социального своекорыстия и бесстыдства, осталась со Скотиниными, которых так презирала. Это ли не трагедия?

Итак, мы видим просвещенную Екатерину увязшей в среде Скотининых. Но все же оставлять ее тут навеки было бы несправедливо. А потому кажется уместным еще раз вернуться к «Капитанской дочке», к спокойному и трезвому взгляду Пушкина, историка и поэта.

У В. Л. Боровиковского есть очень известная картина (он и сам ее повторил, а потом ее воспроизводили в гравюре)—Екатерина в царскосельском парке. Она изображена без всяких регалий, орлов и мантий—пожилая женщина в чепце и утреннем капоте гуляет по саду с тонконогой белой собачкой; если бы не было на заднем плане обелиска, знаменующего славу русского оружия, ничто не говорило бы нам, что перед нами изображение царской особы.

В сцене первой встречи Маши Мироновой с императрицей в царскосельском парке Пушкин, как известно, воспроизвел именно эту картину Боровиковского, отсюда пейзаж, обелиск, белая собачка английской породы, простой утренний костюм Екатерины. И вот пейзаж ожил, с лаем бросилась к Маше собачка, заговорила императрица («Не бойтесь, она не укусит»). Только пушкинская Екатерина куда интересней той, что на картине Боровиковского.

«Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую».

Перед нами, конечно, настоящий портрет XVIII века с его очарованием и изяществом, умением художника увидеть в человеке самые привлекательные и благородные черты, а все остальное дать лишь в намеке, который, однако, говорит о сложности и придает глубину. И здесь, в портрете Екатерины, в глубине его проглядывает некая опасность—как она, эта мягкая и деликатная, стала вдруг неприступно холодна, каким вспыхнула гневом, когда у бедной Маши вырвалось: «Ах, неправда!». Опасность прошла тенью, но она была реальной.

Каждую черту этого портрета можно доказать документально, и удивительную внимательность Екатерины, так привлекавшую к ней собеседников, и ее несомненное

личное очарование. Она создавала вокруг себя атмосферу покоя и доброжелательства, с ней легко было работать. Но в глубине ее все-таки таилась опасность.

Однако в «Капитанской дочке» есть и портрет Пугачева! Он нам особенно дорог, потому что написан на основе огромного (от очевидцев полученного) материала — и гениальной пушкинской интуиции.

Обычно считают, что в отличие от Пугачева Екатерина написана неважно (бледна, слащава), на самом деле оба они отлично написаны, и тут не просчет Пушкина, а художественный расчет. Этих двух людей нельзя было писать одной кистью, они требуют разной живописи.

В мировой литературе, я думаю, нет героя, равного пушкинскому Пугачеву. Возникший из вьюги (и ей не чужой), он является нам в сплетении невиданных противоречий. Никогда не простим мы ему виселицы, на которой висят два старика, и зарубленную Василису Егоровну. И то, что есть в этом низком злодее нечто продувное (прищуренный левый глаз) и нечто детски простодушное, нас с ним нисколько не примиряет. Но вот образ становится все тревожней и трагичнее — вечер в Белогорской крепости, когда поет пугачевская старшина, когда «их грозные лица, стройные голоса» и общая атмосфера тоски потрясают Гринева «каким-то пиитическим ужасом»; и все эти опасные разговоры, которые Гринев ведет с Пугачевым, это пугачевское: «Страшно тебе?» и предупреждение Гринева: «Кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку» — образ самозванца возвышают до мрачно-романтического. И этот могучий романтизм ничуть не умаляется тем, что Пугачев одновременно и плут, что от вина он становится краснорож, а уж то, как этот грозный, кровавый тиран вынужден все время отбиваться от требований Савельича по части заячьего тулупа, придает ему особое обаяние. В «Капитанской дочке» нет ни слова о целях крестьянской войны, напротив, кажется, что Пугачева ведет честолюбие («Гришка Отрепьев ведь царствовал же над Москвою»), но в самом образе Пугачева столько глубины и великодушия, что в пушкинском сочувствии сомнения быть не может. А тень виселицы говорит о полном понимании проблемы. Страшен Пугачев, и притягателен, и трагичен — в нем трагическое противоречие пугачевщины (о которой речь впереди). И хотя Екатерине из «Капитанской дочки» не откажешь в некотором величии, истинное величие принадлежит не ей, и тихое солнечное утро царскосельского парка нас не радует, наше воображение не тут, а в Москве, на Болоте, когда Пугачев с эшафота узнал Гринева «и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу».

Все надо помнить, говорит пушкинское беспристрастие. Нельзя судить о Пугачеве, забывая о виселицах. Нельзя только корить Екатерину, забывая ее роль в становлении русской культуры.

Так и поступали писавшие Екатерину художники — они все подметили, все запомнили и передали нам в противоречии.

Так вместе с Екатериной и ее портретами мы («нечувствительно», как сказали бы в XVIII веке) проникли в суть эпохи, в самые существенные ее проблемы. Если их не понять и о них не помнить, вряд ли удастся постичь духовную структуру общества, а равно и характер его творчества. Духовная структура эта сложна и противоречива, из нашего XX века ее не так-то просто понять. И если портреты людей являются как бы окнами в их эпоху, то в эти окна еще надо уметь заглянуть. А это значит, что нам предстоит еще более углубиться в эпоху.

ГЛАВА III
О НИЗОСТИ И БЛАГОРОДСТВЕ

В скульптуре Ф. Шубина «Екатерина-законодательница» у ног мраморной царицы лежит рог изобилия, известная принадлежность аллегории, атрибут Флоры, богини плодородия. Обычно из рога изобилия сыпятся великолепные дары земли — плоды и цветы. Екатерина по мысли скульптора — тоже подательница благ, но из рога изобилия, лежащего у ее ног, летят монеты, медали и ордена. Эта жесткая и, казалось бы, малопитательная материя изображена тут с энтузиазмом, она валом валит — и неудивительно: в глазах общества все это было одним из величайших благ.

Бешеная погоня за титулом, чином, орденом, столь свойственная дворянству XVIII века, объясняется далеко не только тщеславием — чин определял повседневную жизнь, начиная от уровня материального благосостояния и кончая тем, как скоро даст тебе лошадей на почтовой станции станционный смотритель. В высших чинах жить было очень комфортно, в низших — очень трудно. Чин и связанная с ним должность служили прямым средством к обогащению, социальное сознание эпохи с трудом отделяло законный доход от незаконного. (Да это и нетрудно понять: жалованье чиновникам, впервые введенное Петром I, было отменено всесильным при Екатерине I Меншиковым, и огромная масса чиновничества снова стала законно кормиться за счет клиентов, всех тех, кого должна была бы обслуживать за счет государства; только Екатерина II окончательно ввела твердое жалованье. Зато она же отдала в руки командира полка все полковые средства, которые стали его откровенным доходом.) Общество, жестко разделенное петровской табелью о рангах, не только ценило чин и орден, оно боготворило их (вот откуда и рог изобилия у ног мраморной Екатерины).

Портреты XVIII века то и дело демонстрируют нам знаки социальных отличий — художники специально учились (и отлично умели) писать муар орденских лент, мерцание золотого мундирного шитья, сверкание бриллиантов, собранных целыми гроздьями в орденские звезды. Ордена на камзоле мужчины, шифр на корсаже женщины, осыпанные алмазами императорские портреты — всему этому придавали настолько большое значение, что вельможа, получив новый орден, просил художника дописать его на своем ранее написанном портрете. На портрете А. Б. Куракина («бриллиантового князя») внимание привлекает не столько лицо этого павловского любимца, сколько золотое и алмазное мерцание, заливающее его грудь и живот. Или — точнее — и лицо, и золото-алмазное сияние выражают одно и то же: пустое высокомерие. Чего же стоил Куракину, думаем мы, каждый из этих орденов? Впрочем, на человека, который в детстве играл с великим князем, чины и ордена, когда тот пришел к власти, действительно сыпались, как из рога изобилия, другим же вельможам каждый орден доставался ценой интриг и унижений. Их выпрашивали у фаворитов, в чьей передней собирались не какие-нибудь мелкие чиновники, но генералы, адмиралы, сенаторы, часами ожидавшие слова или взгляда какого-нибудь очередного выбранного Екатериной мальчишки. Есть удивительный рассказ о том, как в покоях Платона Зубова, последнего фаворита уже состарившейся императрицы, его обезьянка вскочила на парик некоего вельможи, принялась там пачкать — а вельможа не посмел ее согнать. Тяжко давались иные должности, чины и ордена!



В. Боровиковский
А. Б. Куракин
1801—1802

А сколько надежд, мечтаний, восторгов было связано с чином — и сколько отчаяния, когда он проплывал мимо! Любопытные страницы посвящены этому в записках А. Т. Болотова. Ему, тогда юному, полагалось в подпоручики, но поскольку ко времени производства его в полку не было, то его и обошли. Известие поразило его «властно, как громовым ударом,— пишет он,— я онемел и не в состоянии был ни единого слова промолвить, слезы только покатились из глаз моих и капали на землю <...> Самый свет казался мне померкшим в глазах моих <...> Лишение самих родителей (а Болотов очень тяжело пережил раннюю смерть родителей и свое сиротство.— *О. Ч.*) не было для меня таково горестно и мучительно, как сие досадное обойдение. Там действовала одна только печаль, а тут с оною вместе досада, раскаяние, завидование благополучию моих товарищей, стыд и многие другие пристрастия совокуплялись и попеременно дух и сердце мое терзали и мучили».

Болотов, впрочем, был мальчиком, неоперившимся птенцом, но вот перед нами другой человек, офицер А. С. Пишчевич, прошедший жестокую школу войны и походов, уже хорошо битый жизнью,—он идет к секретарю петербургской военной экспедиции, у которого рассчитывает купить чин майора (который, кстати, давным-давно ему по службе полагается). «Пять часов ударило на Петропавловской колокольне, как я уже был у ворот секретарских, проводив утро или лучше сказать часть ночи изготовляясь предстать пред его; никогда любовник, долженствующий предстать в первый раз пред свою любовницу, не делал с толиким тщанием своего туалета и не удваивал столь скоропостижно своих шагов; я не шел, а, так сказать, перепрыгивал через ногу, дабы достигнуть до Тарутиновой пристани, толико велико было мое нетерпение» (и секретарь воинской экспедиции Тарутин запросил с него сумму, которой у него не было). Сколько людей, военных и штатских, бежали так, «перепрыгивая через ногу»,— и сколько их прыгало понапрасну!

А Болотов все-таки поехал в Петербург хлопотать о чине, и мне трудно удержаться, чтобы не передать некоторую часть его хождения по мукам— настолько они забавны и показательны, живая жизнь (как, впрочем, и всегда) говорит устами автора. Какая гамма переживаний! Отправился он, вооружившись письмом некоего генерала, к могущественному временщику графу П. И. Шувалову. Оказалось, однако, что при Шувалове тоже есть свой могущественный фаворит М. А. Яковлев, ведавший его военной канцелярией. К этому Яковлеву Болотов и направился. Но по дороге он вдруг увидел с ужасом, что рекомендательное письмо каким-то непонятным образом у него распечаталось. «Я остолбенел на том месте, где стоял, и не знал, что делать. Горе и робость напали на меня превеличайшие, и я предвозвещал себе от того напасть неведомо какую. «Ах, какая беда! — твердил я только себе несколько раз.— Что мне теперь делать?» — И ужас мой был так велик, что сердце от трепетания хотело властно как выскочить». Но потом юный Андрей Тимофеевич все-таки сообразил, что письмо нужно снова запечатать точно так, как оно было запечатано, а для этого нужно купить «такого же хорошего аглицкого сургучу <...> Как вздумалось, так скоро сие было и сделано, и не помню, чтоб когда-нибудь во всю жизнь мою скорей тогдашнего я бегивал. Самый купец удивился чрезвычайной моей поспешности и был слишком добродушен и честен, что не взял с меня тройной цены за сию палку сургуча <...>. Прибежавши на квартиру, кричал я, не входя ещё в горницу, людям, чтоб бежали скорее за огнем. Но чем я более спешил, тем медленнее и хуже происходило дело. На ту беду не случись у нас ни одного огарочка свечки, а лучинки и подавно взять было негде. Наконец, нашли какой-то осколочек и принесли мне не столько горящий, сколько курящийся. Я хватал скорее сургуч; но не новое ли горе? Не нахожу его в карманах. Я в тот, я в другой, я в третий, но не тут-то было! «Господи, помилуй! Куда

это он у меня делся!» Но сколько я ни говорил «Господи, помилуй» и сколько ни шарил по всем карманам, но сургуча моего нигде не было». Он обнаружился, наконец, за подкладкой. «Рад я неведомо как был сему случаю; но горе мое еще не кончилось. Проклятый осколочек, или лучинка, между тем как мы суетились и сургуча искали, погасла и надымила всю мою горницу. Покуда пошли опять ее зажигать, покуда дули, покуда принесли, прошло опять несколько минут, из коих каждая мне целым часом казалась. Наконец, принесли мне огонь, и я спешил дрожащими руками скорей припечатывать. Но не новая ли опять беда? Проклятая лучина задымила мой сургуч, и он, почернев, сделался хуже еще простого. К вящему несчастию и досаде, капнул я еще им мимо печати на конверт. ,,О беды по бедам!—вскричал я тогда,—что мне теперь делать?“» Но разбираться со всем этим ему было уже некогда, и он побежал к Яковлеву.

И вот Болотов у Яковлева. «Я подступил к нему с трепещущими ногами и, подавая письмо, трясся, чтоб не узнал он, что оно было припечатано. Но, по счастью, так случилось, что он и не взглянул на печать, столь много раз проклинаемую, но, приняв с величавою осанкою у меня из рук, раздернул пополам конверт и бросил на пол. Рад я был неведомо как сему случаю и смотрел, не спуская глаз, на его, читавшего в то время представление генеральское. Сердце во мне трепетало и обливалось кровью, и я стоял, как осужденный, ожидающий приговора к животу или смерти <...>. Все стояли тогда в глубочайшем молчании и взглядывали на меня, видя господина Яковлева, читающего бумаги мои с величайшим вниманием». Кто станет сомневаться в том, что русская проза, прежде чем достичь печатного станка, росла и расцветала в простодушных рукописных мемуарах?

Прочтя болотовские бумаги, Яковлев велел ему чаще ходить к обедне, и Болотов ходил, пока, наконец, не стало ему известно, что его прошение передано в канцелярию. «Радость, чувствуемую от сего, не почитаю я за нужное описывать подробно; довольно, она была чрезвычайна и столь же велика, сколь велика была сперва печаль моя»,—и тут оказалось, что двор в Царском Селе и Шувалов с ним. Но вот однажды, только лишь Болотов пришел в канцелярию Яковлева, как на него бросились «канцелярские служители и начали щипать и сдирать с обшлагов моих позументы» (сержантские.—*О. Ч.*). И тут Болотов понял, что он уже «не сержант, а господин подпоручик». Счастье и благодарность Яковлеву «была так велика, что если бы можно было, то расцеловал бы я у него тогда все руки и пальцы». И вот Болотов—офицер. «Мне казалось, что я совсем тогда иной сделался, и я не мог на себя и на золотой свой темляк и офицерскую шляпу довольно насмотреться <...>. Не успел я приттить к лагерю, как первый часовой, увидев меня, тотчас мне, как офицеру, ружьем своим честь отдал. Я восхищен был до бесконечности сим зрелищем <...>».

Замечательную картину охоты за чинами рисует нам другой мемуарист, Гаврила Добрынин. То было время екатерининских административных преобразований, когда создавались новые губернаторства и наместничества. Добрынин, занимавший невзрачный пост протоколиста при архиерее, приехал в Могилев, когда там открылось Могилевское наместничество и куда, так же как и он, в надежде на место понаехали отовсюду мелкие чиновники. Добрынин пошел к губернскому секретарю Алеевцеву, который был у губернатора за оракула и которому просители кланялись, «как золотому тельцу, когда он не был пьян и не сидел под караулом для истрезвления».

Добрынин просил Алеевцева о чине, но тот ничего не сделал, пока не получил 50 рублей, а получив, запил. Тогда Добрынин пошел к нему домой, и тут на сцену выступает новое немаловажное лицо—солдат Данилка, служивший у Алеевцева. «Я дня с три сряду посещал запертые вороты, давал привратнику, солдату Данилке, рубль,

два, три; но сей цербер пребывал неумолим», оказалось, что его «пропускная пошлина» — 25 рублей. И вдруг перед Добрыниным открылась перспектива обойти не только Данилку, но и самого Алеевцева: он познакомился с полковником Каховским, братом губернатора, и тот велел ему прийти к нему в канцелярию. Добрынин побежал в замок, где эта канцелярия располагалась.

«Перед замком на площади встретился с тремя секретарями, которые так же, как и я, осачивали участи, чтобы к открытию наместничества не остаться без места,— и с ними приостановился. Площадь была не мала. К нам начали стекаться помаленьку люди нашего сорта и ее наполнять. Материя у всех была общая. Иной суетился, что не знает, куда будет помещен при открытии наместничества; иной больше имел причины к суетам, что не знал или сомневался, будет ли куда помещен? Поелику список помещаемых хранился уже в тайне. Иной жалился, что Алеевцев много взял... много выпил... много обещал... ничего не сделал... и проч. ...

Вдруг показалась карета Каховского, все разом стали «в позицию для поклона», а тот, махнув рукой, крикнул: «За мною в замок». «Кому ето сказано?» — спросили друг друга мои товарищи. «Ето мне», — отвечал я и пошел поспешно. А они вослед мне прокричали: «Э брат! тебе, видно, не наше горе, ты с дядюшками живешь!»

Добрынин вошел к губернатору, и через четверть часа, которые показались ему днем, вышел чиновник с бумагами и сказал ему: «Поздравляю вас губернским секретарем». Поздравление, какого еще я во всю жизнь не слыхивал!.. Удовольствие разлилось по мне в одну секунду и произвело необъяснимое радостное сотрясение во всех моих членах».

Но, увы, поздравление с новым чином отнюдь не значило, что наш герой миновал Алеевцева, тот должен был еще вписать его в особую книгу, а это значило, что перед будущим губернским секретарем снова вырастала грозная тень солдата Данилки. Добрынин решил на этот раз заплатить стражу требуемые 25 рублей, «почему написал цедульку и с нею пошел к воротам; лишь только к ним из-за угла повернул, увидел вице-губернатора Воронина, стоящего подле них и беседующего сквозь щели ворот с Данилкою. Я, не делая вида, что и моя цель была сюда же, проходил прямо по улице и пред вице-губернатором, отвалившим уже от ворот, сделал подобающий поклон, а он провалил мимо меня, не пошевеля ни головою, ни рукою и с таким спесивым видом, как будто он удостоился говорить с самим Алеевцевым! — Мне приметно было любочестие сего начальника; однако ж я имел снисхождение судить, что, может быть, он не знает, что я пожалован в губернские секретари и что я уже не тот человек, который был за час перед сим. Но дело не о спесях наших с вице-губернатором! Что мне делать, думал я, когда уже и вице-губернатор у Алеевцева в таком уважении, в каком я видел его беседующего с Данилкою? Однако ж приступил к воротам и ну челобитовать почти так: «О, великий Данилка! сын слепого и мгновенно преходящего случая! О верный страж у ворот великого письмоводителя! О могущий цербер! Коего лаяние не смеет пренебречь и сам вице-губернатор Воронин! Внемли: я прислан с запиской от полковника Василия Васильевича Каховского, вот от него записка, записка очень важная <...>» — и просунул свою, а не Каховского, записку между воротных досок, где просил разрешения лично благодарить Алеевцева. И заготовил 25 рублей. Тут проходил советник камерной экспедиции Сурмин, добрый человек, увидя все это, он усмехнулся и сказал: «Что, брат, не впускают! Да и я иду без надежды» <...>. Вдруг загремела цепь и ворота отворились!» Увидя двоих, Данилка не хотел было пускать Сурмина, но тот сказал, что он, Данилка, назначен к ним, в наместническое управление, сторожем и ему придется худо, и Данилка пал ему в ноги.

Далее это хождение по бюрократическим кругам развивается трагически. К великому ужасу Добрынина, Алеевцев, когда представил ему губернаторское распоряжение о чине, спокойно его разорвал, объявив, что того требует тактика, потому что губернатором недовольны в камерной экспедиции, что теперь, с учреждением наместничества, власть его прошла; доложат новому наместнику, что Добрынина произвели неправильно,— и все пропало, а надо сделать так, будто все оформлено тогда, когда губернатор еще имел право производить в чины, и чтобы бумаги пришли не в камерную экспедицию, которой скоро не будет, но в казенную палату, которая откроется с наместничеством.

Вот чего стоило получение чина.

В России, ставшей на путь преобразования, было много энергии, много умов и талантов, но недоставало ее обществу одной черты, необходимой для развития культуры,— чувства собственного достоинства, внутренней независимости. Петр I, столько нового прививший России, чувства собственного достоинства не привил, да и не ставил себе подобной задачи. Любопытна с этой точки зрения жалоба знаменитого и почитаемого поэта А. П. Сумарокова, в письме (1758) к всемогущему Шувалову он жалуется на то, что граф Чернышев его, поэта, обругал вором. Сумароков оскорблен глубоко и именно как дворянин. «Я не граф, однако дворянин, я не камергер, однако офицер и служу без порока двадцать семь лет... Кто думал, что это мне кто скажет когда-нибудь, потому только, что он больше моего чину и больше меня поступи, по своему счастью, имеет...» Он говорит, что не мог заснуть всю ночь и плакал, как ребенок, «не зная, что начать». «А впрочем, гр. Чернышев напрасно меня побить хвалился, ежели это будет, я хочу быть не только из числа честных людей выключен, но из числа рода человеческого. Monseigneur, suis-je esclav que d'être traitée ainsi? Suis-je son domestique? Я подвергался великому несчастью, только советую, чтобы никто, в ком есть хоть капля честной крови, нападений не терпел, а что я стерпел, тому причиной дворец и ваши комнаты. Впрочем, верьте, что его сият. гр. Черн. может меня убить до смерти, а не побить, ежели мне руки не свяжут, а в том честью моею вам милость г-дрь клянусь, да и никакова доброва дворянина или офицера; а что я остался еще будто спокоен aprés ce grand coup, я остался par embarras et je n'avait point de présence d'esprit, чтобы вздумать, что делать, а притом боялся прогневать вас, tout ma vie est changée et il ne me reste plus qu'a mourir».

Как оно беспомощно, это едва возникшее чувство собственного достоинства. Оно только плачет, как дитя, и не спит ночами — а защитить себя еще не в состоянии. Да и подлинно ли это достоинство, если оно униженно кланяется вельможе и не смеет протестовать против оскорбления из страха его прогневить? В своей прекрасной работе «Очерки по истории русской литературы XVIII века» Г. А. Гуковский, приведя это письмо, сопоставляет его с фактами более поздними, начала XIX века, когда великий князь Константин Павлович оскорбил двух польских офицеров (приказал им во время развода взять ружья и маршировать вместе с солдатами),— три офицера этого полка в виде протеста покончили с собой. Можно было тут вспомнить также историю, рассказанную Герценом в «Былом и думах» о том, как на военных учениях Николай I, бывший тогда тоже великим князем, «до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера, тот ответил ему: "Ваше высочество, у меня шпага в руке"». И Николай отступил, он пытался впоследствии мстить этому офицеру, но уже исподтишка.

Между двумя условно поставленными вехами — униженным письмом негодующего Сумарокова и гордым ответом офицера великому князю — лежит целый путь развития чувства чести и собственного достоинства — путь, который лучшая часть русского дворянства проделала на редкость быстро, и приходится этот путь как раз на

вторую половину XVIII века. Однажды за столом у великого князя Павла П. И. Панин рассказал, как генерал П. А. Румянцев в гневе направил лошадь на одного из офицеров, а тот, «тотчас оборотя свою лошадь, пистолет против лба ему наставил». Панин рассказал это с одобрением — чувство собственного достоинства в обществе росло. Мы видели попытки Екатерины в ходе работы Уложенной комиссии научить дворян уважению к людям других сословий, приучить к атмосфере учтивости. В дневнике Порошина есть такая сценка: Екатерина делает выговор майору гвардейского полка графу Брюсу — она делает это легко, весело, словно бы «смеючись»,— недаром современники так много говорят о ее такте. У нее, к слову сказать, было как бы две линии поведения — совершенная простота в личном общении и горделивое величие (целый величественный спектакль) при официальных выходах, приемах, празднествах. Существует забавный анекдот: во время работы Уложенной комиссии она часто беседовала с неким старичком-депутатом и совершенно очаровала его своей простотой. Назавтра предстоял торжественный прием, и Екатерина сказала, что будет там уже совсем другою; старичок стал протестовать: теперь-то он знает, как она приветлива и проста. Назавтра он вместе с другими депутатами шел мимо Екатерины, сидевшей на троне, шел, опустив голову и на нее не глядя, но когда поднял голову и глянул, то упал в обморок, так неприступно величественна была императрица. Обморок старичка маловероятен, но в умении Екатерины мгновенно трансформироваться из приветливой хозяйки в неприступную государыню сомнений быть не может. Тем не менее в общении со своим непосредственным окружением она была проста и учтива, этот тон, ею заданный, должен был распространиться в некотором радиусе от трона, но глубоко проникнуть в среду дворянства (о других социальных слоях тут и речи нет) вряд ли мог.

Самосознание дворян росло по мере того, как укреплялось их положение в стране, немалый толчок этому процессу дал знаменитый указ о вольности дворянства, подписанный Петром III. Екатерина отнеслась к указу неодобрительно, встретив во дворце молодого Дашкова, который плакал счастливыми слезами от того, что указ подписан, она спросила иронически: «А что, разве раньше вы были крепостными?» Она полагала, что именно на государственной службе и должны выполнять дворяне свой общественный долг (но во второй половине своего царствования она подтвердила все дарованные указом дворянские права).

Этот знаменитый указ имел двойственный общественный эффект. С одной стороны, он самым отрицательным образом воздействовал на общество в целом и особенно пагубно именно на дворянство. Освобожденное от обязанностей по отношению к государству и обществу, оно загнивало не только в пороке и лени, но и в разврате безнаказанности. Безграничная власть дворянина над жизнью других людей делала его, человека зачастую темного и невежественного, неким подобием уголовника, которому ничто не свято, ничего не стыдно и никого не жаль. Таким образом, указ о вольности дворянства сокрушительно ударил по самому дворянству, подрывая его нравственные устои.

Но нет сомнений и в том, что этот указ был одновременно благодетелен для дворянства и для страны. В условиях относительной независимости в среде дворян пошел сильнее процесс своеобразной дифференциации — совсем не по линии землевладения и чинов. Водоразделом служило мировоззрение, понимание своих общественных обязанностей, наконец, личные качества. Для людей энергичных и одаренных открывались большие возможности. На любом уровне дворянского сословия — и при дворе и в глухой деревне — стали расцветать личности, именно расцветать способностями, образованием, достоинствами. Энергии этих людей указ дал сильный толчок, он

же дал и простор для энергии. Независимость в распоряжении собой, своим жизненным временем, возможность читать, думать, изучать любую доступную уму проблему, рисовать, лепить, разводить сады, переводить с иностранных языков — XVIII век недаром явился нам блестящим дилетантом. Независимость в поведении и уж во всяком случае в мыслях, если они к независимости стремились.

Петр I за неявку дворянина на службу ставил его вне закона (вне закона в буквальном смысле: любой мог его убить), петровскими методами воздействия были в данном случае унижение и страх. После указа о вольности государству, отказавшемуся от своего права — требовать от дворянина государственной службы,— оставалось только взывать к его совести, к его чувству долга перед отечеством — в литературе второй половины XVIII века этот мотив звучит постоянно и страстно. Отзывались, конечно, лучшие.

Чувство собственного достоинства росло именно в среде дворянства, позже за ним медленно двинулись остальные сословия — так медленно, что и XIX век не закончил этого пути.

Но пока идет этот благодетельный процесс, придворная чиновничья среда являет нам мир самого наглого подобострастия, ничуть своей низостью не стесняющегося. Без тени смущения вельможи, самые крупные, толкаясь, наперегонки бегут в покои временщика и столь же бесстыдно его бросают при первом знаке опалы; если звезда его зажглась снова, они снова тут как тут. В своих мемуарах Л. Н. Энгельгардт рассказывает, что однажды в немилость впал сам светлейший князь Потемкин, фаворит, долгое время бывший фактическим правителем России (Энгельгардт, родственник и адъютант Потемкина, хорошо знал все, что происходило вокруг этого могущественного вельможи).

Потемкин жил во дворце, в особом корпусе, откуда по галерее был проход в покои императрицы. В его комнатах с утра до вечера толкались придворные (знак удачи и власти),—как вдруг стало известно, что Екатерина гневается: Дашкова и молодой фаворит Ланской ей донесли, будто бы в южных губерниях, которыми управлял Потемкин, все очень плохо и ничего не построено. И разом опустели потемкинские покои, ни одного человека, если не считать двух преданных ему друзей, с ним не осталось. И улицы рядом с его покоями, всегда полные экипажей, опустели. Но Екатерина через доверенных лиц узнала об истинном положении дел (Потемкин, хоть и остался в нашей памяти творцом «потемкинских деревень», на самом деле вел на юге огромное строительство), и вот в один прекрасный день, проснувшись, светлейший нашел возле постели пакет, где находилось его назначение фельдмаршалом.

Тогда он встал с постели, оделся в «мундирную шинель», повязал на шею шелковый розовый платок и, как обычно делал это по утрам, отправился к императрице. «Не прошло еще двух часов,— пишет Энгельгардт, который в этот день был при князе дежурным адъютантом,— как уже все комнаты его были наполнены и Миллионная снова заперлась экипажами; те самые, которые более ему оказывали холодности, те самые более перед ним пресмыкались». Сам Потемкин, надо думать, счел все это в порядке вещей, да и те, кто бежал обратно в его покои, стыда, надо думать, тоже не испытывали.

Людей, которые толкались в приемной временщика, ничто не принуждало — они просто надеялись нечто выгадать и приобрести. А если уж по службе грозила неприятность, в душе человека вспыхивал страх, вскормленный веками бесправия и произвола. Тот же Энгельгардт, уже подполковник, прошедший суровую школу войны, в частности и под руководством Суворова, ждал маневров в Казани, где должен был быть император Павел, с большим ужасом, «чем идя на штурм Праги». После маневров Павел

к нему подошел: «„Скажи, где ты выпекся? Только ты мастер своего дела“. Я руку его, лежавшую у меня на плече, целовал, как у любовницы, ибо в первые два дня я потерял бодрость и ожидал уже не того, чтобы обратить на себя внимание, а быть исключенным со службы». (Следующее поколение в XIX веке, даже под страхом смертной казни, рук целовать уже не станет, хотя жажда повышения по табели о рангах и тут порою будет горяча. А. Горчаков, товарищ Пушкина по лицею, писал о себе: «В молодости я был так честолюбив, что носил в кармане яд, если обойдут местом».)

Но вот что замечательно: в рассказах мемуаристов о том, как страстно они жаждали чина, мы вместе с тем ясно ловим ироническую интонацию — она родилась из нового самоощущения: и Добрынин, и Болотов, и Энгельгардт пишут свои воспоминания на склоне лет, оглядываясь на прошлую жизнь и оценивая ее с высоты собственного опыта и опыта эпохи. Тогда, в свои молодые годы, они относились к проблеме чина со всей серьезностью и даже трепетом.

Но у нас есть возможность рассмотреть проблему человеческого достоинства в еще большем приближении.

Колесил по дорогам России дворянин родом из сербов — Александр Пишчевич, смелый, сильный, крепкий, здоровый. Молодой дворянин, член огромного родственного союза, чувствовал себя в жизни более или менее прочно. Являясь на место службы или просто приехав в тот или иной город, он почти всегда располагал рекомендательным письмом от родственника к другому или, еще лучше, от какого-нибудь могущественного вельможи к другому. Если у него нет письма, все равно: он найдет родню; недаром два дворянина, встретившись где-либо, хоть на почтовой станции, начинают считаться родством («не свои ли они»), причем считают до шестого, седьмого колена (троюродные и четвероюродные идут за близких) и всегда находят какое-нибудь родство. Через родню, сослуживцев, разного рода связи (и это казалось естественным, без этого не бывало) шли, как мы знаем, пожалования, чины и награды.

Пишчевич оказался в особом положении. Его отец Семен Степанович, человек скупой и жесткий, сына не любил и пустил его в жизнь без всякой помощи, в том числе и материальной, которая была тем более необходима, что служба офицера в полку требовала больших расходов — деньги на обмундирование, содержание себя, своего слуги, лошадей.

Пишчевич был так основательно нищ, что ему, влюбленному в профессию военного, приходилось отказываться от похода, куда рвался он всей душой, только потому, что у него не было даже лошади с телегой, чтобы передвигаться. В походе этот офицер порой голодал так жестоко, что вынужден бывал присаживаться к солдатскому котлу. Судьба бросала его из стороны в сторону, начальство загружало работой (при этом он видел, что офицеры, баловни судьбы, имевшие и родню и богатство, работали куда меньше, а продвигались куда быстрее), он сражался в турецкую кампанию, нес невероятные тяготы ее походов и, несмотря на служебное рвение, по службе не преуспевал.

И все же он шел по жизни упругим шагом, веселый, ироничный (скажем к слову, любимый женщинами, о чем будет речь в своем месте), как все молодые люди мечтал о чинах, орденах, карьере и успехе.

Настало время, когда его отец, оценив его службу, решил все же помочь ему в продвижении: он «положил ходатайствовать мне капитанский чин,— пишет Пишчевич,— по его словам, ехать и просить о том князя Потемкина (который уже обнаружил свое равнодушие к знакомой ему семье Пишчевичей.— *О. Ч.*) он никак не соглашался, а воспользовался другим случаем: был тогда в великой милости у князя Потемкина

доктор Шаров, вылечивший весьма удачно племянницу его светлости графиню Браницкую от отчаянной болезни; сей господин Шаров пред моим приездом взял у отца моего двух жеребцов, за которых деньги еще не были заплачены; итак, отец мой положил, чтобы я сими лошадьми доехал до капитанского чина». Пишчевич отправился в Елисаветград к доктору Шарову, тот обещал поговорить с графиней Браницкой — и вот недели через три дело двинулось: «Он мне велел прийти к нему, и что он положил меня отвезть графине Браницкой и ей представить. Я сие исполнил...»

И тут — внимание! Начинается неожиданный поворот сюжета, который говорит о серьезных изменениях в самосознании героя.

Итак: «...я сие исполнил и был уже на пути к дому г-на Шарова, в которое время голова моя обременена была разными размышлениями, и между прочим представилось мне мое будущее капитанство столь чудным, что чем более я об оном размышлял, тем смешнее мне казалось достигнуть до оного посредством жеребцов, лекаря и женщины. Низость такого повышения заставила меня краснеть, казалось, что все, мимо меня проходящие, ведали мою тайну и меня оным упрекали в мыслях; все сие до того мною овладело, что очевидная польза показалась гнусною и я, возвратясь на свою квартиру, положил оставить все сие дело на судьбу, и более моя нога не была у г-на Шарова. Многим сего века людям покажется сие странным, которые привыкли свое получать каким бы то образом ни было, но все те, которые чувствуют важность воинского чина и которые полагая так, как и я, что отечеству служа от оного и награды ожидать, отдадут мне справедливость».

Этот поворот на пути к доктору Шарову означал и другой, куда более серьезный. Во внутренней борьбе, в метании души между «очевидной пользой» (его, нищего, не имевшего решительно никаких видов, чтобы пробиться) и сознанием, что слишком дорога цена, которой эта польза покупается, у нас на глазах рождается чувство независимости, достоинства, личной чести. И едва родившись, оно сразу обнаруживает себя как социальное и резко противопоставляет себя могучей системе низкопоклонства и угодничанья, беззакония и произвола.

Пишчевичу, командиру эскадрона, легко было обогатиться на военном грабеже. Офицеры грабили мирное население без зазрения совести. Вот эскадрон вошел в Анапу, «велено было войско пустить на добычу». Пишчевич стоит на валу при знамени с несколькими ранеными драгунами и смотрит, как солдаты грабят лавки. Он их не осуждает, у них своя нравственность, на них правила дворянской чести не распространяются. Он стоит при знамени и с презрением глядит на дворян, унижающих себя грабежами. Он нищ, он весь в долгах, а долги, он хорошо это знает, «мучат и убивают душу», он готов сражаться, работать, даже идти по миру, но терять достоинство? — на это он согласия не давал.

Эскадрон, изнывая от скуки, две зимы стоит на Волге («мы все в сем месте, как в заточении, испытали, что можно, не умирая, быть мертвым»); и тут стал навязываться Пишчевичу в приятели местный исправник, большой мастер по части наживы. Однажды он стал просить у Пишчевича солдат для взимания недоимок. Пишчевич, чтобы дать солдатам «нажить копейку», предоставил двоих карабинеров отличного поведения (опять перед нами то же разделение на дворян, обязанных жить по законам чести, и не дворян, для которых существуют другие правила и которых незаконные поборы с крестьян ничуть не унижают). Поскольку солдаты почти ничего не заработали, исправник, «чтобы их наградить, велел им ехать в Иргизский монастырь и делать только одно: топором отмечать лучшие деревья в их лесах — они-де по весне будут срублены и спущены по Волге в Астрахань для государевых судов. Выдумка грубая, доказывающая немысленность тех, которые верят, что карабинеры будут

выбирать угодный лес для флота!» Другой исправник, Горбунов, предлагал Пишчевичу разные способы обогащения — выезжать, например, в окрестные селения, чтобы они откупались от постоя крупными суммами, а Пишчевич не только отказался это сделать, но, напротив, убеждал окрестных крестьян, что им нечего бояться солдат, потому что солдаты «не разбойники, но их сограждане и защитники». Исправник был искренне возмущен и говорил потом, что Пишчевич «способен просвещать народ и весьма похож на такова человека, который готов революцию затеять», что он принадлежит к «обществу якобинцев».

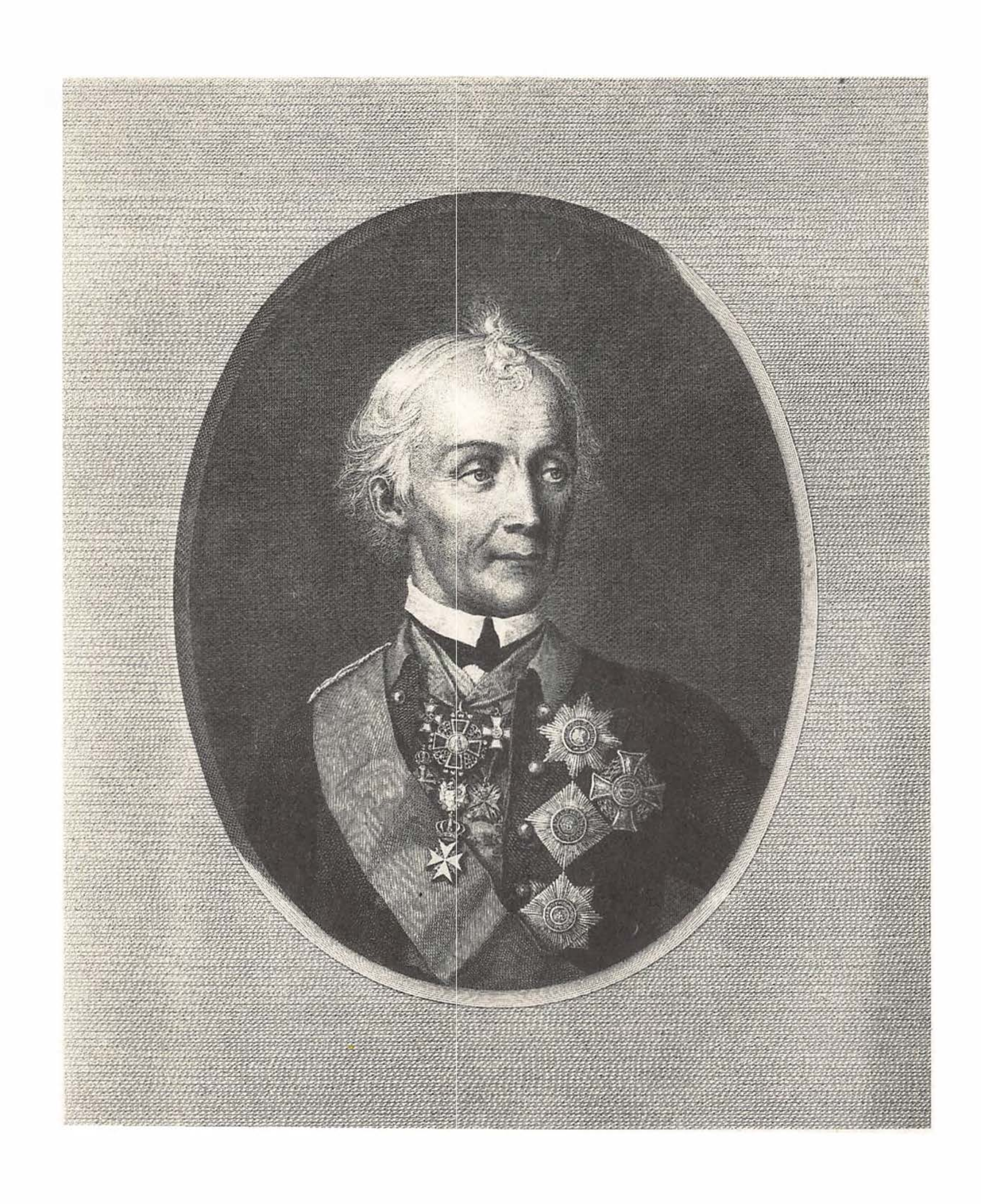
Поразительное заявление! В исправничьей голове система взяток, насилия и беззаконий настолько тесно сплетена с государственной системой, что отказ от беззаконий и взяток представляется ему революцией, прямым посягательством на государственную власть. Как видите, он тоже рассматривал позицию чести как позицию социальную.

Взгляды Пишчевича совершенно независимы. Он презирает вельмож — «твари, именуемые нами вельможами, не были бы вельможами, ежели бы они не обманывали, не хватали и не играли теми, над коими слепое счастье их поставило». Но поставив столь суровый знак на сословии, он не собирается им руководствоваться в отношении реальных, живых людей. Главного вельможу (вельможу из вельмож) — самого Потемкина, которого хорошо знает и который лично для Пишчевича ничего хорошего не делал, хотя и мог бы, ставит очень высоко, дивится его уму и одаренности, просто в него влюблен. Люди, выдвинутые самой Екатериной, по-видимому, раздражения у него не вызывают. Екатерину он боготворит.

Но главная его любовь, предмет его забот — солдат. Во время войн и походов он присматривается к солдатам с великим вниманием и сочувствием. Нет сомнений, солдатчина сильно уродовала характер русского мужика, и без того изуродованного крепостничеством; жесткие армейские порядки портили и командиров и подчиненных (стоит вспомнить хотя бы «зеленую улицу», когда человека прогоняли сквозь строй, — подлейшую казнь, когда сотни солдат становились палачами своего товарища). Вместе с тем в условиях невероятно тяжелой службы вырабатывался особый характер, закаленный, прокаленный, возникали невиданные выносливость и мужество.

Петербургский полк, где служил Пишчевич, шел из Крыма (уже присоединенного к России) на родину. «Позднее время, а к тому пространная степь, никем не обитаемая между Крымом и помянутою линиею, делали полку нашему сей поход трудным и опасным, — пишет Пишчевич, — в сем походе еще более я привязался любовью к русскому солдату, ибо имел довольно случаев удивляться его твердости: ежели начать с его одежды, то нельзя сказать, чтобы она была слишком теплая, бедный плащ защищал его от сильных вьюг и крепкого мороза, но при всей сей невыгоде бодрость его не оставляла <...> итак, мы отправились далее, имея степь вместо квартир, а умножающийся ежедневно снег служил солдату, сотворенному крепче всякого камня, вместо пуховика». Из-за стужи драгуны не могли даже остановиться, чтобы испечь хлеб, была роздана мука, из которой варили «саламатину». «Однако ж все сие было преодолено, и мы в половине января 1784 года вошли в свои квартиры».

Именно в Крыму, «находясь в карауле или табуне», Пишчевич по бедности вынужден был садиться за солдатский котел, где, кстати, порой варилась простая трава. «В сем походе заметить я мог, что солдату российскому нет ничего невозможного: посреди степи пространной и оком неизмеримой, варят свою пищу сырой травой, которая столько же вкусна, как будто на лучших угодьях приготовлена; хлеб пекут, к великому моему удивлению, в вырытых ямах, и оный я ел, который



Н. Уткин
А. В. Суворов
1818

вкусен и хорош; одним словом, мне кажется, что сии люди рождены победить свет, только бы умели их водить. Мое утешение было слишком велико видеть себя помещенну в число сих неустрашимых воинов».

И все-таки сесть с ними за их солдатский котел?

«Должен я, к моему стыду, сказать, что сначала краснел сесть между их, по предрассудку в младенчестве вперенному, будто стыдно толикое фамилиарство благородного с человеком, которого высокомерие дворян назвало, не знаю по какому праву, народом черным. После входа в лета я уже распознал, что мы все люди рождены равно и что между простыми гораздо больше благородно мыслящих, нежели между теми, которые себя сим титулом величают».

Чисто суворовская позиция!—та же любовь и уважение к русскому солдату, те же достоинства и независимость.

Суворов, конечно, был воплощением достоинства и независимости. За его чудачествами (которые дали основание Байрону сказать о нем: «То бог, то арлекин») на самом деле стоял глубокий смысл. Известно, что Суворов кричал петухом—действительно, была у него манера будить солдат в походе поутру петушиным криком (солдатам это очень нравилось; есть, кстати, лубочная картинка, изображающая Суворова, который будит лагерь именно таким образом). Совсем иначе звучал «петушиный крик» фельдмаршала в царском дворце—знак совершенной суворовской независимости, которую он демонстрировал, разумеется, и более существенным образом. Известно его столкновение с Потемкиным, когда великий полководец ставил временщика на место (что было отнюдь не безопасно).

Замечательны в этом отношении портреты Суворова. Его изображали в аллегорических традициях «военного романтизма»—красавцем в доспехах. Но и более реальные изображения обнаруживают черты, присущие Суворову,—веселье, сдержанность, ум и совершенную независимость.

Идеи просвещения, в частности идеал естественного равенства всех людей, несомненно и сильно влияли на формирование чувства собственного достоинства русского дворянина, но самый этот процесс шел различными путями и на различной глубине. Екатерининский вельможа, вольтерьянец и вольнодумец, воспринимал эти идеи, может быть, и горячо, но все же (как и сама Екатерина) отвлеченно, он готов был признать человеческие права мужика и солдата, но теоретически: живой мужик и живой солдат были от него бесконечно далеко, общение ограничивалось, как правило, обслугой, дворней, являвшей собою очень сложный, сильно деформированный социальный слой. (Впрочем, и дворовых мы тоже не всегда верно себе представляем; горькие, страшные своей правдой рассказы Герцена о всех этих подневольных людях, спившихся, погибших, сошедших с ума, произвели на нас огромное впечатление, и мы забыли о другом, менее распространенном, но все же существующем явлении—о влиянии на слуг просвещенного дворянства, о формировании крепостной интеллигенции—но это особая тема.)

Александр Пишчевич проверял усвоенные им идеи Просвещения на реальной жизни, в общении с живыми людьми, с которыми воевал и работал. И если критерием оценки человека становится чисто нравственный принцип, то возвышение одного человека над другим возможно по единственному уровню—уровню благородства мыслей и чувств. Пишчевич ощущает не только собственное достоинство, но и достоинство своих сотоварищей по войне, простых солдат.

Рассматривая вопрос о том, как глубоко проникали в сознание людей XVIII века идеи Просвещения, нам, отдаленным от него на два столетия, следует быть очень

осторожными. Равенство, основанное на уровне просвещенности, настоящего равенства заведомо не давало.

Впрочем, гордо утверждая естественное равенство людей, Пишчевич сам при этом делает существенную оговорку. Уже в самом начале его записок мы читаем:

«С того времени, как я начал из ребячества выходить, почитал всегда в человеке прямые душевные качества, а не пустые титлы, нередко покупаемые, которые часто не делали притом купившего оные лучшим. Слово чернь и другое — он низкого происхождения никогда не вмещались в моей голове, ибо они суть самообиднейшие для человека наименования, выдуманные надутою своим благородством и притом глупою тварью; мы все от одного корня происходим, а одни слепые случаи разделили людей на степени, которые потом остались таковыми от самоправия сильного против малосильного. Скажут, это умствование XVIII столетия! Нет! Это прямые мои чувства, но пагубного равенства, философами XVIII столетия проповеданного, я не только поборник, но и гнушаюсь онаго, как такого зла, которое соделало бедствия всему, можно сказать, известному миру и которое поправить надобно целый век. Но кто его поправит? — Верно, не себялюбивые монархи».

Волжский исправник мог бы быть спокоен: Александр Пишчевич не принадлежал к якобинцам и не собирался потрясать основ империи. Его представления о равенстве никак не предполагали уничтожения сословных рамок — речь шла о личном общении, предполагавшем уважение людей друг к другу независимо от того, какое положение на социальной лестнице они занимают (примерно так полагала и Екатерина). И все же независимость суждений и взглядов молодого дворянина не может не вызвать нашего уважения.

Это уважение сейчас еще более возрастет. Во время поездки Пишчевича в Тамбов ему пришлось встретиться с польскими пленными, «которыми долженствовали пополниться убылые места в Тамбовском гарнизонном батальоне». От них потребовали, чтобы они принесли присягу Екатерине, хотя они однажды уже ей присягали. Когда один из польских офицеров спросил, зачем же присягать вторично, «невежда комендант сему порядочно воспитанному поляку велел к спине приложить около тысячи полновесных палочных ударов. Таким образом было поступлено с польскими патриотами в России! — Всякую боль к себе надлежит применить, почему и не можно и не соболезновать об участи сих несчастных, которые, защищая свои права, свое отечество, переменчивым счастьем войны достались в наши руки, а с ними поступают, как с тварью! — Да и кто же? — Россияне! — которые, будучи сами герои, долженствовали бы почесть неустрашимость в своих неприятелях». Перед нами не только настоящее чувство чести, но и подлинный, исполненный боли за свою страну патриотизм.

Пишчевич независим не только в рассуждениях, но и в поступках. Генерал Потемкин, его начальник, стал с похода ежедневно посылать Пишчевича с письмами к своей молодой жене. «Сначала я сие исполнял с обыкновенной моею скоростию в том чаянии, что сие мое курьерство, видя мою усталость от ежедневной верховой скачки, он прекратит, но когда сего не случилось, то я в один раз вместо одного дня, мною всегда на сию дорогу употребляемого, положил два дня слишком. Что сие значило, не надобно было быть великим магиком; г-н Потемкин ясно понял, что мне сие посольство не нравилось и что я не в своем месте употребляем быть не хотел». Когда генерал через третье лицо выразил свое неудовольствие: почему, мол, Пишчевич другие поручения выполняет усердно и быстро, а это — еле-еле, Пишчевич не замедлил ответить тоже через третье лицо: «Посылка моя к г-ну Апраксину (речь тогда шла об очень важном поручении, от которого зависела судьба целого селения.— *О. Ч.*) была

по службе и потому прилагал все способы, дабы доставить ему как наискорее вверенные мне бумаги. Когда же я еду к г-же Потемкиной, то уверен, что везу письмо от мужа к жене, следственно, скакать сломя голову было бы безрассудно». Такой ответ начальнику, генералу (да еще племяннику самого Потемкина!) говорит и о высоком чувстве чести, и о большой смелости.

Мемуаристы, которых мы привлекли для нашего рассказа, не склонны кланяться кумирам, скорее напротив, они склонны эти кумиры ниспровергать. Сама императорская власть в их глазах лишается своего ореола. Гаврила Добрынин рассказывает о том, как в 1780 году в Могилев по случаю открытия здесь наместничества на свидание с Екатериной прибыл австрийский император Иосиф II, знаменитый сын знаменитой Марии-Терезии. Встретив императора на улице (тот явился как бы инкогнито), Добрынин предается таким лукавым размышлениям: «Не рассуждая полным смыслом о качествах и жребии царей, рассуждал я тогда по-своему: возможно ли,— думал я,— чтобы, встретясь с ним, можно было заметить, что он глава 26 миллионов знатнейшего на земном шаре немецкого народа? И почему природа осмеливается так шутить, что он похож на нашего могилевского столяра Стемплера?» Первая реакция Добрынина — насмешка, и только лишь узнав, что этот государь — человек умный и дельный, он готов воздать ему должное.

Можно возразить, что речь идет об иностранном государе, но вспомним Болотова, который тоже в высшей степени насмешливо и даже с презрением глядел на императора Петра III, да и тогда, когда впервые увидел Екатерину, тоже никакого восторга не испытал. И опять же можно возразить, что Петр III был вскоре низложен и потому в воспоминании уже как бы и не был императором, а Екатерина в те времена еще не была самодержавной. Но вот она уже в расцвете власти и славы.

В Туле в 1787 году ждали приезда императрицы, напряжение было огромное, украшали город, строили триумфальные ворота, свозили провиант, гнали лошадей; со всей области съезжалось дворянство, «все госпожи шили, сообразно с алым цветом тульского мундира, и себе алые русские шелковые платья» (русские потому, что Екатерина поощряла этот наряд, сама надевала русское платье и даже позировала в нем художнику).

Все изнывало от предвкушения, от жажды увидеть императрицу, от страха не успеть, пропустить, не суметь протиснуться. А Болотов не может «без смеха вспоминать о той превеликой суете, в какой находились все в сие достопамятное утро и какая скачка поднялась по всей Туле карет и колясок и бегание взад и вперед народа». Впрочем, в его собственной семье дамы тоже шили себе алые платья, а он со старшим сыном Павлом готовился поднести императрице свою драгоценность — книгу рисунков, которую они давно уже делали с великим старанием.

И вот, наконец, день приезда. Вся главная улица от триумфальных ворот при въезде в город до собора, куда, как ждали, должна была войти Екатерина, забита людьми.

«Наконец, в 12 часу гром пушечной за городом пальбы возвестил нам о приближении к городу» царской кареты. «Наконец, показалась и она, окруженная множеством всадников, скакавших по обеим сторонам оной. Сам наместник скакал подле кареты сей сбоку верхом, и не успела оная поровняться против нас, как все мы отдали ей глубочайший поклон. Но самое сие поклонение и лишило нас с толикою нетерпеливостью ожидаемого удовольствия ее увидеть, ибо вместо того, чтобы ей против нас остановиться, как того мы все ожидали, проскакала она мимо нас так скоро, что мы, подняв головы свои, увидели уже карету ее, далеко от нас уже удалившуюся, и посмотрели только вслед за оною». И у собора Екатерина останови-

лась только на секунду, чтобы перекреститься перед вынесенным для нее крестом. «Господи! Какое началось у всех у нас, а особливо у госпож и боярынь наших, о сем происшествии судачание и какие сожаления слышны были повсюду и от всех, что все труды и хлопоты ихние обратились в ничто и были тщетны». Но главные надежды всех были на появление царицы во дворце наместника. Болотов тоже строил на этом немалые планы: он рассчитывал, что поднесет книгу Екатерине, та примется ее рассматривать, спросит, кто делал такие прекрасные рисунки, а он скажет, что сын Павел, и отсюда для Павла воспоследует чин.

«Я, прискакав ко дворцу и вошед в зал, нашел уже весь оный наполненный дворянством, и наместник, увидев меня, велел мне скорее подавать книги. Я бросился благим матом за ними в карету, в которой они у меня оставлены были. Ее успели уже неведомо куда от крыльца отогнать, и я насилу мог ее отыскать. Тут, подхватив их все, потащил их без души во дворец. Была их целая ноша, и все превеликие, состоящие из многих атласов и ландкарт и разных планов, до Тульской губернии относящихся. С превеликим трудом отыскал я наместника между народом, и он, схватя меня, поставил было сперва в зале, но вскоре потом ввел меня в другую внутреннюю и находящуюся подле зала комнату, и поставив в темный уголок подле окна и двери, в которую государыне входить в сию комнату из внутренних своих покоев надлежало, и велел мне там стоять и дожидаться выхода государыни.

Тут принужден я был стоять с добрую четверть часа и держать под мышкою отяготительную свою ношу. Книги были превеликие и тяжелые, держать их было мне не без труда. К сему свою, переплетенную в зеленый гарнитур и в прах раззолоченную по приказанию наместника, положил я на самый верх <...>. Наконец, появилась императрица, но тут стали ей произносить речи. Сие смутило меня еще больше. Со всем тем, стоючи в такой близости, позади своей монархини, имел я случай не только оной насмотреться, но и заняться мыслями о сей великой обладательнице толиких миллионов народа, которых всех судьба и счастье зависело от ее особы и от которой я и ожидал тогда какой-нибудь милости. Но все сии размышления рассеял усмотревший меня наместник и подающий мне рукою знак, чтоб я с книгами моими как-нибудь пробрался позади императрицы сквозь стоящих ее вельмож. Тогда другого не оставалось, как попросить господ дать сквозь кучу свою проход, что они тотчас и учинили. А как между тем, как я, пробравшись сквозь придворных, подошел к наместнику, кончил и предводитель свою речь, то наместник, не медля ни минуты, и подвел меня с книгами к государыне и сказал ей некие слова, в которые я, в тогдашнем смущении, не мог вслушаться, я только знаю, что успел я, преклонившись, поднести книги свои к государыне, как кто-то из ее придворных схватил оные у меня из рук, и я с тех пор их не видел, ибо он вмиг скрылся с ними за народом, и куда он их понес, я того не мог уже никак видеть, ибо в самый тот момент и стали подходить к государыне наши градоначальники и судьи, а затем и все дворянство к руке, и множеством своим так меня стеснили, что я с нуждою пробрался сквозь их в дальнейший угол.

Тут, стоючи позади их и смотря на весь сей торжественный обряд, продолжавшийся нарочито долго, имел я время заняться опять как прежними своими о монархине сей помышлениями, так и мыслями о дальнейшей судьбе с моею книгою. Я поискал ее повсюду глазами и увидел ее лежащую с прочими книгами на одном угле на столике. Вздохнув сам в себе, мыслями сказал:

«Ах, голубка моя! Что-то с тобою, бедняжка, воспоследует вперед? А начало что-то нехорошо»<...>

Помышления сии привели весь дух мой в такое смущение, что я, огорчаясь тем,

не имел уже охоты вместе с прочими иттить к руке государыни, но дал волю прочим заниматься сим обрядом и теснить друг с другом; а сам между тем все еще ласкался надеждою, не удостоит ли государыня после воззрения своего моей книги и не востребован ли я буду к ней для каких-нибудь вопрошений».

Но Екатерина отправилась осматривать оружейный завод; правда, «оставался еще некоторый луч надежды — тот, что не будет ли чего на бале», где императрица обязательно должна была быть. И поехал Болотов на бал. «Мы нашли всю огромную залу дворянского собрания, набитую бесчисленным почти множеством господ и госпож и всех с крайнею нетерпеливостью и вожделением дожидающихся той минуты, в которую государыня прибыть имеет.

Вдруг, наконец, загремела музыка, и в тот же миг растворяются настежь двери. Но подумайте и вообразите себе, как сильно поразились все бывшие тогда в собрании и как изумились, увидев вместо государыни нашего только наместника, ведущего за руку госпожу Протасову» (камер-фрейлину Екатерины). А на следующее утро Екатерина отбыла в Москву — оказалось, что Турция объявила России войну, вот почему и приезд императрицы, и торжества, все это было скомкано.

Замечательно то состояние раздвоенности, в котором в эти дни жил Болотов. С одной стороны, его тянул общий магнит (чему немало способствовала его горячая и все же подобострастная мечта — добыть чин для любимого сына), а с другой — вся его натура, природный ум, достоинство — все противится этой тяге. Уносимый волной всеобщего энтузиазма, Болотов внутренне ему не только не поддается — он протестует. Так, противостоя и протестуя, он все-таки мчится в общем потоке: слишком велик гипноз власти, заразительна эпидемия восторга — да и куда денешься, нужен Павлу чин.

Эта раздвоенность находит себе выход в иронии — ведь в углу позади императрицы, стиснутый вместе со всеми своими дарами, стоит все же внутренне независимый и весьма насмешливый наблюдатель, а описание самих, казалось бы, торжественных мгновений царского приезда становится прямо комическим: глубокий поклон дворян карете, которой и след простыл; ожидание выхода на балу, музыка, распахнутые двери — и появление никому не нужной Протасовой. И наконец, самое главное: подношение драгоценной, возлюбленной книги, на которую никто не взглянул. Тут уж ирония мешается с горечью (мы не говорим о вожделенном чине, проплывшем мимо).

Нетрудно заметить, что мемуаристов, которых мы цитировали, объединяет одна общая интонация — ироническая. Вообще ирония играла немалую роль в борьбе классицистического ума со всем тем, что он считал темным и низким. И просыпающееся чувство собственного достоинства нередко говорило языком иронии. Ироничен Пишчевич, ироничен Болотов, ироничен Энгельгардт. А если мы обратимся к замечательному жизнеописанию Гаврилы Добрынина, то тут в описании нравов мы найдем уже прямую юмористику.

Мы говорили о нищете мелкопоместного Пишчевича; Добрынин — сирота, выросший по монастырям, был уже нищ совершенно. В начале своих записок он состоит протоколистом при архиерее города Севска, непутевом, пьяном, склочном, вороватом (так, в одной монастырской церкви он велел содрать с образа св. Николая жемчуга и бриллианты, оставив угодника «как мать родила»). Путешествие автора, сопровождавшего этого архиерея, составляют многие замечательные страницы записок. Это в самом деле удивительное путешествие описано с прямым азартом, автор то и дело взывает к читателю: «Слушайте, слушайте!» или: «Слушайте, слушайте! так кричат в английском парламенте». Это «слушайте, слушайте» все время подгоняет рассказ, придает ему темп и экспрессию, а упоминание английского парламента, ввиду

того что речь идет большей частью о пьяных драках, создает еще один комический эффект. Однажды архиерей, а с ним и Добрынин, приехал в город, где жил некий помещик Сафонов. Попытки Добрынина вступить с ним в беседу ни к чему не привели, так как из уст молодого Сафонова ничто «не ползло, не лезло». Зато он дал обед с оркестром, после обеда архиерей подошел к капельмейстеру и попросил его играть, но капельмейстер был не просто так себе простым человеком, а мужем помещичьей любовницы и потому отказал («Слушайте, слушайте, к чему дело идет и чем оно кончится!»), началась потасовка, сам Сафонов, «чтобы не быть праздным лицом, пробился сквозь толпу, схватил архиерея за крыло клобука и крикнул во всю мочь: «Собак!» Архиерей, не дожидаясь, чтобы его затравили, скокнул со всех ног в квартиру со всем клиром, проповедуя на бегу: «Аще гонят вы — вас — во граде, бегайте в другой, прах прилепший от ног отрясая» <...> Капитан же, хозяин, удовольствовавшись тем, что одержал храбро плац, препровожден с капельмейстершею в триумфе целым оркестром до самой спальни». Но на следующий день помещик, проспавшись, сообразил, что поступил опрометчиво, оскорбив духовное лицо, и началась новая погоня — на этот раз Сафонов гонялся за архиереем, чтобы получить прощение, нагнал его, умолил принять, клялся, «что он трезв, что при нем нет ни капельмейстера, ни капельмейстерши, ни собак», архиерей поверил слезным клятвам, начали было составлять «мирный трактат», но при этом снова выпили, снова поругались, снова капитан крикнул: «Собак!», архиерей уехал, а Сафонов во второй раз за прощением уже не погнался. Добрынин со своим архиереем приехали в монастырь недалеко от Глухова, где их встретил тамошний архиерей Анатолий, он принял гостей очень торжественно, кормил, поил, всю ночь палили из пушечек (мажжиров), звонили в колокола, причем звонили и оба архиерея, звонил игумен, а «кому не досталось тянуть за веревку, тот бил в колокол палкою».

«В самый развал (каково словцо! — *О. Ч.*) наших торжествований прибыла духовная комиссия по указу святейшего синода следовать и судить нашего хозяина по доносу на него пречестного иеромонаха отца Антония, который в нашем же сословии пил, ел, звонил и палил и которого донос состоял в том, что архиерей Анатолий заключает монахов в тюрьму безвинно, бьет их палками, не ходит никогда в церковь, не одевается, всегда босиком, а только пьет да гуляет и палит из мажжир, которые перелил из колоколов, снятых с колокольни». Анатолий разом протрезвел, «перестал палить», оделся, расчесал бороду и прибежал к севскому архиерею — «спаси». А тот ответил: «Дурак, почто усомнился еси, меня велено судить за взятку и грабеж церковного имущества, я и то не робею». После чего оба духовных отца уехали в Глухов, где их угощал обедом земский судья. Во время обеда честная компания стала жечь фейерверки прямо в комнате — пламя, дым («Слушайте ж, слушайте к чему дело идет!»), дамы повскакали с мест, «а брошенные на полу огни тем боле за ними от волнения воздуха гонялись, чем более они убегали. Мой архиерей, зажегши сам на свече фонтан, бросил на петропавловского архиерея и трафил ему в самую бороду. Борода сильно засвирщела и бросилась к бегающим, смеющимся, кричащим, ахающим чепчикам и токам и, вмешавшись между ними, составила странную группу».

До Гоголя еще пятьдесят лет, до Зощенко — сто пятьдесят.

Глуховская фантасмагория кончилась тем, что чуть было не задохнулся местный прокурор («человек богатой, пузатой, скупой и неученой»), по поводу чего «наш», севский, архиерей заявил, «что блюстителю закона не было лучше случая умереть, как в этом дыму, потому что погребли бы его два архиерея, которые оба под судом». А позже, когда глуховский архиерей Анатолий умер, севский, «вздохнувши по нем, сказал: „Дурак был покойник! С его ли умом переливать колокола в мажжиры?“»

Д. Левицкий
А. Д. Ланской
1782



Д. Левицкий
А. Д. Ланской
1782

Вот какую интонацию уже умело находить чувство собственного достоинства мемуариста.

Парадные портреты XVIII века являют нам череду вельмож, завешанных орденами, облепленных звездами — на многих лицах можно прочесть важность, которая чувства собственного достоинства, как всякому ясно, отнюдь не выражает, а при виде россыпи орденов на груди опять невольно возникает мысль о том, какой ценой они заработаны. Но в портретах второй половины XVIII века черты истинного благородства, подлинного, человеческого достоинства проступают все отчетливее.

Мне хочется сопоставить портреты двух людей, честно говоря, мало сопоставимых — и по социальному положению, и по той роли, которую оба они сыграли в истории страны, но все же они — ровесники и оба дворяне средней руки. Один — Александр Ланской, фаворит Екатерины, красавец-мальчик, вознесенный любовью уже стареющей царицы на недосягаемую высоту власти. Сколько можно судить по отзывам современников, Ланской был не худшим из фаворитов, в государственные дела особенно не совался и своего влияния на Екатерину во зло не употреблял. Великий Левицкий писал его дважды. Один поколенный портрет (висевший в покоях императрицы и особенно ею любимый) изображает совершенную безликость — правильное фарфоровое лицо ничего не выражает, вместо него громко говорит пышность шитья на мундире, блеск алмазных звезд на груди. Как видно, художник точно схватил соотношение между значительной пышностью костюма фаворита и незначительностью его натуры. Но другой (поясной) портрет Александра Ланского кисти того же Левицкого уже очень выразителен: чернобровый красавец, тут изображенный, представляет одно сильное чувство — гордыни и высокомерия (чтобы не сказать — спеси), больше ничего на этом лице прочесть невозможно. Казалось бы, чем ему гордиться, этому мальчику, продавшему себя немолодой женщине? Но рассуждая так, мы рискуем впасть в ошибку, потому что современники смотрели на дело иначе. Кстати, Екатерина с общественным мнением считалась, она вообще была человек спектакля, внешней стороне своей жизни и власти придавала большое значение и собою владела отлично. И если при ее выезде рядом с ее каретой гарцевал на коне молодой красавец и все знали, что это любовник,—можно сказать с уверенностью: зрелище организовано с расчетом, царица считает его уместным и не только не роняющим ее достоинства, но и способствующим ее популярности.

Конечно, к царицыным фаворитам люди просто привыкли со времен Анны и особенно Елизаветы, но при Екатерине фаворитизм, это дитя самодержавия и фривольности, даже оформился в некое учреждение (современники называли это «известная должность»). В Зимнем дворце были особые покои, куда переезжал очередной фаворит, который уже самим фактом своего фавора как бы включался в государственную систему — у него была своя канцелярия, к нему являлись на доклад вельможи; порой сама Екатерина, прежде чем решить тот или иной вопрос, посылала бумаги для предварительного решения фавориту. От него самого зависело, стать ли ему государственным деятелем, каким стал Потемкин, или остаться пажем, куколкой, объектом любования, каким был Ланской.

Конечно, общество относилось к открытому фаворитизму Екатерины по-разному. Многие были шокированы и, подобно суровому князю М. М. Щербатову, ее осуждали, а в народе ходили весьма соленые стишки. Но вместе с тем к появлению каждого нового фаворита окружающие (двор) приспосабливались немедленно, в первое же утро, когда он, уже генерал-адъютант, уже весь в чинах и орденах, в роскошном



Д. Левицкий
А. Д. Ланской
1780

костюме появлялся на прогулке рядом с государыней, его передняя тотчас наполнялась вельможами.

Но не только одни придворные льстецы признавали фаворитизм как нечто данное и неизбежное, люди мыслящие тоже подчас его признавали. Пишчевич, независимый, насмешливый Пишчевич, не только признает его, но даже обосновывает. Рассуждает он об этом предмете в связи со своим приездом в город Шклов, который вместе с другими владениями был подарен Екатериной ее недолгому фавориту Зоричу (отставляя очередного фаворита, она его неизменно и очень богато награждала — поместьями, крепостными душами и деньгами). Отставной фаворит жил роскошно и шумно, Шклов стал его резиденцией (кстати, здесь Зорич создал свой шляхетский корпус, школу для молодых дворян, которая продолжала существовать и после его смерти). Пишчевич описывает этот город, «от щедрот Екатерины Великой доставшийся в руки Зорича, который было навлек на себя взоры сего земного божества и был бы в своем месте, может быть, долго, ежели бы не вздумал первенствовать пред князем Потемкиным, который дал ему такого толчка, от которого едва он остановился в своем Шклове».

«Навлек на себя взоры земного божества» — представьте, в этих словах Пишчевича нет ни тени раболепия и ни капли иронии; перед Екатериной, как мы знаем, он преклоняется и отзывается о ней с неизменным восхищением. По его мнению, Зоричу просто повезло, он попал в поток сияния, исходившего от великой государыни, благодаря этому не только возвысился и разбогател, но и как бы преобразился внутренне.

Говоря о шляхетском корпусе, который был создан Зоричем, Пишчевич замечает: «Как бы то ни было, а устроение сей школы делает честь Зоричу, а еще более бессмертной Екатерине, преобразовавшей единым своим воззрением гусарского партизана в установителя полезных училищ в царстве своем». Эту поразительную точку зрения — один взгляд царицы преображает человека, побуждает его к полезной деятельности, к работе — высказал, повторим, свидетель независимый, насмешливый и сам очень дельный; будь на месте Екатерины, предположим, Анна, Пишчевич никогда бы подобных слов не произнес (а всего вернее, что во времена Анны он и сам бы был другим).

Впрочем, фаворитизм в той или иной форме пронизывал все дворянское общество — помните, племянницу графиню Браницкую при Потемкине, которая готова была выхлопотать чин (сколько вокруг него было подобного рода дам, и на каждую из них падал отсвет великого потемкинского могущества, каждая могла решить если не судьбу, то продвижение по службе). Но ведь мы видели и маленького губернского секретаря, фаворита губернатора, от которого тоже зависели и чин, и должность, и награда. Более того, мы видели привратника Данилку, от которого зависело пропустить или не пропустить просителя к губернскому секретарю и перед которым через щель в воротах унижался вице-губернатор! Вспомним, наконец, что любое более или менее крупное поместье, дворец вельможи, дом помещика повторяли в миниатюре двор с его иерархией фаворитов. При таком общем социально-психологическом фоне царский фаворитизм не мог вызвать никакого осуждения; напротив, какой-нибудь Ланской не только не испытывал стеснения от своей роли, он ею гордился, а окружающие эту гордость поддерживали и тешили.

Взглянем еще раз в лицо этого екатерининского любимца — надменное и вместе с тем слабое лицо, в нем легко читается спесь и совсем не видно истинного достоинства.

Но вот портрет другого молодого человека примерно того же возраста, писанный тем же Левицким. Это портрет уже не репрезентативный, а лирический, в отличие от

портрета Ланского, тщательно выписанного, он почти эскизен; живопись в одном яркая, многоцветная и гладкая, у другого — строгая, темная, романтически сгущенная. В одном — застылость и бравая выправка, в другом — внутреннее оживление, быстрый поворот, как бы мгновенно схваченный. Эти различия не случайны, они рождены различием моделей. Не следует, конечно, забывать и о том, что в первом случае Левицкий писал могущественного временщика, а во втором — своего друга.

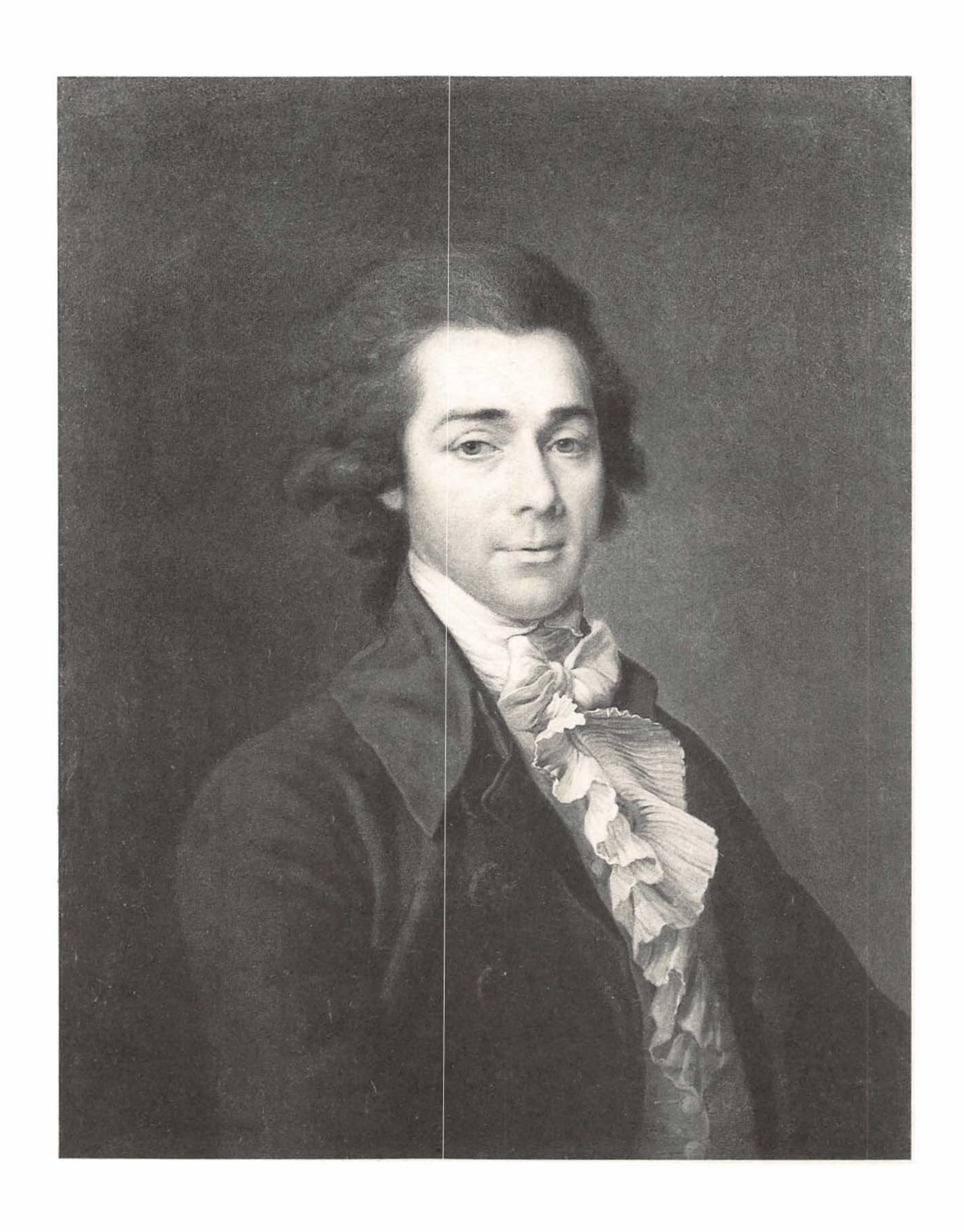
Это Николай Александрович Львов, сейчас он еще солдат бомбардирской роты полка (впрочем, не простой солдат, а гвардеец, это войска привилегированные), ему за двадцать, но он успел уже самообразоваться (систематическое образование он получил не дома, а в полковой школе), здесь же, в полку, он усиленно занимается литературой, много читает — античных авторов, итальянских поэтов, французских философов и особенно Руссо. «Страстный почитатель гражданина женевского,— напишет потом его товарищ по полку М. Н. Муравьев (сам личность замечательная, поэт, отец будущего декабриста),— в его волшебном миру препроводил он бурные лета, в которых другие преданы единственно чувственным впечатлениям, гонятся за убегающими веселиями». Природа одарила его богато, просто дарования его еще не обнаружились во всем их блеске. Зато уже и сейчас выявился его талант — собирать вокруг себя людей, заражать их своей увлеченностью.

Он еще ничего о себе не знает — что предстоит ему великая любовь с горькими мучениями и счастливым концом, что станет он знаменитым архитектором, что его стихи люди будут друг у друга переписывать, что художники и поэты будут с почтением прислушиваться к его советам, потому что слух у него чуткий, а глаз верный. Он еще весь впереди, но уже сейчас действительно живет в волшебном мире — не только руссоизма, но и мысли вообще. И уже сейчас по портрету, который кажется ему слишком лестным («Скажите, что умен так Львов изображен,— написал он в самоэпиграмме.— В него искусством ум Левицкого вложен»), мы видим в нем первый знак таланта — открытость миру, интерес к нему, умение увидеть, услышать, проникнуть в его суть.

Два молодых дворянина одного и того же поколения (Львов родился в 1751 году, Ланской — в 1758) принадлежат как бы к двум различным породам, разным душевным структурам, одна являет собой замкнутую систему, другая — открытую миру и людям.

Потому и ощущение в жизни у них разное, и чувство собственного достоинства различно. У Ланского — это гордыня, чуть смягченная томностью. А Львов о себе вовсе и не помнит — он занят своим собеседником, нами, зрителями; он ведет разговор с достоинством, но его достоинство не в генеральском чине, как у Ланского, а в возможности, в умении подняться до уровня высоких идей века, включиться в его великую работу.

Левицкий писал своего друга также и в период его зрелости, когда дарования этого человека уже развились вполне. Николай Александрович предстает перед нами не порывистым юношей, любопытствующим, готовым к работе, а уже «сработавшим», известным, заслужившим уважение и потому уверенным в себе. Он был душой кружка талантливых людей (куда входили Державин, Хемницер, Капнист, Храповицкий, М. Муравьев, А. Бакунин и другие), вечным всеобщим консультантом. Сохранились стихи Державина с критическими замечаниями Львова, большею частью принятыми, потому что (как пишет сам Державин) Львов «отличался тонким и возвышенным вкусом, по которому никакой недостаток и никакое превосходство в художественном и словесном произведении укрыться от него не могли». Архитектор, он строит дома и церкви (иные стоят до сих пор), мосты, ворота (и сейчас в стене Петропавловской



Д. Левицкий
Н. А. Львов
1789

крепости выходят на Неву ворота его постройки); он рисовальщик, гравер, он поэт, композитор, собиратель песен, механик и изобретатель.

Вот он живет в Гатчине один в маленькой избушке среди поля. Ночь, нападает на него тоска, и он пишет стихи («Волки воют... ночь осенняя»). А живет он в этой избушке потому, что изобрел новый вид построек — землебитных (не требуют леса и не горят), и теперь по заказу императора Павла строит маленький изящнейший Приоратный замок (он и сейчас стоит в Гатчине на берегу небольшого озера). А вот его письмо: «...вчерашний день чуть было нас троих вживе не погребли» — это он по именному указу Екатерины послан на Валдай искать каменный уголь. «...И нашел,— пишет он Державину.— Сколько это нужно для России, мы только, великие угольщики, сие смекнуть можем, а сколько я угля нашел, скажу только то, что если ваш Тамбовский архитектор возьмется сделать над светом каменный свод, то я берусь протопить вселенную». Вселенную ему протопить не пришлось, уголь, им доставленный (8 тыс. пудов), не заинтересовал ни одного чиновника, ни одного промышленника. Львов был вынужден поместить его у себя на даче и написал такие замечательные строки:

Послушай, мать-сыра земля,
Ты целый век ничком лежала,
Теперь стеной к звездам восстала,
Но кто тебя воздвигнул? — Я!

При первом же пожаре весь запас сгорел, в том же стихотворении поэт взывает к совести каменного угля, прося его не гореть, но — «вода огонь не потушает,/И десять дней горит пожар».

Наконец, Львов-музыкант, он автор комической оперы, собиратель и знаток русских песен (которые, кстати, оказали большое влияние на его стихи). Он отличный переводчик, он автор трактатов по искусству. Кажется, это не один человек работает в области русской культуры, одному столько не успеть, а целая группа талантов — явление чисто ренессансное.

Он наделен необыкновенным обаянием («Обхождение его имело нечто пленительное»,— пишет о нем тот же М. Н. Муравьев), редкой доброжелательностью, готов всегда прийти на помощь (известно, например, как добр он был к Боровиковскому, как много ему помог).

Теперь, вглядевшись в лицо зрелого Львова, мы прочтем на нем сознание настоящего собственного достоинства, достоинства человека, который знатно поработал, своих талантов в землю не зарывал и отдал своей стране (он был исступленным патриотом, в письмах, печатных трудах, стихах он яростно защищает ущемленную, по его мнению, русскую культуру) все силы, какие в нем были. Несомненная красота его лица — это не отвлеченный идеал, это красота ума и достоинства.

А вот с лицом Николая Новикова даже художники XVIII века, большие мастера приукрасить, и те поделать ничего не могли — такова его некрасота. Когда в 1777 году вышел первый номер журнала «Утренний свет», издатели собрались, чтобы обсудить его будущее, на собрании выступил и Новиков, следующим образом описанный в «Предуведомлении» к этому журналу: «Наконец выступил один из наших возлюбленных сочленов, коего малые, глубоко впадшие и проницанием украшенные очи и длинный нос, осеняющий на сухом лице его сильно изображенные черты, предсказывающие всегда, о чем он помышляет; и который приобык не прежде начинать говорить, как только когда Венера проходит через Солнце». Произнесши весьма краткую речь, Новиков «садится паки с важностью и потирает зардевшееся чело свое».

На портрете Левицкого — и эти глазки, и этот нос, но вместе с тем перед нами лицо благородное, привлекательное и гармоническое.

Мы уже видели Новикова в горячей схватке с екатерининской «Всякой всячиной», помним, с каким мужеством вел он полемику и как отчитал царицу. Но главное: в России XVIII века, если не считать Радищева, наверно, не было дворянина, который с такой болью переживал жестокость крепостнических порядков и с такой яростью на них нападал в своих журналах.

Вот знаменитый «Отрывок путешествия в*** И*** Т***» (1772), навлекший на Новикова упреки в «очернительстве». «...По выезде моем из сего города я останавливался во всяком почти селе и деревне: ибо все они равно любопытство мое к себе привлекали, но в три дня сего путешествия ничего не нашел я, похвалы достойного (вспомним пляшущих и поющих, поедающих кур поселян Екатерины! — *О. Ч.*). *Бедность* и *рабство* повсюду встречались со мною во образе крестьян. Непаханые поля, худой урожай хлеба возвещали мне, какое помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие, покрытые соломою хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшие одоньи (скирды.— *О. Ч.*) хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны.

Не пропускал я ни одного селения, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской. И слушая их ответы, к великому огорчению, всегда находил, что помещики их сами тому были виною. О человечество! (это слово в XVIII веке употреблялось в смысле «человечность».— *О. Ч.*) тебя не знают в сих поселениях. О господство! ты тиранствуешь над подобными тебе человеками. О блаженная добродетель, любовь, ты употребляешься во зло: глупые помещики сих бедных рабов изъявляют тебя более к лошадям и к собакам, а не к человекам! С великим содроганием чувствительного сердца начинаю я описывать некоторые села, деревни и помещиков их. Удалитесь от меня, ласкательства и пристрастие, низкие свойства подлых душ: истина пером моим руководствует!»

Да, это перо не раболепствовало и не лгало. Страшные картины русской жизни, которые все видели, он в те годы один вынес на страницы печати.

Деревня *Разоренная* — запустение, грязь, нищета. В домах ни единого человека. Новиков вошел в развалившуюся избу — вонь, жара, жужжание бесчисленных мух и тут же на колючей соломе три вопящих младенца, голодных и грязных (с каким вниманием, с каким состраданием все это увидено!). «Кричите, бедные твари,— сказал я, проливая слезы,— произносите жалобы свои! Наслаждайтесь последним сим удовольствием во младенчестве: когда возмужаете, тогда и сего утешения лишитесь».

Последние строки — о крестьянских детях, которые пока еще могут изливать свое горе в крике, а потом, когда вырастут, и того уже не вправе будут делать,—направлены, конечно, против позорного екатерининского указа, запрещающего крестьянам жаловаться властям на жестокость помещика.

Потрясающее впечатление производят напечатанные Новиковым «Копии с крестьянских отписок», несущие следы явной литературной обработки, но, несомненно, составленные на основе реальных, полных ужасными подробностями крестьянских писем. Не менее страшна и «Копия с помещичьего указа», распоряжение помещика крестьянскому миру — документы эпохи, которые не могли не произвести огромного впечатления и на современников (из новиковского журнала мы узнаем, кстати, как читали эти документы в крепостническом лагере: некая дворянка в гневе сожгла листы, на которых они были напечатаны).

В своих сатирических журналах Новиков, подобно Герцену, обличал социальные пороки; правда, общественная программа его была куда умеренней (даже умеренней, чем у Екатерины времен «Наказа» и Уложенной комиссии, поскольку Новиков вопроса об отмене крепостного права не ставил), но к нему, как и к Герцену, присылали обличительные материалы и он печатал их у себя в журнале. По-видимому, Екатерина не видела в этом большой беды, а может быть, полагала даже и полезным (принято считать, что новиковские журналы были закрыты распоряжением властей, но, насколько я могу судить, таких распоряжений не существует).

Конечно, журналистская деятельность Новикова требовала от него некоей тактической изворотливости, и когда мы видим, как старательно хвалит он анонимную комедию «О время!», отлично зная, что автор ее — сама императрица, нас это не должно удивлять. Надо удивляться не остаткам раболепства и подобострастия, но той отваге, с какой стало выступать чувство собственного достоинства. Просветительская деятельность Новикова невероятно огромна. И. Киреевский вправе будет сказать (его поддержит в своей «Литературной газете» Пушкин), что Новиков двинул «на полвека» образованность русского народа, а у Белинского будут все основания сожалеть о том, что общество так мало знает об этом, по его словам, необыкновенном и великом человеке. Кроме журналов, с которыми мы отчасти познакомились (и которые в духовной жизни общества сыграли столь большую роль), Новиков создает мощную типографию, где издаются журналы, газета и множество книг, которые идут не только в столицы, но и в провинцию. Кроме блестящей публицистики, он пишет философские сочинения, труды о «художествах и науках» — и всюду генеральной, красной нитью проходит мысль: рабство сковывает душу и не может произвести ничего великого — любому творчеству необходима вольность. Взгляды Новикова были основаны не на суховатых доводах разума, но рождены и выверены глубоким состраданием к судьбе народа. Оттого так прекрасен его гнев, так обаятельно присущее его перу соединение насмешки и печали. Еще далеко до расправы (преследуя масонов, Екатерина в 1792 году посадила его на 15 лет в Шлиссельбург, откуда он через четыре года вышел развалиной).

Но Левицкий написал Новикова и не гневным, и не страдающим, и не печальным, а живым, как бы что-то весело говорящим. И такое изображение правдиво — у новиковской публицистики веселая, гордая стать. Вот, например, какое объявление появилось в одном из его журналов: «Молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользою, возвратился уже совершенною свиньей, желающие смотреть могут его видеть безденежно по многим улицам сего города». Умный, прямой, веселый человек написал эти строки — таков Новиков и на портрете Левицкого. Он здесь и умен и добр, но, главное, каждая черта его лица дышит достоинством, которое завоевано годами работы, невероятной по размаху и каждодневному упорству, и борьбы, удивительной по смелости.

Лучшие представители дворянства уже ясно ощущали необходимость противостоять потоку низости и подобострастия. «Если человек, скажу шутливо, захочет себя сохранить нетленным, — писал Ф. Н. Голицын (родной племянник И. И. Шувалова, получивший отличное образование и, кстати, во время своих заграничных поездок побывавший у Вольтера), — надобно при входе присвоить себе нерушимые правила. Без сей предосторожности через год, через два найдешь в себе удивительную перемену. Я сказал правила, но какие? Разум, честь и совесть: их должно стараться сохранить. Тут они на сильном опыте» — подвергаются, иначе говоря, сильному испытанию. Если

окружающей среде не сопротивляться, она может человека деформировать. Мы видим, что люди, во внутренний мир которых нам удалось заглянуть,—сопротивлялись.

Нет сомнений, что свободный режим, в котором жило дворянство при Екатерине, сильно способствовал укреплению в нем чувства личной чести и независимости,— это стало особенно ясно, когда воцарился Павел с его культом принуждения, дисциплины и насилия (когда, предположим, полиция сдирала с людей на улице неугодные царю шляпы или заставляли при встрече с ним выходить из кареты, будь то хоть и в грязь,— Екатерина такого унижения дворян ни за что бы не потерпела). Недаром Ф. Н. Голицын пишет, что при Павле «дворянство не токмо что в его время от крутых перемен потерпело, но и свойства его несколько переменились». Недаром же и подполковник Энгельгардт на параде в присутствии Павла в восторге, несколько истерическом, «целовал, как у любовницы», руку царя (и при Екатерине бывали неудачные парады, она выражала неудовольствие, но ничьих судеб из-за этого, естественно, не ломала).

Но как бы ни было отброшено назад при Павле чувство собственного достоинства, толчок его развитию был дан, и дан сознательно, как мы это сейчас увидим.

ГЛАВА IV

О «НОВОЙ ПОРОДЕ» ЛЮДЕЙ

На стенах в зале Русского музея оживленно, весело и даже шумно — тут развешаны «смолянки» Левицкого. А посетители ходят тихие, присматриваются, рады бывают всякому пояснительному слову. Нет, конечно, они видят, нельзя не видеть, красоту живописи, замечают, наверное, отличие этих живых, во весь рост изображенных фигур от обычных — поясных, безруких, скованных, а то и вовсе недвижных портретов, написанных примерно в одно с ними время. Но почему эти девушки пляшут? Почему одна из них с таким победительным видом сидит рядом с электрической машиной? В самом деле, если вспомнить, что всего полвека назад, при Петре, женщина вышла из-под замка, из узкого мирка горницы или терема, но оставалась, как правило, неграмотна, а кругозором мало чем отличалась от деревенской бабы (вспомним госпожу Простакову из «Недоросля»). Какое отношение имеет юная дворянка XVIII века к электрической машине?

О них написано много, об этих «очаровательных дурнушках» Левицкого, «смолянках», или «монастырках», но чтобы их понять, надо знать, что такое был Смольный институт (название более позднее, мы будем пользоваться им для краткости — первоначально училище называлось Воспитательным обществом благородных девиц при Воскресенском Смольном женском монастыре), а для этого, в свою очередь, необходимо познакомиться с той педагогической системой, которую в «соавторстве» создали Екатерина и крупнейший деятель ее царствования И. И. Бецкой.

Бецкой был человеком высокообразованным и, по-видимому, влюбленным в педагогику. Он изучал труды передовых мыслителей своего времени (со многими из которых был лично знаком), освоил педагогические системы Локка, Руссо, Гельвеция, ездил по учебным заведениям Европы, внимательно присматриваясь к тому, как поставлено в них дело, и на основе этой огромной работы создал собственную педагогическую систему (сколько я могу судить, у нас не изученную и по достоинству не оцененную). Разделяя взгляды Локка, Екатерина и Бецкой полагали, что из ребенка, поскольку он рождается не плохим и не хорошим, а нейтральным, можно вылепить все, что угодно; переняли они также и мысль Руссо, согласно которой в условиях полной изоляции от порочной социальной среды из ребенка можно вырастить человека идеального, совершенного. Только, скептически добавлял Руссо, для этого его нужно было бы поместить на Луну или на необитаемый остров, а наши энтузиасты считали, что у них отлично это получится в Москве или Петербурге путем строго изолированных детских интернатов. Кстати, когда вспоминают педагогическую систему Бецкого, не забывают упомянуть, что он «закрывал» свои училища для того, чтобы воспитанники не общались с простым народом. Действительно, говоря о вредоносных контактах детей с внешним миром, Бецкой упоминает и о дурном влиянии на ребенка со стороны крепостных — но как он об этом говорит! «Тот самый крепостной,— обращается он к дворянину,— которого ты столь презираешь и всеми мерами делаешь свирепым зверем, первый будет наставником твоему сыну»,— за пороки крепостничества Бецкой делает ответственными дворян, а не крепостных, и считает равно необходимым изъять ребенка из сферы влияния тех и других.



А. Радиг
И. И. Бецкой
1794

Хорошо знакомые с педагогическими идеями западного Просвещения, Екатерина и Бецкой в своей теории и особенно практике были вполне самобытны. Их педагогическая система раскрывается в ряде источников. Это документы, написанные в первой половине 60-х годов Бецким в связи с созданием московского Воспитательного дома, трактат «О воспитании юношества обоего пола», устав Смольного, устав училища при Академии художеств, ряд дидактических сочинений Екатерины.

Чтобы понять все значение новой педагогической системы, надо представить себе хотя бы вкратце состояние педагогики в России XVIII века — почти полное отсутствие школ, невежественные, дремучие учителя, их твердое убеждение (это убеждение, впрочем, разделяло с ними все общество!), что без насилия, без телесных наказаний учение вообще невозможно. Педагогическая практика была кошмарна, души детей были истерзаны вечным страхом наказания. Ребенок дворянской семьи оказывался в полной власти гувернера (зачастую иностранного, из бывших лакеев или кучеров — об их необузданной жестокости нередко рассказывают мемуаристы). И сердобольные матушки глотали слезы, но возражать не смели, полагая вместе со своей эпохой, что наказание ребенку не только полезно, но и необходимо, а наставник чем жестче, тем добросовестней.

Таковы были педагогические теории и практика, в которую вторглась новая педагогическая система. Авторы ее вполне понимали трудность своей задачи. «Преодолеть суеверие веков, — писал Бецкой в своем труде «О воспитании юношества», — дать народу своему новое воспитание <...> есть дело, совокупленное с невероятными трудами, а прямая оных польза остается вся потомству». Рассчитывая свою работу на века, педагоги-реформаторы предполагали опереться и на некую русскую традицию. Никак нельзя пожаловаться на способность русских, писали они, это доказали и те дворяне, что были посланы Петром за границу и «с хорошими возвратились успехами», и те простолюдины, которые были «взяты к наукам» и «также весьма скоро успевали в оных, но скорее еще в прежнее невежство и самое небытие возвратились» (типично «просветительское» воззрение: человек вне науки мертв). Общая мысль ясна: если тем, кого послали учиться, и удалось на какое-то время подняться над своей средой, то потом, по возвращении, эта среда поглотила их снова. Опасность велика, но и способности русского народа несомненны — следовательно, необходимы решительные меры.

Одно лишь образование (обучение) не даст должных результатов, без нравственных основ не может быть успехов ни в науках, ни в художествах. «По сему ясно, что корень всему злу и добру *воспитание*», следовательно, «*единое* только *средство* остается, то есть: произвести сперва способом *воспитания*, так сказать, *новую породу* или новых *отцов и матерей* (любопытно это непрестанное употребление курсива, которым авторы усиленно стараются привлечь внимание читателя — «вперить» в его сознание свои идеи. — *О. Ч.*), которые б детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие получили они сами, и от них дети передали б паки своим детям, и так, следуя из родов в роды, в будущие веки».

Вот она, главная цель реформаторов — создание «новой породы» людей. Именно этой задачей и был определен характер вновь открываемых учреждений. (Смольный был одним из первых.)

Здесь создается особая, доселе невиданная атмосфера. Прежде всего отношение к ребенку, который должен стать предметом заботы и внимания. В уставе Смольного говорится, что девочки вверены начальнице «яко драгоценный для нее, для государства и отечества залог». Учителя и наставники обязаны помнить, что душа ребенка хрупка, ранима и потому требует величайшей осторожности. Если педагог вынужден

быть строгим, он должен действовать с величайшей осмотрительностью, согласовывать свое поведение с возрастом и развитием ребенка — «ибо все сие столь нежно и с такими сопряжено следствиями, что едва можно ли, так сказать, употребить в том точную и довольную осторожность».

Из всех этих нравственно-педагогических предпосылок вытекает категорическое — не раз предписанное, повторенное, подчеркнутое! — запрещение телесных наказаний. При этом Бецкой и Екатерина старались объяснить обществу (а это нужно было все снова и снова ему втолковывать), что жестокость вредна, что она только портит детей; если они совершили проступок, следует «стараться исправлять их увещеваниями; в нужном же наказании особливо наблюдать, чтобы жестокостью не привести их к упорству и бесчувствию». Устав Смольного развивает эту мысль. Наказание должно строго соответствовать проступку и ни в коем случае не быть результатом раздражения, что часто встречается в практике дурных педагогов; погрешности детей надо исправлять «в образе матернем, а отнюдь не по страсти или иной какой-нибудь посторонней причине, как, например, если б кому случилось, упражняясь в каком-нибудь деле, придти в раздражение и в то же время, не одумавшись, сердце свое изъявить над молодою девицею (что весьма часто случается у большей части безрассудных учителей и учительниц), то такой поступок во всем не благоразумен, и как тем, так и другим крайне от сего остерегаться должно». Перед нами педагогика, основанная на тонком понимании детской души.

И в процессе обучения жестокость должна быть исключена, особенно когда речь идет о маленьких, которых «по нежности их телосложения, так и по незрелому еще уму не должно отягощать многими и трудными понятиями, а тем менее принуждать с жестокостью, чтобы при самом начале учение не показалось им горестью и тем не сделало бы отвращения; того ради стараться приохочивать детей к учению пристойной кротостью, лаской и обнадеживаниями». «Обнадеживание» — это, значит, внушение ребенку веры в собственные силы! Вообще основы этой педагогики на редкость современны, даже актуальны, а иные ее рекомендации совсем не худо было бы усвоить нашим нынешним учителям. Педагог собственные свои заботы и огорчения должен оставлять за порогом класса и являться перед детьми веселым и бодрым, с приветливой улыбкой, он должен способствовать хорошему настроению ребенка. Отсюда предписание включить в воспитательный процесс разного рода игры и развлечения, которые не должны быть, как бы мы сказали сегодня, «заорганизованы». Не нужно бояться детской резвости: «Часто излишние благоразумия предосторожности внушают робость, видя беду там, где ее нет, и через то лишают дух бодрости. Предводительствовать их в играх также не надлежит, ибо по приказанию веселиться невозможно, тем более детям, которым всякое принуждение несносно».

Главным в воспитании считалось духовное развитие. Новая педагогика, следуя в том западным просветителям, выступала против мертвенной зубрежки, стремясь, напротив, пробудить в ребенке живую мысль. Следует не столько учить детей,— писала Екатерина в «Инструкции кн. Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей»,— «колико им нужно дать охоту, желание и любовь к знанию, дабы сами искали умножить его». Приохотить к чтению (и к созданию собственной библиотеки) — этот призыв звучит во всех рассматриваемых сочинениях.

Постоянно и, может быть, всего настоятельнее высказывается мысль, которую необходимо особо подчеркнуть: ребенок должен жить в атмосфере уважения, воспитатели обязаны не только учить его учтивости, но и сами быть с ним учтивыми — учительницам Смольного предложено «затвердить это в памяти». Воспитание в детях, независимо от их социальной принадлежности, «непринужденной

учтивости» — непреложная задача, которой придавали огромное значение, и недаром: речь шла о вопросе действительно первостепенной важности — о воспитании в людях «новой породы» чувства собственного достоинства (социально-психологическая задача, которую должен был решать XVIII век).

Воспитание детей в Смольном и других екатерининских педагогических учреждениях, разумеется, предполагалось религиозным — закон божий, посещение церкви, исполнение обрядов (сама Екатерина, по-видимому, исповедовавшая атеизм, к обрядовой стороне православной церкви относилась с большим вниманием). Вместе с тем новая педагогика стремилась противостоять тому страху, который нагнетала церковь, грозя вечными загробными муками,— мемуаристы эпохи нередко вспоминают, каким ужасом перед «божьим наказанием» было полно их детство,— от этого духовного гнета и хотели защитить детей педагоги-реформаторы. «Ничто так не вредит детям, как устрашение их *грозительными рассказами* о мучениях ада»,— говорят они в своих предписаниях. Екатерина писала Вольтеру о воспитанницах Смольного: «Мы далеки от того, чтобы сделать из них монашенок и вогнать их в чахотку, заставляя по ночам вопить в церкви, как это практикуется в Сен-Сире (французский воспитательный дом, чей устав приближался к монашескому.— *О. Ч.*). Мы их воспитываем, напротив, для того, чтобы они были отрадой семейств, в которые вступят, и были бы способны воспитать собственных детей и вести свой дом».

Нетрудно заметить, что педагогическая система Бецкого и Екатерины соответствовала духу XVIII века, его духовной энергии, отваге мысли его лучших представителей, их уверенности, что если идея истинна, то остается только объяснить ее людям и она станет выполнима.

Вооружившись столь передовой теорией, педагоги-реформаторы начали действовать — благо что один из них был вооружен самодержавной властью. Они были убеждены, что начинают новую эру в истории человечества, поскольку представители «новой породы» отцов и матерей «не только за обычную уже им трезвую и трудолюбивую жизнь свою не оставят, но и детей своих равным образом воспитывать станут и в других примером своим к подражанию охоту возбудят; а по умножении и рассеянии таковых в обществе может со временем последовать счастливая перемена во нравах и склонностях всей той части народа, к которой они принадлежать будут». Эта программа энергично осуществлялась в огромном московском Воспитательном доме, в училище при Академии художеств и особенно в Смольном институте.

К осуществлению этой программы российские просветители подошли с редкой деловой хваткой и практической сметкой — и опять же это сказалось прежде всего при создании Смольного. Воскресенский монастырь, великолепное творение Растрелли, где, как говорят, Елизавета собиралась кончить свою жизнь, не был при ней достроен: Екатерина на ходу повернула строительство, приспосабливая монастырские здания под училище. Деньги были отпущены большие, темпы заданы огромные, был широковещательно объявлен прием, на что дворянство откликнулось неохотно (это через несколько лет отбою не будет от желающих), тем более что в угоду своим возвышенным задачам Екатерина и Бецкой прерывали связь девочек с семьей. Именно здесь и должны были формироваться женщины «новой породы», не только жены, матери, но и гражданки.

В Смольном было «благородное» отделение, но было и «неблагородное», или «мещанское», куда принимали девочек всех сословий, включая крепостных (при условии, однако, отпускной от помещика). Обучение недворянок было одновременно частью той программы по созданию в России «третьего сословия», которая так заботила Екатерину. Эти девушки должны были учиться «еще искусствам жизни

человеческой и гражданству потребным, хранить в цветущем состоянии фабрики: купечество, ремесла, способность к заведению оных (это женщины-то! — *О. Ч.*), управлять все, а наипаче их полу принадлежащие части домостроительства, разуметь подробности оного...» — иначе говоря, из воспитанниц думали приготовить не только образованных хозяек в доме, но и нечто вроде управляющих в промышленности и торговле (а почему бы, собственно, и нет, если государством управляла женщина?).

Но главное заключалось в том, что девушки получали замечательную привилегию — ту же, сказано в уставе, какой пользуются воспитанники училища при Академии художеств. А вот что сказано в уставе этого училища: «Наистрожайше запрещаем всем и каждому, какого б кто звания ни был, из сих художников, мастеров, детей их и потомков в крепостные себе люди записывать и утверждать каким бы то ни было образом; а хотя бы паче чаяния сие обманом учинилося или и сам таковой по уговору и доброй волей у кого-нибудь крепостным записался либо на крепостной девке или вдове женился, то, однако, оное не только кабальным его не делает, но и вступившая с ним в брак и рожденные от них дети от того часа имеют быть вольными ж».

Каковы женихи и невесты! В крепостническом обществе должна была появиться удивительная категория людей, не только вольных, но и несущих свободу (особенно сильно и странно должно было бы это сказаться на судьбе бывших крепостных, которые, вернувшись в прежнюю среду, могли принести свободу избраннику),— однако нельзя не помнить, как далеки были планы от их осуществления.

Итак, цель воспитания мальчиков и девочек — создать поколение просвещенных людей, которые смягчили бы «жестокие и неистовые» нравы современного общества. Если идея воспитания достойных граждан сама по себе не нова, то программа создания гражданок (особенно если вспомнить, что еще совсем не так давно эти гражданки сидели взаперти по теремам и горницам, вышивали, слушали россказни забредших странниц, тем и ограничивалось их общение с внешним миром, а заодно и их образование) — это было новшеством неслыханным.

Если «мещанское» отделение Смольного должно было пополнить «третье сословие» работницами и хозяйками, то отделению «благородных девиц» предстояло дать обществу высокоинтеллигентных женщин, которые несли бы культуру всюду, куда забросит их судьба. Что бы они ни делали: воспитывали своих или чужих детей, становились ли хозяйками дома, салона, или уезжали в свое поместье, всюду должны были они вносить атмосферу духовности. Екатерина вообще поощряла общественную деятельность женщин, в том числе в литературе, именно при ней появились женщины-поэтессы, женщины-переводчицы и даже драматурги (в ее время вышла в свет написанная некоей девицей комедия под заглавием «Трактир, комедия, или Питейный дом, веселое игрище» — и пьеса эта шла); вспомним также, что главой двух академий она сделала Е. Р. Дашкову.

В Смольном преподавали общеобразовательные предметы (главным образом гуманитарные, но были и начала математики и «опытная физика»), усиленно — иностранные языки (у «мещанок» — один, у дворянок — четыре), кроме того, воспитанниц обучали домоводству, умению вязать чулки и шить платья. Замечательно, что девочки старшего класса должны были вести уроки в младших, чтобы потом, став матерями, могли приложить свои знания и опыт. Трудно судить, каково было общее образование, есть основание думать, что оно шло весьма неважно (да и не было настоящих педагогов), но преподавание языков и художественное воспитание стояли на большой высоте. Под руководством художников-профессионалов девочки лепили и рисовали (до нас дошли воспроизведения некоторых их рисунков, показывающие хорошую выучку), вышивали (по-видимому, тоже хорошо, поскольку на их работы

поступали заказы). На музыкальных занятиях (включавших даже некие элементы теории композиции) смолянки готовили сложные музыкальные программы.

Но главным увлечением Смольного был театр.

Екатерина всячески поощряла театр, который был тогда частью процесса самовоспитания дворянства, начатого Ломоносовым (а может быть, и до него), энергично продолженного Сумароковым, особенно Новиковым, молодым Крыловым и другими писателями-просветителями. Екатерининское общество было охвачено своего рода театральным ажиотажем — кроме профессиональных театров и театров крепостных (в домах больших вельмож) существовал еще и «благородный театр», где пьесы разыгрывала знать. Здесь шли и трагедии, но более всего балеты, комические оперы и всякого рода пьески, подчас собственного сочинения (кто только ни писал тогда пьес и комических опер, начиная с самой Екатерины). Здесь были свои любимцы, свои таланты, свои знаменитости, подчас образовывалось — на время, конечно, — что-то вроде постоянных трупп. Не всегда это даже было чистое любопытство, так, князь И. М. Долгоруков рассказывает, что его пригласила играть в своем театре принцесса Гольштейн-Бек, всю труппу обучал актер французской придворной труппы, он же и «управлял» спектаклем. Этот знаменитый актер, женевец Жан Риваль по прозвищу Гофрен, был приглашен в Россию по рекомендации Вольтера, отличался простотой и естественностью игры, его участие в «благородных спектаклях» было постоянно: он преподавал драматическое искусство в кадетском корпусе (который тоже славился своим театром); «репетиции наши, — пишет Долгоруков, — были не так, как водится во многих благородных театрах, одно условное сходбище, чтоб резвиться на свободе, — нет! — Мы не прежде сыграли комедию, как удостоверясь Гофреном, что она пойдет хорошо». Был любительский театр и при малом дворе великого князя Павла, куда Долгоруков тоже был приглашен и где он прославился своей игрой. «При драмме Честного Преступника готовили оперу небольшую с ариями и куплетами в честь герою торжества Великому Князю. — Опера кончалась балетом, — все ето сочинял граф Чернышов — обер-балагур придворный. — Сверх роли в драмме мне дали и в опере и в балете работу. — Во всех искусствах заставили дебютировать: в опере я играл потешного прикащика, а в балете буффу <...> Я играл удачно. — Все мне рукоплескали; были места, в которые я заставлял зрителя плакать <...> Всеми похвалами, какие я приобрел тогда, обязан я урокам Гофрена, без них худо бы мне было».

С учреждением Смольного в Петербурге появился новый знаменитый театр. Сперва представления давали в залах самого Смольного, но потом было выстроено специальное здание с двухсветным залом, со сценой, которая была оборудована машинерией, со своим штатом. Декорации писали художники придворного театра, костюмы шили придворные портные, а главное, девочками занимались самые крупные балетмейстеры и высокопрофессиональные артисты — танцы преподавала сама Лантини, актерское мастерство — сам И. А. Дмитревский. В театр Смольного съезжалась знать, о его спектаклях писали газеты.

Этим любимым детищем Екатерины во многом, как ни странно, руководил Вольтер (разумеется, издалека, из своего Фернея), именно он поддержал в Екатерине мысль об общественной важности театра (Корнель и Расин, — говорил он, — «обучили нацию мыслить, чувствовать и выражать свои мысли и чувства»), именно он давал императрице советы относительно актерского мастерства и репертуара. И, наконец, в театре Смольного шли пьесы самого Вольтера.

Появление Вольтера на русской сцене (по-французски и в переводе) — явление, которое трудно переоценить. Искусно построенные, остросюжетные, динамичные, они



Д. Левицкий
А. П. Левшина
1775

заставляли зрителей терзаться и плакать вместе с героями — и вот уж где гулял вольный ветер великих идей Просвещения.

Начиная с 70-х годов на московской, а потом и на петербургской сцене шел в переводе П. С. Потемкина вольтеровский «Магомет» — пьеса, где поднята одна из самых важных (как бы мы сегодня сказали «социально-психологических») проблем — духовной тирании, порабощения людей авторитетом власти. В центре трагедии — Магомет, характер замечательный. Это человек стальной воли, объявивший себя пророком и почти обожествленный своими приверженцами, на самом деле — лжец, демагог и мастер провокации. Он не только подавляет души сограждан и требует от них слепой веры в собственную непогрешимость (запрет наложен на всякое движение живой мысли, на малейшее сомнение), он разжигает в них фанатическую ненависть. В основе сюжета — история юных Саида и Пальмиры, брата и сестры, обманутых и подавленных Магометом.

Путь духовного порабощения прослежен в пьесе шаг за шагом. Получив от Магомета приказ — убить Сафира, народного вождя, Саид соглашается и дает в том клятву. Но убийство человека, да к тому же, Саид чувствует это, доброго и благородного, не такое уж легкое дело, молодой человек мечется, мучится (и Магомет тут же мысленно за эти сомнения приговаривает его к смерти), не знает, как поступить, он бросается за советом к сестре, но та, не менее его порабощенная Магометом, отвечает ему: «Сомненье — грех...». Тогда брат спрашивает ее прямо: «Так что же, убивать?» и добрая, благородная Пальмира отвечает нерешительно: «Когда сам бог судил тебя на это и крови требует, и ты уж обещал...»

Мы не видим сцены убийства, мы только вместе с Пальмирой слышим крик старого вождя. Когда Саид возвращается, сестра видит, что он сошел с ума. Безумие его проходит, чтобы уступить место пониманию страшной правды. Но народ — и в том главная мысль трагедии — народ, перед которым Магомет устраивает свои кровавые спектакли, долго еще будет жить в безумии.

В нашей литературе можно встретить немало иронических замечаний по адресу русского вольтерьянства XVIII века (нередко также цитируется и замечание Герцена о том, что, прогрессивное на Западе, в России оно вело к цинизму), переписка Екатерины с Вольтером, их отношения также упоминаются не иначе как саркастически. Но стоит прочесть пламенные пьесы Вольтера, чтобы понять, какую роль должны они были играть в России, как просветляли умы и облагораживали чувства.

В Смольном «Магомета» не ставили (такую мощь девочки, конечно, поднять бы не могли), зато тут ставили многие другие вольтеровские пьесы, в том числе «Заиру», вещь не меньшего накала.

Действие происходит в XIII веке при дворе сирийского султана Оросмана. Он любит пленную француженку Заиру и ею страстно любим, но тут снова вмешивается фанатизм, на этот раз религиозный (причем христианский оказывается еще хуже магометанского), ясное и чистое чувство героев погублено, растерзано. Спектакль был событием в культурной жизни Петербурга, и воспитанница Левшина — ее мы видим среди моделей Левицкого — в роли Заиры потрясла зрителей.

«Смолянки» Левицкого старательно демонстрируют нам свои таланты и то искусство, которому их обучили. Конечно же, перед нами прежде всего театр. На двойном портрете Хрущевой и Хованской разыгрывается сценка из какой-то пасторали. По правде говоря, меня всегда удивляла неестественность Хрущевой (она в мужском костюме), недвижность ее глаз, их неучастие в улыбке — как это возможно у Левицкого, такого искусного в изображении естественности? И только потом я поняла, что Хрущева всего только притворяется мальчиком-пастушком, как Хованская всего



Д. Левицкий
Е. Н. Хованская и Е. Н. Хрущева
1773



Д. Левицкий
Н. С. Борщова
1776

Д. Левицкий
Г. И. Алымова
1776



Д. Левицкий
Г. И. Алымова
1776

Д: Левицкий
Е. И. Молчанова
1776



Д: Левицкий
Е. И. Молчанова
1776

только разыгрывает робость пастушки (а заодно, кажется, и ее овечки). Художнику удивительным образом удалось изобразить разом и самих этих девочек, и те роли, которые они исполняют.

Итак, «смолянки» безудержно демонстрируют свои таланты — танцуют Борщова и Левшина, играет на арфе Алымова, а Молчанова ясно дает понять, что она тоже не лыком шита: в руке у нее книга (заложенная пальцем), рядом с ней чудо науки — электрическая машина. Она отлично сидит, независимо и гордо выпрямившись (помните, мы даже готовы были в ней видеть некую эмблему XVIII века), огромный казакин ее платья (великолепно написан белый атлас) шумно летит назад. Лицо с резко оттянутыми от висков волосами выражает совершенную уверенность в себе. Это явно первая ученица (кстати, при выпуске у нее золотая медаль первой степени), на ее губах улыбка, с какой подходят на экзамене брать билет те, кто знает все билеты назубок (ту же уверенность в себе мы видим и на лице Алымовой, для нее нет сомнений: лишь только умолкнет ее арфа, зал разразится аплодисментами восторга). Кстати, эта девушка была еще одарена и художественно, Екатерина, которая переписывалась с некоторыми «смолянками», сообщает, что у нее в комнате портрет Левшиной — «работа девицы Молчановой», стало быть, Катя Молчанова так хорошо нарисовала подругу, что царица взяла к себе в комнату этот портрет. Совершенная внутренняя раскрепощенность, энергия, ум — вот что такое эта героиня Левицкого.

И вдруг среди всех этих девушек, столь настойчиво и бурно демонстрирующих себя, мы видим одну, ничего не демонстрирующую. Это маленькая Давыдова.

Она написана не с любованием, как Алымова или Борщова, а с глубоким проникновением нежности. Стоит ребенок, стриженный, упитанный, с толстыми руками, немного неуклюжий в своем коричневом (это самый младший — «кофейный» — возраст Смольного) платье, стоит, о себе не помнит, да и об окружающем забыла совершенно. Ее старшая подруга Ржевская, уже стройная, уже нарядная, на что-то указывающая, к чему-то призывающая (она в голубом платье второго «голубого» возраста), кокетничает со зрителем — маленькая Давыдова не помнит ни о ком. Целиком погруженная в свой ребячий мир, она, как видно, мечтает о чем-то приятном, ее неуловимая улыбка (легкими тенями по углам губ) никому не адресована, глаза в мечтательной дымке приветливы, даже ласковы, но ни на кого не глядят. Из этих двух девочек, где одна уже изящная и стройная (голубая), другая неуклюжая, толстоватая (темно-коричневая), настоящим изяществом и поэтичностью обладает, конечно, младшая — деликатный ласковый ребенок, погруженный в мечтательное забытье.

Я нарочно остановилась у этих двух девочек, прежде чем перейти к признанному шедевру Левицкого — Нелидовой. Казалось бы, она вполне в ряду остальных, демонстрирующих молодость, талант и выучку (она в театральном костюме и пляшет), но вместе с тем в ней привлекательность, энергия и живость всех остальных «смолянок» соединились с поэзией маленькой Давыдовой.

В театре Смольного играли и комедии, которые, по обычаю того времени, клеймили всякого рода пороки, в том числе и пороки дворянского сословия. Была тут комическая опера Перголези «Служанка-госпожа», знаменитая тем, что в самом Париже вызвала бурю негодования и восторга — и буффонадой своей и демократизмом. Здесь умная и веселая служанка, на чьей стороне симпатии автора, вертит, как хочет, своим господином и в конце концов заставляет его на себе жениться. Французская традиция глупых господ и умных слуг вообще перешла в русскую драматургию. В комедии самой Екатерины «О время!» есть служанка Марфа, которая учит грамоте барышню Христину, учит тайком от барыни, которая держит Христину неграмотной, дабы та не писала любовных записок.



Д. Левицкий
Ф. С. Ржевская и Н. М. Давыдова
1771—1772

Д. Левицкий
Е. И. Нелидова
1773



Д. Левицкий
Е. И. Нелидова
1773

Нелидова играла как раз «служанку-госпожу» Сербину, которая так ловко провела своего господина и вызвала тем восторг зрителей,— полагают, что именно в костюме Сербины она и изображена. К Нелидовой мы должны приглядеться внимательно.

Она была на редкость нехороша. «Девушка умная,— писал о ней И. М. Долгоруков,—но лицом отменно дурна, благородной осанки, но короткого роста и черна, как жук» (а надо сказать, что Долгоруков знал толк в некрасоте, сам он, ввиду резко выступающей челюсти, был прозван в обществе «балконом» и, по собственному его мнению, «хуже него в свете никого не было»). «Отвратительно дурна»,—скажет о Нелидовой одна из ее подруг. Но вот более снисходительный отзыв Саблукова: «Нелидова была маленькая, смуглая, с темными волосами, блестящими черными глазами, с лицом, исполненным выразительности. Она танцевала с необыкновенным изяществом и живостью, разговор ее, при совершенной скромности, отличался изумительным остроумием и блеском». О ее уме, веселом обаянии, душевном изяществе говорят нам многие ее современники. Екатерина, внимательно следившая за Смольным в первые годы его существования, сразу ее отметила. «Появление на горизонте девицы Нелидовой,— писала она своей любимице Левшиной,— феномен, который я приеду рассмотреть вблизи». А в «Санкт-Петербургских ведомостях» о девушке писали в стихах: «Как ты, Нелидова, Сербину представляла / Ты маску Талии самой в лице являла.../ Игра твоя жива, естественна, пристойна...» (то есть соответствует образу.— *О. Ч.*). Вот такой — живой, веселой, естественной и забавной является нам Нелидова на полотне.

Она выступает, легкая и упругая; ломкий, шуршащий шелк ее платья, и руки, и шея — все это словно бы осыпано пеплом, и пудреные волосы в пепле, который сгущается тут до серо-синего (была тогда такая серая пудра), одно лишь лицо ее безупречно розово. Если платье ее в легких сумерках, то лицо — сама розовая чистая заря. Две темных полосы пересекают ее лицо — полоса высоких бровей и полоса темных глаз; третья полоса на шее от черной бархатной ленточки. Карие глаза удивительным образом ярче черного бархата, они вообще самое яркое, что есть в картине,— и не только потому, что насыщены небывалым коричневым, но и потому, что (и это относится уже к разряду чудес) налиты весельем и смехом. Вот уж прелестный характер — веселый, незлобивый, ласковый. По душевной тонкости и лиризму это, конечно, родная сестра маленькой Давыдовой, но старше, энергичней, веселей. Она, кстати, отлично знает свое очарование, свою власть над зрителем — сама Талия, муза комедии, испившая из Кастальского ключа.

В поэме А. К. Толстого «Портрет» (о портрете XVIII века, который ожил однажды ночью) изображена девушка в старинном костюме и пудре («и полный роз передник из тафты за кончики несли ее персты»), которая в моей памяти долгое время смешивалась именно с Нелидовой, может быть, даже и не случайно: Толстой был флигель-адъютантом Александра II и не мог не видеть «смолянок», которые тогда висели в Петергофском дворце, и уж, конечно, Нелидова должна была ему запомниться (правда, в прозрачном передничке Нелидовой нет роз, зато их сколько угодно в цвете ее лица). Но красавица Толстого представляет собой все-таки условный (пудра, фижмы) XVIII век, а Нелидова — его живое очарование.

Сколько движения в зале Русского музея, где развешаны «смолянки» — танцует Левшина, несется в танце Борщова, пляшет Нелидова. Но перед нами не только и не просто юные девушки, схваченные кистью гениального художника во всей их живости, здоровье и силе таланта,— здесь вместе с тем выступает сама идея раскрепощенности (как сами эти девчонки вырвались в жизнь из-под замка, так и их изображения из

каркасной скованности былых портретов разбежались по полотну). Здесь как бы демонстрирует себя, «поет и пляшет» сама екатерининская педагогика. Просвещение собственной персоной (шумные идеи Екатерины нельзя было передать ни в пустых аллегориях, ни в скованных портретах). Это «новая порода» людей резвится в атмосфере вольного ветра и радужных надежд.

Мне кажется, я не ошибаюсь, так трактуя «смолянок»,— сами современники видели в них воплощение новой воспитательной программы и некую социальную надежду. Интерес к ним в обществе был очень велик. Когда воспитанницы первого приема впервые появились на люди во время прогулки по Летнему саду, стечение народа было огромно. Новиков (сам Новиков!) поместил в «Живописце» посвященные им стихи: «Их воспитанием исправлены умы. /Всех добродетелей примеры нам представят. /Сердца испорчены и нравы злых исправят./ Сколь много должны в них Екатерине мы». Прекрасно знакомая с педагогической программой Екатерины, передовая интеллигенция возлагала на воспитанников закрытых интернатов серьезные надежды — легко предположить, что и Левицкий, когда писал «смолянок», разделял эти взгляды, вдыхал тот же ветер надежды, потому изображенные им девушки, совершенно живые, являют собой вместе с тем некое выражение общественной идеи.

Конечно, далеко не все современники были в восторге от «монастырок», многие (как М. М. Щербатов) отзывались о них весьма скептически. Что говорить, воспитание их было несколько инкубаторное — по этому поводу любят приводить ходившие тогда в обществе рассказы, будто выпускницы Смольного спрашивали, где же те деревья, на которых растет хлеб; или стишок о том, как «Иван Иванович Бецкий, человек немецкий» «выпустил в свет шестьдесят кур, набитых дур» (в одной работе утверждалось даже, что эти стишки шли из некоего демократического лагеря, так сказать, слева, в то время как их мог сочинить любой придворный балагур, да и как понять, куда — вправо или влево — клонила императрица?).

Но вопрос при этом встает любопытный: кого же все-таки воспитывала екатерининская педагогика — «кур» или интеллигентных женщин?

Из «смолянок», изображенных Левицким, мы многих встречаем в мемуарной литературе. Глафира Алымова (та, что играет на арфе), в замужестве Ржевская, сама оставила мемуары, к которым нередко обращаются историки. Хованская (которая явилась нам одновременно и пастушкой и ее овечкой) стала женой поэта Нелединского-Мелецкого, хозяйкой открытого дома, исполнительницей его знаменитых песен. Мелькают в мемуарах имена и Хрущевой, и Борщовой, они играют в «благородном театре» при «малом дворе» Павла. Но самый интересный для нас — это отзыв И. М. Долгорукова, который говорит, что при «малом дворе» его внимание привлекали прежде всего выпускницы Смольного. «Большая часть знакомых мне девушек были монастырки. Привыкнув к общению с ними, я пленялся их воспитанием, простосердечием, добродетельными побуждениями души и здравым рассудком. Они не умели притворяться или лукавить; всегда были открыты со всяким и никакого не показывали кокетства в поведении». Отношение Долгорукого к «смолянкам» настолько серьезно, что именно среди них решил он искать себе жену. Конечно, женился он по страстной любви, но то, что Евгения была из Смольного, получила отличное смольненское воспитание, была обучена языкам, музыке и актерскому искусству (а Долгоруков, как мы помним, сам был актером, тут возникла общность интересов), сыграло в их сближении немалую роль.

Приглядеться к Евгении Долгоруковой (урожденной Смирной) нам интересно именно для понимания того, что такое выпускница Смольного, каков ее внутренний склад, какова была ее встреча с жизнью. «Евгения Сергеевна, так ее называли, была



Ж.-Л. Вуаль
Е. С. Долгорукова
1770-е гг.

Д. Левицкий
И. М. Долгоруков
1782



Д. Левицкий
И. М. Долгоруков
1782

дочь самых беднейших и не важных дворян,— пишет о своей жене Долгоруков.— Отца она лишилась во времена Пугачева; местечко Стародуб ее родина. Мать ее, имея маленькое именьице в Тверской губернии под названием Подзолóво, проводила тут жизнь свою, воспитывая четырех сыновей и двух дочерей, и содержала свое семейство тем малым доходом, какой могли ей дать состоящие за нею во владении семнадцать душ крестьян.» Когда девочке было четыре года, ее показали великой княгине Наталии Алексеевне, первой жене Павла, та оставила ее при себе, а после смерти великой княгини Евгения поступила в Смольный. Она практически не знала своей семьи, ее мать приезжала из своего Подзолова очень редко, а свидания (в присутствии воспитательницы) были коротки. Она жила после Смольного при «малом дворе», на положении фрейлины, в роскоши, в атмосфере культуры, искусства, в непрестанных развлечениях и, окруженная вниманием, так же продолжала отличаться на сцене театра. Замечательно описано у Долгорукова свидание матери с дочерью, когда та, уже княгиней, приезжает в родную деревню.

По дороге в Подзолово Долгоруковы сперва заехали к родному брату Евгении. «Надобно было с ним ознакомиться; жена моя не знала его в лицо — я также. Мудрено ли, когда она четырех лет взята ко двору из родительской пустыни? Мы все между собой в семействе ее сходились по чужим словам и догадкам, точно так отыскивают просельные пути к разным предметам от большой дороги. В Торжке мы погостили сутки, с большою скукой, потому что после петербургского рода жизни Торжок есть то же, что темная ночь после хорошего ясного дня. Шурин и жена его сопровождали нас к теще в деревню. Старушка нас ожидала с хлебом и солью у порога, благословила образом, подарила нас серебряным подносом и разные отпустила нам приговорки, которые я очень мало понимал, а жена еще меньше. Навык деревенский нам вовсе был не известен, но всякой живет по тому обычаю, в каком вырос и состарился. Какое страшное расстояние между чертогов царских и соломенных крыш деревенских жителей? Жена моя матери своей почти не знала; я ее видел в первый раз, и следовательно, все наши отношения к ней основаны были не на чувствах сердечных, а на приличии нравственном <...>. Здесь не лишним считаю бросить несколько красок на изображение природного семейства жены моей. Не буду льстить, не буду слишком и чернить моего рисунка.

Мать жены моей была женщина еще не очень старая, лет за пятьдесят. Барыня умная от природы, но не получившая никакого ни воспитания, ни учения; она погружена была в крайнее невежество до того, что не умела грамоте (сей недостаток оказывался и у многих старинных людей, кои в отдаленных годах провели отроческие свои возрасты) и не знала, как различать на часах меру времени <...> Большой сын был капитаном во флоте и жил безвыездно на своем корабле; другой служил в Торжке и, будучи к ней ближе прочих, ограждал ее деревню и лицо от всяких посторонних обид; третий учился в Кадетском морском корпусе, а четвертый шатался еще при ней, но был уже записан в Измайловский полк ундер-офицером; из двух сестер одна была за мной, другая в Смольном. Вот вся ее семья <...> Губернский город от нее был в 25 верстах, но она в него не ежжала <...> Иногда она предпринимала путь и в Петербург, чтоб собрать пособий к ее содержанию <...> Салтыковы — примут, посадят, накормят — да и все тут. А их высочества (Павел и его жена.— *О. Ч.*) всегда жаловали ей денежное награждение, с которым она, побывши в Смольном и мельком посмотря на дочерей своих, возвращалась домой в свое Подзолово, где на два или три года опять закупорится <...>

При всем недостатке ее она имела врожденную гордость и не хотела себя унизить, показав откровенно все свое убожество перед нами, и для того она с

некоторым излишеством приготовилась угостить нас. Но все, чтоб она ни делала, не могло выдержать сравнения с самым последним и беднейшим домом в тех местах, откуда нас судьба к ней бросила. При каждом ее движении жена стыдилась и краснела, разговор ее был смышлен и даже нравоучителен, но еще не для нас. Мы оба так были молоды и так привыкли к одним пустоцветам общественной беседы, что ни одно деревенское дельное слово не могло подействовать на наше размышление».

Зато нам есть тут над чем задуматься.

Государство отбирало у семьи молодых дворян (здесь, как видите, кого в Кадетский корпус, кого в Смольный), давало им образование, обучало языкам, общеобразовательным предметам (мужчины получали специальность), развивало таланты (этому, как мы знаем, в екатерининских учебных заведениях придавали большое значение) — делало из них в большей или меньшей степени интеллигентов. Возвращаясь в родную деревню, где помещики порой были не грамотнее своих крепостных, они уже не могли найти общего языка с родным домом. Долгоруков понимает сложность возникающей тут проблемы — взаимоотношения простонародья (к которому, несмотря на свое дворянство, несомненно, принадлежала мать Евгении) и новой дворянской интеллигенции. Евгения — талантливая музыкантша, известная актриса «благородного театра», женщина, знающая языки, знакомая с идеями Просвещения (недаром в Смольном играли Вольтера), ушла безвозвратно далеко от своей родни. (А теперь представьте себе, что бывшая крепостная, получившая образование, приученная к чтению, вращавшаяся в интеллигентном кругу, вернулась, пусть и свободная, но в крепостную среду,— ощущение должно было быть шоковое.)

Уже и теперь, в середине XVIII века, хотя дворянство все-таки еще ближе к национальным основам, чем станет через несколько лет, ясно ви́ден водораздел — но не между дворянством и недворянством, а между дворянской интеллигенцией и безграмотным деревенским обществом. Умный Долгоруков понимает, что, приобретая новую культуру, они также многое потеряли; привыкшие к пустословию, «пустоцветам общественной», то есть светской, беседы, уже не понимают «приговорок» деревенской родственницы, уже не слышат всего того «смышленого», нравоучительного, то есть полезного, дельного, что могла бы она им сказать.

Перепад культурного уровня был слишком велик, разговор не получался.

«Довольно было бы для всех нас и одного етаго семейного соединения, чтоб дни в два соскучась взаимно, обрадоваться разлуке и найти в ней облегчение, но теще хотелось еще и похвастаться перед соседями, что дочь ее по милости царской в бриллиантах и жена князя Долгорукова и что она уже не такая-то сиротка в околодке своем. Для етова она рассудила дать в деревне обед и созвать кучу гостей. Боже мой! — Кого тут не было? Наехали уездные судьи, заседатели, стряпчие и всякой зброд. Дрожжи, так сказать, сословия благородного. Воображал ли я тогда, что, может быть, и мне судьбой назначено провести большую часть жизни моей с подобными оригиналами? (Долгоруков потом будет вице-губернатором в провинции.— *О. Ч.*) Я еще не мог тогда ценить их характеров по званиям каждого, и бросалось мне в глаза преимущественно их обращение к самой смешной его стороне. День пиршества назначен. Стали съезжаться со всех перекрестков гости, и в телегах, и в линеечках, и в старинных колымагах. Что за супруги! Что за сожительницы! Благопристойность, однако, требовала, чтоб мы делили с тещей труды угощения. С утра начали есть, называя стол со всякой всячиной закуской; потом пришел обед, опять все сели кушать. Днем французская водка не сходила со стола, и самовар кипел безпрестанно. Иных надо было еще оставить и на ночь, потому что ни ноги, ни руки не действовали; на повал по всем комнатам ложились гости спать, и целые сутки торжественная пируха

продолжалась. Не станем говорить ни о столе, ни о услуге, еще менее о беседе гостей и обращении их. Увы! — все соответствовало предыдущим. Нам казалось, что мы перенесены в отдаленнейшее столетие нашего мира».

И Онегину на балу у Лариных (как, наверное, и самому Пушкину в провинции) казалось, что он перенесен в «отдаленнейшее столетие нашего мира».

...Целыми семьями
Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.

Воспоминаний Долгорукова Пушкин не читал (отметим, кстати, что долгоруковские телеги, линеечки и колымаги ярче пушкинских возков), ему и не нужно было,— он видел ту же провинцию, за пятьдесят лет ничуть не изменившуюся (и Гоголь опишет ее, и Райский у Гончарова точно так же будет глядеть на гостей своей бабушки Бережковой). Но в описании Пушкина куда больше сарказма.

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая <...>
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.

Пушкинское описание беспощадно по тому презрению, какое вызывает у него провинция,— и контакт невозможен. А Долгоруков понимает, что тогда еще, по молодости, он не мог вглядеться в этих людей и по достоинству их оценить. А главное — молодые супруги Долгоруковы смогли из уважения к родным Евгении спрятать в карман столичное высокомерие. «Нам казалось, что мы перенесены в отдаленнейшее столетие нашего мира. Тяжело было и жене и мне выдержать такое гостеприимство, но надобно было покориться обрядам: что город, то норов, что село, то обычай. Чем снисходительнее мы на все ето смотрели, тем теща была довольнее нами и в полном смысле счастлива. Ее удовольствие заменяло для нас все прочие нестерпимые недостатки, и так проживши у нее дни три, которые нам показались годом, и ознакомясь с житием российских помещиков, кои не выезжают из деревень своих никуда, опрометью поскакали в Москву. Там ожидали нас совсем другие виды, другие отношения». Согласимся, что поведение молодых Долгоруковых, их такт, их желание доставить радость старой женщине представляют их нам людьми интеллигентными. Евгению Сергеевну современники вспоминают как человека подлинной духовной культуры. Есть ее отличный портрет, написанный Ж. Л. Вуалем,— простое, круглое, ясное лицо исполнено не только совершенной независимости, но даже и некой отваги, что-то стремительное есть во всей повадке молодой княгини, общий облик ее несет на себе печать высокой духовности и чистоты.

Кстати, театр для нее, как и для других «смолянок», был не развлечением, а формой духовной жизни и творчества. В знаменитой в то время опере «Нина» («Кто етой оперы не знает? — пишет И. М. Долгоруков.— Кто не восхищался ею от самого Парижа до наших ледяных рек?») роль героини — «интереснейшая на театре — она от любви сошла с ума и любовию же приходит в разум». В «благородном театре» Нину играли трое — Е. Долгорукова, Нелидова и наша Евгения Сергеевна. И. М. Долгоруков отдает предпочтение жене, но суть не в этом, главное — у каждой был свой образ и

свой «план игры». Е. Долгорукова, показывая себя, «была не Нина безумная, а красавица придворная в театре. Нелидова рассудила представить безумную в бешенстве; ее надобно было держать, останавливать, и она похожа была на сумасбродную, запертую в номере. Евгения, напротив, представляла меланхолическое безумие, повредившуюся от любви и в самом исступлении сохранившую свою природную нежность, тишину, спокойствие, словом, все черты любви страстной и несчастной».

Удивительная судьба досталась Екатерине Ивановне Нелидовой — она была многолетней любовью Павла (который был «невероятно порабощен ледящему ее лицу» — замечает Долгоруков); перед отъездом в Финляндию, когда шла война со Швецией, он наскоро шлет ей на обрывке бумаги: «Знайте, что, умирая, я буду думать о вас». В дни тяжелой болезни, убежденный, что не выживет, он напишет отчаянное письмо Екатерине, «как царице и матери», о том, что его совесть повелевает ему «оправдать невинное лицо», которое могло бы из-за него пострадать. «Я видел, как судила злоба, как ложно толковала она связи, чисто дружеские, возникшие между Нелидовой и мною. Я клянусь тем Судом, перед которым все мы должны предстать, что мы явимся перед ним с безупречной совестью. Зачем я не могу доказать это ценой собственной крови? Свидетельствую о том, прощаясь с жизнью. Клянусь еще раз всем, что есть святого. Торжественно клянусь и свидетельствую, что нас соединяла дружба священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому бог». Екатерина, надо думать, усмехалась, читая эти строки, в ее глазах платоническая любовь большой цены не имела. Но великого князя, как видно, преследовала и мучила мысль, что их отношения с «Катей» могут истолковать дурно и что, когда его не станет, на репутацию девушки ляжет пятно. Да и Екатерину Ивановну тяготит двусмысленность ее положения при дворе (фрейлина великой княгини и нежный друг великого князя): в 1793 году она просит Екатерину отпустить ее обратно в Смольный, и Павел в отчаянии умоляет ее хотя бы бывать в его резиденциях Гатчине и Павловске.

Что связывало этих молодых людей? Их общая удивительная некрасивость? Сиротство при дворе? Свойственная обоим восторженность и порывистость характера?

Но уже тогда Нелидова сильно уставала от неуравновешенности своего друга, который становился все тревожней, все подозрительней — а тут еще страх перед французской революцией (видите, мол, что может получиться из всякого рода вольнодумства — летят под топором царские головы!); и перед матерью, которая, об этом упорно говорят, хочет передать трон внуку Александру; и перед наглостью фаворитов. Великий князь ищет нравственной опоры в Нелидовой с ее умом, душевным равновесием и сообразительностью. Но ей придворная жизнь невмоготу, и она все-таки уезжает в свой дорогой Смольный.

Вступив на престол, Павел делает все, чтобы вернуть Нелидову ко двору. Зная, что его «Катя» подарков от него не принимает, он начинает осыпать дарами ее родню (так, ее мать получает 2000 душ, напрасно Екатерина Ивановна умоляет его хотя бы уполовинить этот огромный дар). Нелидову зовут ко двору не только Павел, но и новая императрица Мария Федоровна; все знают, что маленькая фрейлина — единственный человек на свете, которому дано смягчать гневные припадки императора, останавливать его дикие приказы. И она возвращается. В каком-то смысле она приняла эстафету давно умершего воспитателя маленького Павла — Порошина, она тоже призывает Павла к терпению (и в ответ: «А как терпенья-та нет, где же его взять?»), предостерегает от жестоких решений, на которые он скор, от бестактностей, которые он делает на каждом шагу. Замечательны ее письма: по духу и форме строго верноподданнические, они полны просьбами помиловать, смягчить участь, отменить



Ф. Шубин
Павел I, мрамор
1800

жестокий приказ. Однажды Павел вздумал уничтожить орден св. Георгия (введенный Екатериной), что глубоко оскорбило бы георгиевских кавалеров. Никто не мог отговорить Павла от подобной бестактности — пришлось вступиться Нелидовой: «Подумайте, государь, о том, что в течение долгого времени этот знак отличия был наградою за пролитую кровь, за тела, истерзанные на службе отечеству! Сжальтесь над несчастными, которые столько потеряли бы, увидев, что их государь презирает то, что составляет их славу и свидетельствует о их мужестве» — и орден был сохранен. Она останавливает Павла в минуту гнева, как коня на скаку.

Вот эпизод, рассказанный в мемуарах А. С. Шишкова, который состоял тогда при дворе Павла. «...Мне случилось однажды на бале, в день бывшего празднества, видеть, что государь чрезвычайно рассердился на гофмаршала и приказал позвать его к себе, без сомнения, затем, чтобы сделать ему великую неприятность (а неприятностью могла быть и ссылка и даже крепость! — *О. Ч.*). Катерина Ивановна стояла в это время подле него, а я — за ними. Она, не говоря ни слова и даже не смотря на него, заложила руку свою за спину и дернула его за платье. Он тотчас почувствовал, что это значит, и ответил ей отрывисто: «Нельзя воздержаться!» Она опять его дернула». Нагоняй, который получил гофмаршал, был минимальным. «О, если бы при царях, и особенно строптивых и пылких, все были Екатерины Ивановны», — добавляет мемуарист. А она все просит и просит, за обиженных, за напрасно оскорбленных, за наказанных ни за что. И делает это столько же ради жертв царского гнева, сколько и ради самого царя, его достоинства, да и безопасности тоже.

Но живости прежней своей она не утратила — и потому стала веселой душой не очень веселого гатчинского общества. В воспоминаниях Саблукова, тогда офицера в Гатчине, сохранились замечательные сцены, рисующие нам Павла и Нелидову во всем своеобразии их характеров.

«Как-то раз, в то время, когда я находился на карауле, — рассказывает Саблуков, — во дворце произошла забавная сцена <...> Офицерская караульная комната находилась близ самого кабинета Государя, откуда я часто слышал его молитвы. Около офицерской комнаты была обширная прихожая, в которой находился караул, а из нее шел длинный узкий коридор, ведший во внутренние апартаменты дворца, здесь стоял часовой, чтобы немедленно вызвать караул, когда Император показывался в коридоре. Услышав внезапно окрик часового: «Караул вон!», я поспешно выбежал из офицерской комнаты. Солдаты едва успели схватить свои карабины, а я обнажить свою шпагу, как дверь коридора открылась настежь и Император, в башмаках и шелковых чулках, при шляпе и шпаге, поспешно вошел в комнату, и в ту же минуту дамский башмак, с очень высоким каблуком, перелетел через голову Его Величества, чуть-чуть ее не задев. Император через офицерскую комнату прошел в свой кабинет, а из коридора вышла Екатерина Ивановна Нелидова, спокойно подняла свой башмак и вернулась туда, откуда пришла.

На следующий день, когда я сменялся с караула, Его Величество пришел и шепнул мне: «Мой дорогой, мы вчера немного поссорились». «Да, Государь», — ответил я. Меня очень позабавил этот случай, и я никому не говорил о нем, ожидая, что за этим последует что-либо столь же забавное. Ожидания мои не обманулись: в тот же день, вечером на балу, Император подошел ко мне, как к близкому приятелю и поверенному, и сказал: «Мой дорогой, сделайте так, чтобы танцевали что-нибудь славное (joli)». Я сразу смекнул, что Государю угодно, чтобы я протанцевал с Екатериной Ивановной Нелидовой. Что можно было протанцевать красивого, кроме менуэта и гавота сороковых годов? Я обратился к дирижеру оркестра и спросил его, может ли он сыграть менуэт, и, получив утвердительный ответ, я просил его начать и

сам пригласил Нелидову, которая, как известно, еще в Смольном отличалась своими танцами. Оркестр заиграл, и мы начали. Что за грацию выказала она, как прелестно выделывала па и обороты, какая плавность была во всех движениях прелестной крошки, несмотря на высокие каблуки — точь-в-точь знаменитая Лантини, бывшая ее учительница. Со своей стороны, и я не позабыл уроков моего учителя Канциони, и при моем кафтане а ла Фридрих Великий мы оба точь-в-точь имели вид двух старых портретов. Император был в полном восторге, и, следя за нашими танцами во все время менуэта, поощрял нас восклицаниями: «Прекрасно, великолепно, прелестно!»

Ну что же, веселая, победительная Нелидова, которую написал Левицкий, вполне могла бы бросить своим атласным башмаком в голову императора.

Мне могут возразить, что воспитание в Смольном шло под знаком «закона божьего» и верноподданнических идей, что я преувеличиваю независимость «смолянок», живших в замкнутом кругу официального мировоззрения. Все так. Но сейчас мы столкнемся с человеком, чья личность и судьба повернет нашу проблему совсем уже неожиданным образом.

Елизавета Васильевна Рубановская, сестра рано умершей жены Радищева. Ее жизненный подвиг, к сожалению, малоизвестен и совсем не оценен. А между тем она с маленькими детьми Радищева отправилась в Сибирь, вслед за государственным преступником, едва избегшим смертной казни, а это было во времена глухие, далекие от той эпохи общественного подъема, когда знаменитые декабристки ехали вслед за своими мужьями. Для Радищева приезд свояченицы с детьми (младшими, старшие были отданы дяде) был своего рода воскресением. «С прибытием детей и моей сестры <...> — пишет он, — мое сердце, истерзанное болью, расширяется и вновь открывается радости <...> Теперь я чувствую себя выплывшим из пропасти <...> Да, я буду жить еще, а не прозябать <...> Я рад и чувствую перемену во всем моем существе...» В Сибири Рубановская вышла замуж за Радищева (это был гражданский брак), родила ему троих детей, была ему другом и помощницей в делах. Когда Павел приказал вернуть Радищева, семья тронулась в путь, но Елизавете Васильевне не суждено было вернуться в родные места. Она заболела дорогой и умерла в Тобольске.

Е. В. Рубановская была «смолянкой», ее имя не раз встречается в летописях Смольного (она, кстати, тоже медалистка). Как видно, толчок, который дала Екатерина духовному развитию своих воспитанниц, был куда сильнее, чем сама она могла предполагать. К идеям Просвещения, которые она проповедовала в первый период своего царствования, лучшие люди русского общества отнеслись куда серьезней, чем впоследствии сама императрица. Что же до верноподданнических настроений, то они, по-видимому, не так уж сильно сказались на этих душах, если одна из лучших учениц ее любимого Смольного (и притом именно первого, самого любимого ею выпуска) отправилась в Сибирь за государственным преступником, который, по словам той же императрицы, был бунтовщик «хуже Пугачева».

Впрочем, о годах радищевской ссылки у нас весьма смутные представления. Между тем они интересны для понимания людей конца XVIII века.

Если Екатерина и хотела сгноить Радищева в ссылке, то ей этого решительно не дали. Александр Романович Воронцов (его обычно представляют как брата знаменитой Дашковой, которую он далеко обогнал, во всяком случае, в человеческих качествах), начальник Радищева, принял свои меры.

Он шел на риск (Дашкова пишет в своих воспоминаниях, что Зубов и его клика воспользовались случаем, чтобы сделать Воронцова ответственным за книгу Радищева, да Екатерина этому не поверила). К хозяевам губерний, через которые проезжал Радищев, шли воронцовские письма, в результате чего государственный преступник

всюду находил «снисходительное обхождение». До какой степени было оно снисходительным, показывает деятельность И. А. Пиля, иркутского генерал-губернатора. Он встретил Радищева как гостя, долго принимал у себя, а тем временем по его приказанию в Илимске, на месте ссылки, уже готовили для ссыльного дом со всем необходимым: «имение его и лишние люди» и «некоторая провизия» были отправлены в Илимск водой, чтобы Радищев и уже приехавшая к нему Елизавета Васильевна могли ехать «налехке». Воронцов назначил Радищеву некую годовую сумму, очень крупную при фантастической дешевизне сибирских продуктов, наладил, опять же через преданных ему чиновников, пути, по которым ссыльному шли письма и посылки. Нет сомнений, что столь бурная и постоянная (в течение всех лет ссылки) деятельность Воронцова не могла остаться неизвестной Екатерине, которая, однако, не сделала ничего, чтобы ее прекратить или хотя бы ограничить. Нет сомнений также и в том, что Воронцов, так преданно заботясь о Радищеве, не мог заслужить расположения императрицы, но таково уже было чувство собственного достоинства и независимость этого вельможи, что ему было несравненно важней выполнить свой внутренний долг, чем заслужить милость государыни... И он сделал решительно все от него зависящее, чтобы Радищев не терпел лишений и не потерял связи с внешним миром. Горечь ссылки это не сняло, но условия ее несомненно смягчало.

Но был еще один человек (если, конечно, не считать родных), который проявил к судьбе Радищева и его жены самое горячее и тоже очень длительное участие,— это Глафира Ржевская, тоже «смолянка», та самая Алымова, что на картине у Левицкого играет на арфе. Она была подругой Рубановской в Смольном. «Из других моих привязанностей в Смольном,— пишет Алымова-Ржевская,— одна лишь дружба с г-жей Рубановской была серьезным чувством. С обеих сторон чувство доходило до совершенной преданности. По смерти ее, я имела счастье оказать услуги ее семейству, детям и тем исполнила священный долг, заплатив за ее дружбу, которая до того времени не требовала от меня ни малейшего пожертвования. Искусное перо могло бы написать целую книгу о ее добродетелях, несчастьях и твердости духа, которая послужила бы к назиданию многих».

Глафира Алымова-Ржевская явно на стороне своей подруги, поехавшей в ссылку за государственным преступником, она не только не порывает с ними связи, она шлет посылки и письма в Сибирь, заботится о старших сыновьях Радищева (которых Радищев с собой в ссылку не взял). «Бедные дети здесь,— пишет она Александру Воронцову,— я к ним отношусь, как к собственным, и часто их вижу. Они очень хороши собой, прекрасно воспитаны <...> Их грустное положение так трогательно для всякого чувствительного сердца, что слова несчастного отца, доверяющего их мне в последнем письме, раздирают мне душу. Больше всего меня мучит совесть, что я не могу посвятить им все мои силы». Когда Рубановская умерла, Ржевская взяла на себя заботу о ее детях.

Люди, которые спасали Радищева в тяжелые для него годы, не могут быть нами забыты, хотя бы уже потому, что иначе русское общество XVIII века предстанет перед нами в превратном виде, несравненно более темном, чем было на самом деле. Да, конечно, мы видели толпы лизоблюдов, которые, толкаясь, бежали в покои очередного фаворита (и убегали из них, лишь только он терял фавор), но был и А. Р. Воронцов (и те чиновники, что выполняли его поручения и просьбы), была Рубановская, поехавшая в ссылку за Радищевым, была Ржевская — все это говорит о здоровых силах общества, о его растущей независимости, благородной стати его лучших людей.

В книге о Левицком Н. Молевой сказаны очень жесткие слова об Алымовой, она изображена корыстной, строящей свою юную жизнь на низком расчете, но о

преданности ее, о бескорыстии и благородном бесстрашии ее зрелых лет мы почему-то не узнаем ничего. (Снова проблема доброго имени человека, реально жившего на свете и имеющего право рассчитывать на справедливость нашей памяти.)

Нет, воспитанницы Смольного в тот, начальный, период его существования (потом изменилась его программа, изменился и дух) отнюдь не были «курами», какими представил их кто-то из современных им балагуров. Они были «задуманы» как «новая порода» людей, реализовывались (по крайней мере те, кого мы могли рассмотреть поближе) как умные и хорошие женщины. Такова Нелидова, столь долго державшая на коротком поводу бешеный нрав Павла, такова рано умершая Евгения Долгорукова, бывшая радостью семьи и целого кружка близких, такова Рубановская, поехавшая в Сибирь за Радищевым, и Алымова, ставшая в эти тяжелые годы их лучшим другом.

Словом, «смолянки» Левицкого предстают перед нами детьми общественного подъема. В их юности, веселье, в золотом свете, который их заливает, в пляске Нелидовой, в беге Борщовой, в шумно-летящем казакине Молчановой (и в ее электрической машине) — во всем этом слышится нам тот же ветер больших надежд, который чувствовали мы в «Екатерине-законодательнице» из Третьяковской галереи.

Время формировало новые характеры. Каков был их общественный удельный вес, каков процент в общей массе культурного слоя, трудно сказать, но бурный подъем культуры, развитие литературы, расцвет искусства — от прикладного до вершин живописи, сильное расширение круга читателей, самое это жадное любопытство к новой мысли, умение ее впитать, появление читающих, думающих и пишущих в глухой провинции — все это говорит о том, что слой новой интеллигенции сильно расширялся, именно она стала формировать культурный облик общества. Тут и там предстают перед нами люди, которые как бы воплотили в себе черты нового человека. Таким мне представляется художник Степан Щукин.

Для того чтобы дать понятие о его жизненном и творческом пути, надо знать, что такое был московский Воспитательный дом. В числе учебных заведений закрытого типа он был первым (манифест 1 сентября 1763 года, вскоре после захвата власти), его назначение было принимать и воспитывать подкидышей, незаконнорожденных и всех тех, кого родители прокормить и воспитать не могли. Из этих несчастных ребят Бецкой и Екатерина тоже хотели формировать людей «новой породы» — в несравненно больших масштабах, чем это потом было сделано в Смольном. Как и другие начинания Екатерины, московский Воспитательный дом упоминается в литературе иронически, в то время как он заслуживает самого серьезного внимания.

В обязанности дома входило воспитывать «хороших мастеров, художников и ученых». В обширном комплексе зданий (и теперь раскинувшихся от набережной Москвы-реки до Солянки), в целом ансамбле с церковью и многочисленными службами расположилось огромное воспитательное учреждение, очень богатое — Демидов и другие богачи постоянно делали большие пожертвования Дому, государство предоставило ему доходы от театров, карточной игры, в том числе и печатания игральных карт, от публичных балов и т. д.; у него были свои земли, свои мастерские и даже фабрика.

Во главе Дома стоял сам Бецкой, имевший возможность проявить здесь свои организаторские способности и осуществить педагогическую программу, основанную на том, чтобы выявлять и поддерживать способности учеников. Воспитанников, «острых умом», готовили в Московский университет, проявивших способности к медицине посылали учиться за границу, а художественно одаренных предназначали петербургской Академии художеств.

В том размахе, с каким был учрежден Воспитательный дом, тоже сказалась

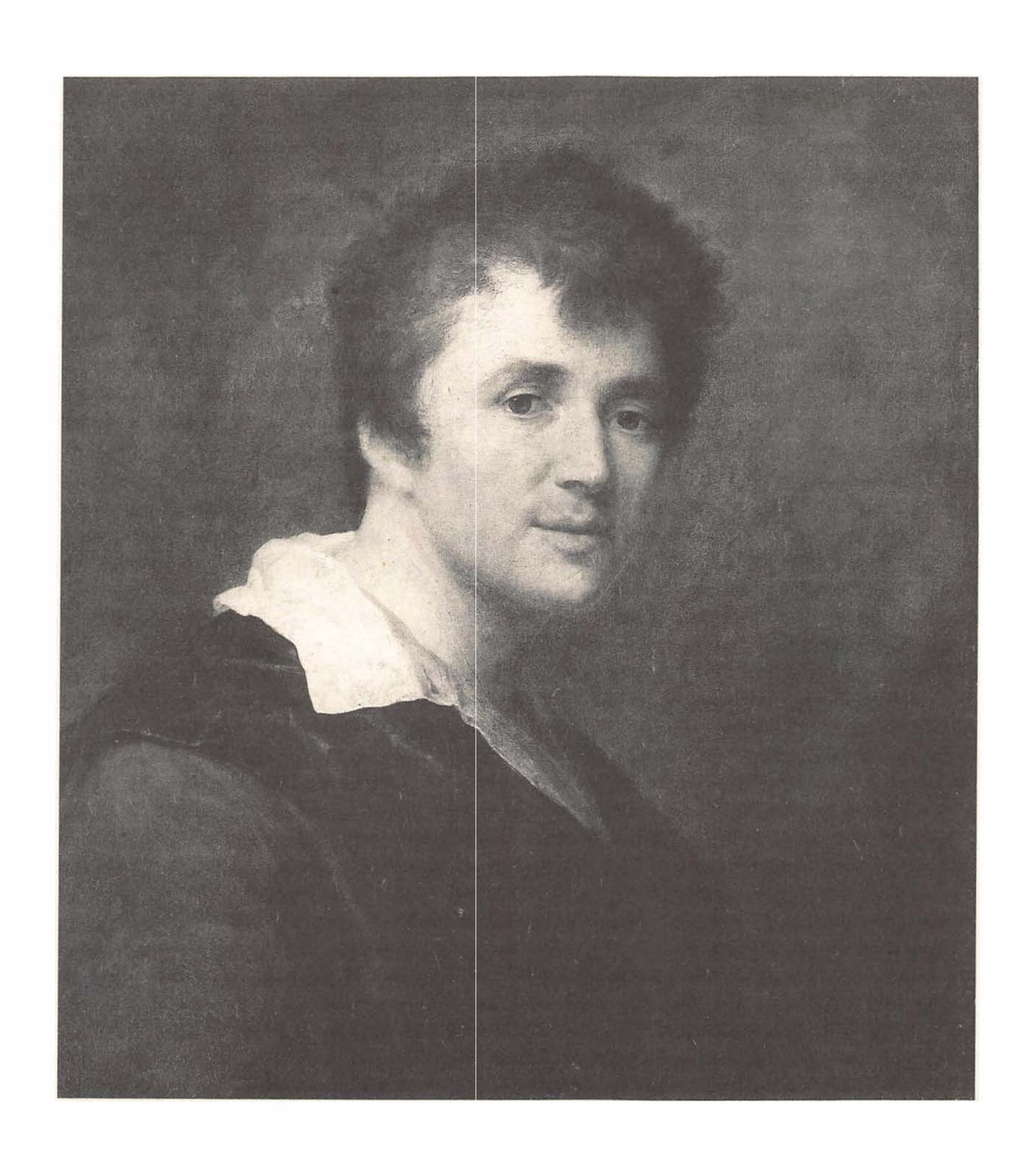
энергия времени, в том богатстве духовной жизни, которая здесь шла, сказалась эпоха просветительства с ее высокими устремлениями. Здесь была своя библиотека, заложенная вместе с Домом (Бецкой сам следил, например, чтобы знаменитая «Энциклопедия» была в ней представлена полностью; сюда делали богатые приношения вельможи и ученые); музей, тоже заложенный вместе с Домом (первооснову его составили принесенные Демидовым богатые коллекции древних монет, минералов, насекомых и т. д.); своя картинная галерея. Книги, гравюры, картины все время закупались за границей. В зале Совета висели портреты попечителей кисти Рокотова и Левицкого. В рисовальных и живописных классах дети получали основательное художественное образование, им преподавали профессионалы (в Доме, кстати, тоже был свой театр, актерскому искусству, танцам и пению здесь, как и в Смольном, обучали профессиональные актеры, танцоры и певцы; как и в Смольном, репертуар был разнообразен и современен). Дважды в год в Доме устраивали День открытых дверей, широко открытых: представители всех сословий могли сюда прийти, посмотреть, как живут воспитанники, полюбоваться их выставленными на всеобщее обозрение работами.

Степан Щукин (неизвестно, кем приведенный сюда, когда ему было два-три года) провел здесь одиннадцать лет, обучаясь разным искусствам, но более всего, ввиду очевидных художественных способностей,— живописи; потом вместе с двумя другими воспитанниками он был отправлен в Петербург, в Академию художеств. «Дорога по тем временам предстояла неблизкая и небезопасная,— пишет автор книги о Щукине Л. Целищева.— Закупались продукты, шилась одежда, нанимались ямщики, снаряжался целый обоз из трех фур с кладью и двух кибиток. Сопровождать детей должны были лекарский ученик Николай Иванов с няньками и солдатами для охраны от „дорожных удальцов“». Воспитанники были, разумеется, приняты: главный попечитель Дома Бецкой был одновременно и президентом Академии художеств. Затем академия послала юного живописца за границу (Париж, Рим), что сильно расширило его художественный горизонт. О том, каков был молодой мастер, формировавшийся в московском Воспитательном доме, в петербургской Академии художеств и в заграничном пенсионерстве, можно судить по портретам, им написанным. Из них мы прежде всего рассмотрим автопортрет.

Можно сразу убедиться в том, что перед нами не подражатель Левицкого, а самостоятельный свежий талант. Специалисты скажут нам о новых технических приемах, которые сообщают живописи Щукина трепетно-живую теплоту колорита и цветовую насыщенность. А нам всего важнее отметить самый образ мастера в его автопортрете, почувствовать его духовный мир. И первое же впечатление— совершенная свобода; не только свобода повадки, но внутренняя независимость, основанная на тихом, громко о себе не заявляющем, но твердом чувстве собственного достоинства. Кажется, что те часы или дни, которые художник, занятый автопортретом, провел наедине с собой, доставили ему удовольствие, он искал в себе (и нашел, что в данном случае одно и то же) эти привлекательные и важные черты. Лицо его мягко и доброжелательно, в нем подлинная душевная деликатность. А живые глаза наблюдательны.

Лет через десять Щукин докажет силу своей необыкновенной наблюдательности и уровень внутренней независимости — своим знаменитым портретом Павла.

Недаром Степана Щукина считают мастером переходного периода, а М. В. Алпатов называет его даже художником нового времени. Психологизм, свойственный Рокотову и Левицкому и всегда требующий от художника внутренней независимости, здесь становится настолько тонким и проницательным, что уже не ограничивается



С. Щукин
Автопортрет
1785(?)

пониманием, вниманием и любованием — он уже граничит с ясновидением, прорицанием судьбы.

Когда смотришь на щукинский портрет Павла, то забываешь, что это подданный (да еще безродный «детдомовец») писал гордого и грозного самодержца великой державы, нет, тут просто один человек, проницательный и полный снисхождения, писал другого человека, не очень счастливого.

Конечно, не только интернаты создавали этих людей — их, как и самые интернаты, создавало время. Были ли они вожделенными «людьми новой породы»? — вряд ли. Но в том, что они получили новые качества, социально значимые и благодетельные, в этом сомнений нет.

ГЛАВА V
СТОЛЕТЬЕ БЕЗУМНО И МУДРО

Источники эпохи, и письменные и живописные, рисуют нам самые различные характеры, в которых, однако, если к ним приглядеться, можно заметить общие устойчивые и неизменные черты.

В зале Третьяковской галереи, где развешаны картины Левицкого, нас непременно остановит портрет (мы в начале книги о нем уже упоминали) немолодого человека в простом кафтане без шитья, с энергичным, сильным лицом и зорким взглядом. Это знаменитый некогда Яков Сиверс, генерал-губернатор тверской и новгородский. Какой характер за этим портретом? Какая судьба?

По семейному преданию Сиверсов, Екатерине было представлено тридцать кандидатов на пост новгородского губернатора, она выбрала человека, чью энергию и ум, по-видимому, успела оценить. Перед тем как отправить Сиверса в Новгород, она сама с ним много работала (он получил около двадцати аудиенций, каждая по нескольку часов); о чем у них шла речь, не трудно понять по сохранившейся письменной инструкции, которую Сиверс получил уже в Новгороде: надо изучить губернию, составить ее карты, получить статистические данные. Земледелие следует изучать характер почвы, чтобы потом можно было бы рекомендовать помещикам и крестьянам (в новгородской губернии было много государственных крестьян), какие культуры подходят данной земле; лен не следует вывозить в Голландию в виде сырья, нужно обрабатывать его на русских заводах. О лесах: рубить их обдуманно и обязательно насаждать новые. Города: надо строить каменные дома, налаживать противопожарную службу (пожары были главным и страшным бедствием деревянных северных городов) по западному образцу. Особое внимание — путям сообщения (дороги, мосты, каналы); создать аптеки в Пскове и Новгороде; ввести в крупных городах лекарей, в мелких — подлекарей с учениками. Строить плотины и мельницы. Много говорено здесь о борьбе с злоупотреблениями чиновников, взятками судей, мошенничествами при рекрутских наборах. Сиверсу предоставлено было право о всех делах губернии доносить прямо Екатерине.

И вот тридцатитрехлетний губернатор, «глава и хозяин» одной из самых огромных русских губерний (граничившей с Польшей, Финляндией, Швецией, доходившей до Белого моря), отправился к исправлению своей должности.

Губернию он нашел в совершенном развале и тотчас принялся за работу. Он пытается заводить «показательные имения» на основе аренды; в 1765 году вводит у себя в губернии картофель, выписанный им из Англии и Ирландии («Желаю вам успеха с картофелем», — пишет ему Екатерина, которая, как известно, сама была очень расположена к этой культуре, в России еще почти неизвестной), не устает твердить императрице о необходимости создать в России (по западному образцу) специальное общество, которое занималось бы проблемами сельского хозяйства (это и есть будущее Вольное экономическое).

Недаром на портрете Левицкого Сиверс изображен с толстой палкой в руке — он всегда в пути, объезжает вверенные ему владения. «Город Псков, — доносил он сенату, — по своему красивому и очень удобному для торговли положению мог бы быть в другом состоянии и не возбуждать такой жалости. У меня нет слов для выражения



Д. Левицкий
Я. Сиверс
1779

моих чувств о разорении этого города; скажу одно, что он так же несчастлив, как и Великий Новгород, и страдает тою же чахоткою... Каменный дом провинциальной канцелярии в Пскове развалился, и я уже третьего года приказал канцелярию из него вывести в обывательский. Воеводского двора совсем нет, и воевода живет в таком ветхом обывательском доме, что мне стыдно и не без страха было в него войти. Я нашел изрядную гарнизонную школу, построенную комендантом. Город Остров — сущая деревня, имеет около 120 душ купечества; в воеводском доме только сороки да вороны живут, ни площади, ни лавок не нашел... Едва один купец успел построить каменный дом, как полковник вступившего в город полка занял его, как лучший в городе, а хозяин остался жить в старом деревянном, после чего никто уже другого каменного дома не заложил... О крестьянстве я должен вообще заметить, что оно еще больше заслуживает жалости по незнанию грамоте, ибо это незнание подвергает его множеству обид».

Ехал он по дорогам (в карете), по тропам (верхом), в лодке по каналам и рекам, по опасным порогам (на бурных Бирючевских порогах лодка, в которой он был сам, насела на камень, а другая перевернулась и люди в ней еле спаслись) — и отовсюду писал Екатерине письма-отчеты. В Онежском порту нашел тридцать построенных тут кораблей, обедал с тридцатью капитанами (надо думать, обсуждали торговые дела). Потом объезжал верхом местность, искал место для нового города. Его письма становятся подчас его личными дневниками. Вот он верхом скачет по дороге, не видевшей колеса, и слушает с удовольствием «рокот стремнины», несущейся рядом. Вот сидит на берегу, ждет, пока передохну́т люди, тянущие лодки через пороги,— а кругом благодать, заросли малины, диких роз, стоят березы, лиственницы, из одной он вырезал себе палку и тут же принялся размышлять о том, как бы хорошо было развести лиственницы в России. Но минуты отдыха были редки — слишком много забот. Города в запустении, многие пострадали от пожара. Каргополь, например, выгорел весь — губернатор созвал жителей-погорельцев, представил им новый план города, где уже были проставлены номера будущих домов, предлагал выбирать любой номер и строить под ним каменный дом — и тут же в письме выпрашивает (и получает у императрицы) для Каргополя 10 тысяч рублей. То и дело бесстыдно льстит он императрице с единственной целью — «выцыганить» средства для своей губернии, и Екатерина их дает; в своих ответах она желает губернатору «здоровья и спокойствия» и прибавляет: «Смотрите, не забудьте жениться».

О спокойствии не может быть и речи, все требует внимания: и сельское хозяйство, и города, и разваливающиеся мосты, и поломанные шлюзы; и крестьяне, задавленные непосильными повинностями; и горожане, задушенные постоями,—он предлагает упорядочить повинности, построить для солдат казармы (это предложение Сиверса Екатерина передала в военную коллегию, где его «зарезал» вице-президент коллегии Захар Чернышев с недвусмысленным объяснением: где казарма и средоточие солдат — там и бунт). Губернатор строит и чинит мосты, расчищает каналы и реки, убирая со дна миллионы камней, налаживает почтовую службу (и первый вводит должность почтмейстера), доказывает Екатерине необходимость создания ассигнационных банков (невозможно же при каждой финансовой операции таскать целыми обозами медные деньги!) — и первый начинает в своей губернии вводить обращение вексельных билетов.

Не станем утверждать, будто екатерининская администрация состояла из одних Сиверсов, он был администратор новой породы, да и человек редкий; чтобы вполне его оценить, надо представить уровень социального сознания крупного чиновничества той эпохи, особенно его старых кадров.

Удивительная особенность этого чиновничества состояла в том, что оно было в высшей степени непрофессионально. Свою задачу оно видело в том лишь, чтобы руководить, то есть занимать руководящее место, независимо от того, соответствует ли оно способностям и знаниям (сегодня — председатель берг-коллегии, завтра — соляной конторы, послезавтра — вице-губернатор). Свидетельства этого убийственного непрофессионализма крупных чиновников находим мы в мемуарах эпохи, в частности в воспоминаниях И. М. Долгорукова.

Молодой князь Долгоруков получил место секретаря в канцелярии своего однофамильца и покровителя В. М. Долгорукова-Крымского (завоевателя Крыма). «Разумеется, что я был секретарем только по названию,— пишет И. М. Долгоруков,— и продолжал по-прежнему числиться при канцелярии. Я не хотел просто носить звание и не исправлять его... Однажды я решительно доложил князю, что я хочу трудиться и чтоб он приказал на меня возложить всю тягость секретарской должности. Князь улыбнулся моему рьяному приступу, позвал Попова (управляющего канцелярией.— *О. Ч.*) и приказал употребить меня по способности. Попов из насмешки княжой отгадал, что он хочет сыграть со мной шутку и самолюбивый порыв мой понизить, тотчас позвал меня в канцелярию и, положа передо мной до сту пакетов в разные полки и места, приказал надписать на них адресы. Стыд мой увеличился. Я увидел, что я осмеян, и, исполнив сквозь слезы поручения Попова, за счастье почел и милость, что более уж меня к такому пустому труду не призывали, и остался спокоен дома на прежней ноге, т. е. надевал по воскресеньям шарф, являлся к князю и от него по праздникам ежжал с поздравлениями к знатнейшим старушкам в городе, а по табельным дням у кареты его сиятельства на смирной лошадке сопровождал его в собор к молебну; хоть не пышна была моя служба, но зато как бывал я рад и доволен собою, когда рыженький мой клепер начнет прыгать в пол курбета, и я на Красной площади, под барабанный бой, задорю его шпорами, гляжу по сторонам на чернь, изумленную моей храбростью,— Аннибал не так был горд под стенами Рима».

Юного дворянина сознательно отвадили от работы, его живой порыв — работать — был беспощадно высмеян, а пустопорожнее препровождение времени признано не только естественным, но и похвальным. Здесь столкнулись два мировоззрения: новое, связанное с сознанием некоего гражданского долга, уже распространенное (юный князь стыдится безделья), и старое, связанное с идеей «кормления», когда для крупного должностного лица главным был доход, получаемый от занимаемой должности, «боярская» точка зрения на государственную службу.

Но приглядимся поближе к самому И. М. Долгорукову, автору замечательных записок, тем более что он был моделью Левицкого. В то время, когда писался его портрет, юный князь Иван уже расстался с Москвой, где служил при Долгорукове-Крымском, расстался, горько плача (отъезд был уже решен, «и слезы мои отвести его не могли, я плакал, а меня сажали в повозку, и матушка не имела сил со мной проститься» — не один молодой дворянин так уезжал из родного гнезда), и прибыл в новую столицу. «Петербург очаровал мою голову,— пишет Долгоруков,— но не пленил моего сердца. На другой день моего приезда я на все смотрел с изумлением, но все жалел о Москве... Батюшка повез меня с собой во дворец. Тут у меня глаза разбрелись так, что я не мог сладить с моими мыслями. Все мне было в диковинку, все казалось бесподобно. Батюшка представил меня моим родным петербургским и знатным тамошним господам. Все на меня глядели, как на мальчишку, и мне досадно было, для чего так же не дивятся мне, как и я всему? Между молодежью я был неловок, дик, застенчив и мало получил успеха в большом свете... Батюшка, желая мне доставить всякие удовольствия, тотчас снабдить меня изволил модною гардеробой.

Появились на мне фраки, шитые славным тогдашним портным Венкером; купили мне лорнет, ибо он был отличительным знаком лучшего тона; дали мне карету, кошелек с деньгами, начали меня брить. Позволено нюхать табак». Но самое главное заключалось в том, что юного князя впихнули в гвардию — его двоюродный брат граф Скавронский женился на Екатерине Энгельгардт — «племяннице и любовнице князя Потемкина», которая «несла в приданое за собой жениху милости дяди», именно благодаря этим милостям и наш князь Иван в 1782 году попал в гвардейский Семеновский полк.

«Мундир с галунами, шарф через плечо и знак на голубой ленте были такие для меня обновы, что никакие детские игрушки с ними соперничества выдержать не могли». Именно в этом мундире гвардейского Семеновского полка он и изображен на портрете Левицкого. Пребывание в гвардии означало близость ко двору, а с тем возможность самой заманчивой карьеры. И вот отец повез князя Ивана в Царское Село, где жила Екатерина и с ней Потемкин — благодарить. «Скавронский как жених был на бессменном дежурстве по чину камер-юнкера, и мы с батюшкой, поблагодаря его, были им представлены князю, а потом невесте его, и перед ними, как перед Святыми Иконами земного Бога, клали униженные поклоны за исходатайственную мне милость».

Портрет юного князя Ивана замечателен своей свежестью; художник угадал или, вернее, разглядел (вот нам случай убедиться в точности попадания, поскольку в нашем распоряжении одновременное свидетельство и портрета и самой модели) душевное состояние того, кого писал. Молодой Долгоруков полон любопытства к жизни и некоторой растерянностью перед ней; в нем застенчивость и мягкость домашнего мальчика, недавно (с плачем) увезенного из родного гнезда. Чуть-чуть смешно выглядит на нем рыцарский доспех, кираса гвардейца-семеновца. Но видна в этом мальчике и готовность вступить в жизнь. Неустойчивость душевного состояния, колеблющегося между робостью и отвагой, точно переданы художником. Долгоруков был некрасив («Натура маску мне прескверну отпустила. / А нижню челюсть так запасну припустила, / Что можно из нее, по нужде, так сказать, / В убыток не входя, другому две сточать»); художник несколько «вдвинул обратно» долгоруковский «балкон»; нам, однако, нужен не внешний вид, а душевный строй мальчика, с такой точностью и артистизмом переданный на полотне.

Служба в гвардии была бездельем, обязанности «состояли в том, чтоб ходить на караул в одни только Императорские Домы и держать дежурство при полку.— Прочее время все оставалось нам на наше удовольствие и забавы».

Долгоруков рвался к государственной службе — на любую «вакацию». Сперва он претендует на место директора Московского университета, потом — члена земского суда и, наконец, к своему восторгу получил место пензенского вице-губернатора. Со всех сторон князю летят поздравления, и никому из поздравляющих не приходит в голову, сможет ли этот молодой человек (ему двадцать семь), занятый до сих пор главным образом «благородными» спектаклями и бесчисленными романами (женитьба на прекрасной Евгении Сергеевне, «смолянке», в этом отношении мало что изменила), исполнять столь сложную административную должность (тем более сложную, что в ведении вице-губернаторов находились финансы губернии).

Вот как князь Иван вступал в должность.

«5 числа (1791 года.— *О. Ч.*) выехал я в Палату и сел в Президентские кресла. После старика почтенного, который занимал их, все служители глядели на меня, как на дитя в колясочке; живость моя, тонкий стан и молодость лица не соответствовали ни покрою, ни величине, ни убранству этих старинных кресел, на которых подагрик с

отвислым зобом гораздо бы казался меня величавее, но я перекрестился, сел, и пред мной выложили столь много тетрадей, что из-за них не видать было ничего, кроме широкой моей губы, которая придавала мне несколько сановитости».

Молодой князь энергично взялся за дело, но тут же столкнулся с чиновниками, секретарями и правителями канцелярии, а вскоре и с самим губернатором. В конце концов мы начинаем замечать, что в записках его работа описывается все более общо и отвлеченно, в то время как всякого рода «бумажные раздоры» и «письменные добрые битвы», напротив, излагаются все подробнее и со знанием дела. Из-за них, а, впрочем, чаще из-за всякого рода праздников (балов, пиров, обедов) работа временами и вовсе останавливалась.

Правду говоря, Иван Михайлович сильно скучал в Пензе, пока не догадался и тут начать любимое дело: стали они «рубить театр, писать кулисы, сводить труппу актеров и ну играть комедию». Но, увы, молодого Долгорукова тянуло не только к театру,— женщины, вот что, по его словам, было его второй и не менее сильной страстью. «Не имея столько стоического духа, чтобы воспротивиться приятностям очаровательного пригожества,— пишет он,— стремился со всем пламенем необузданной страсти к приготовляемой мне судьбою пропасти».

Беда в самом деле была недалеко. На четвертом году работы в Пензе муж женщины, за которой ухаживал Долгоруков, взбешенный и нетрезвый, настиг на улице нашего вице-губернатора и ударил его палкой по затылку. То была катастрофа.

«Я никого не хочу ставить на свое место,— пишет Долгоруков,— дабы почувствовать, что в душе моей тогда происходило: физического вреда я не потерпел, но моральное оскорбление выше было ужасов и самой смерти. Когда бы он выстрелил в меня из пистолета, он бы меня обрадовал несказанно, нож в те минуты казался мне спасительным и единственным прибежищем». Словом, дорого обошлись князю Ивану «приятности очаровательного пригожества». Эта минута,— пишет он,— «была источником зол моих, последовавших во времени; она уничтожила все красы судьбы моей и сделала дни мои днями гроба». С той блестящей карьерой, о которой мечтал Долгоруков, было покончено, вице-губернатором в Пензе он уже остаться не мог.

Итак, записки Долгорукова дают возможность увидеть, каков был в те времена, как жил и работал крупный губернский чиновник, не чуждый желанию принести на своем поприще пользу отечеству и совершенно к этому не готовый. Сиверс — совсем иной тип крупного должностного лица екатерининской империи. Он пришел к своей должности во всеоружии знаний (по экономике, финансам), которые получил за границей. Мы знаем, что он любил: строить, чинить, приводить в порядок, знаем, что ненавидел: войну. Рекрутские наборы, которые он как губернатор обязан был проводить, были для него мукой. «Каких слез,— пишет он,— каких стонов ни приходилось мне слышать при слове „Лоб“» (лбы брили для того, чтобы бежавшего рекрута легче было поймать). Война пожирает лучших работников, разоряет страну; строительство — вот его радость. Получив разрешение основать новый город (когда прежнее селение получало право и статут города, а населявшие его крестьяне становились «гражданами»), Сиверс немедля принимается за работу, составляет план построек и улиц (в каждом городе главная — Екатерининская), разрабатывает структуру административных учреждений и торжественно празднует открытие. Да и старые города его тоже радовали. Когда Сиверс приехал в Каргополь, уже отстроенный после пожара, и к нему сбежались благодарные жители, он был счастлив.

А как же главное — крестьянский вопрос? И тут Сиверс стоит на позициях самых передовых. В «Вольном экономическом обществе», которое он сам же и вызвал к жизни, он, как мы помним, вместе с Григорием Орловым, Эйлером и другими

выступил за то, чтобы печатать на русском языке уже упомянутую нами статью Беарде де л'Абей о крестьянской собственности и крестьянской свободе.

Когда крестьяне Олонецких казенных заводов отказались работать (бунт!) и сенат рекомендовал Сиверсу их усмирить, губернатор послал сенату свои предложения, где доказывал, что можно уладить дело мирным путем, а потом протестовал против кровавой расправы, жаловался императрице, объяснял ей: «Главным предметом волнений была работа, которую мраморная комиссия налагала на них (крестьян.— *О. Ч.*) произвольно. Едва эта последняя образумилась, как другая комиссия, литейная, обременила их еще более произвольным образом, и бедствия крестьян достигли высшей степени. Вначале нельзя было обвинить их в неповиновении; в короткое время они выполнили очень большую работу. Но тяжести, вместо того чтобы облегчаться, возрастали».

Любопытно (и для того времени совсем не так уж обычно), что губернатор говорит не только о невыносимом физическом напряжении работающих людей, но выдвигает доводы чисто психологического порядка. «Когда, между прочим, от крестьян потребовали 1.000 куч угля, хотя они знали, что только треть этого количества может быть потреблена к будущему году, когда их стали принуждать к постройке еще четырех заводов, хотя на этот год для них не было никакой руды, тогда рвение (крестьян) сменилось отчаянием» — здесь не только сочувствие к крестьянам, но и уважение к их труду.

Сиверс — вечный генератор идей, а для Екатерины — источник непрестанных социальных забот и тревоги. Он бомбит императрицу предложениями, проектами и планами — в первый период ее правления энергично поддерживает ее прогрессивные устремления. Ни один из подданных Екатерины не способствовал так ее борьбе против пытки, как новгородский губернатор.

Еще Елизавета старалась ограничить применение пытки и в иных случаях вовсе ее отменить — но каковы эти случаи! Царица отменила пытку при расследовании дел по обвинению «в описке титула» (то есть при ошибке при написании огромного и сложного титула русского царя) и попыталась отменить пытку для детей до двенадцати лет. Но тут начался спор между сенатом и синодом: духовные лица не постыдились требовать пытки для малых ребят, и хотя сенат предлагал отменить пытку для детей до семнадцати лет, настояли на том, чтобы пытать с двенадцати.

Екатерина не раз, и в «Наказе», и в указах, выступала против пытки, но практически дело свелось к полумерам.

Для Сиверса пытка была врагом номер один, он неустанно вел с ним борьбу, планомерно осаждал Екатерину и, наконец, прибег к весьма хитроумному средству. Поскольку до него новгородским губернатором был отец Григория Орлова, Сиверс вытащил на свет божий стародавнее дело, где его предшественник запретил пытать обвиняемого несмотря на то, что этого требовали суд и прокурор. Екатерина и Орлов были тронуты его рассказом (говорят, Орлов даже обнял Сиверса со слезами на глазах) — и вопрос был решен. Любопытно, что и тут Екатерина пустилась на хитрость, не стала издавать открытого указа, а издала закрытую замысловатую инструкцию, где запрещение пытки было сильно завуалировано. Но в конце концов это все же было запрещение, и Сиверс благоговейно (на коленях) принял от Екатерины бумагу с еще непросохшими чернилами.

Перед нами, конечно, тип администратора романтический и даже героический.

Среди всех этих забот Сиверс все же женился. В самый расцвет семейного счастья — Елизавета Сиверс только что родила дочь — губернатор скачет к себе в Новгород, потому что здесь открылась «моровая язва»; жена ждет его с нетерпением,

он обещал скоро вернуться, но он, вместо того чтобы ехать домой, скачет в Великие Луки, где также свирепствует эпидемия. «Так-то, дорогой губернатор, вы поступаете со мной,— жалуется жена,— таковы-то ваши обещания сохранить себя единственно ради другой половины вашего существа, которая, по словам вашим, так вам дорога?» И уж не додумался ли он сам подносить лекарство заразным больным? — продолжает она,— с него станет. Во всяком случае ее родители считают, что ему при его характере вообще не следовало бы жениться (а если и следовало, прибавим, то не на Елизавете Сиверс).

Молодая жена не скрывает своего недовольства. Она больше не может слышать слово «барка» — и вообще эти «вечные дороги, болота, шлюзы, вечная работа всегда. Никогда покоя, никогда денег».

Он — помощник Екатерины. Тогда она работала над своей административной реформой. Ей предстояло неразбериху старого административного устройства страны с ее древними воеводствами, с нескладным и случайным губернским делением заменить новым, логичным, продуманным; вместо путаницы прежних административных учреждений создать их стройную систему. Работая, она тонула в этой неразберихе, и мучилась, и никак не могла справиться. «Одно слово вашего превосходительства,— пишет она Сиверсу,— о названных предметах было бы лучом света, и из глубин хаоса каждая вещь стала бы на свое место, как при сотворении мира»,— и зовет его приехать.

Работая с царицей над реформой административных и судебных органов, Сиверс не упустил, разумеется, случая снова напомнить ей о судьбе крестьян. Вспоминает он при этом и о пугачевщине.

Крестьянскую войну Екатерина восприняла как стыд, как всесветный позор. «Два года назад,— писала она Сиверсу,— у меня в самом сердце империи была чума. Теперь на границах Казанского царства у меня чума политическая; она задает нам трудную задачу... По всей вероятности, дело кончится виселицами — но какова перспектива для меня, господин губернатор, для меня, столь ненавидящей виселицы! Европа отнесет нас ко временам царя Ивана Васильевича: вот какая честь ожидает империю от этого несчастного события».

И вот теперь Сиверс напоминает царице, что причиной великого мятежа было само положение крестьян, единственный способ предотвратить новые беды — улучшить его. У новгородского губернатора была ясная голова, он понимал, как труден тут каждый шаг. «Я знаю,— писал он,— что мнением своим затрагиваю почтенное сословие, которое на основании государственных законов утверждает, что крепостные должны быть в его полном подчинении (какова формулировка: не «имеет право», а «на основании государственных законов утверждает».— *О. Ч.*). Не оспариваю этого права, но нет права без границ». На самом деле каждым своим словом он оспаривает это «право без границ», которое и юридически, и практически является бесправием одних и произволом других. Правда, в конце концов он говорит всего лишь о фиксации крестьянских повинностей и об ограничении права барина наказывать своих крестьян, но для времен наглого, никогда ничем не стесненного произвола представление Сиверса было и передовым и смелым. Не меньшей смелостью было в те времена и требование свободы крестьянских браков — помещики так привыкли, что они женят кого хотят на ком хотят (в воспоминаниях Болотова есть трогательный рассказ о том, как он решил устроить счастье своего верного камердинера и где-то купил ему в невесты девку), что подобное требование казалось им прямым вторжением в их исконные права. Но главное: губернатор предлагал назначить сумму, за которую каждый крестьянин мог бы выкупиться на волю.

Вновь перед Екатериной был впрямую поставлен крестьянский вопрос — теперь, когда трон под ней уже не шатался, когда власть ее укрепилась безмерно (в частности, и в результате победоносной внешней политики). И опять она не сделала ничего, чтобы улучшить невыносимую жизнь русского крестьянина, ничего, чтоб хоть в чем-то ограничить помещичий произвол. Предложения Сиверса она передала на рассмотрение своего совета, где они, разумеется, были единодушно отвергнуты. Екатерину куда больше занимала административная реформа, иначе говоря, проблема укрепления власти.

А Сиверс, с основанием наместничества став генерал-губернатором тверским и новгородским, принялся за дело, осуществляя новый порядок, создавая новые учреждения. Он придавал им значение огромное, особенно дорог был ему так называемый совестный суд — во всяком случае, когда при торжественном открытии тверского наместничества в ходе невероятно пышной церемонии читали екатерининское «Учреждение о губерниях» и дело дошло до той статьи, где трактовалось о совестном суде, новый генерал-губернатор сам взял в руки книгу и с волнением прочел вслух эту главу. Он был ее сотворцом и возлагал на нее серьезные надежды. Это было не совсем обычное, а для крепостнической России и вовсе странное судебное учреждение. Во главе совестного суда стоял выборный судья, вместе с ним судили два заседателя, выбранные из числа дворян, горожан и свободных крестьян (дальний отголосок екатерининских рассуждений о необходимости для крестьян их собственного крестьянского суда — а впрочем, может быть, уже в ту пору, когда писался «Наказ», эту мысль подсказал ей Сиверс?). Сиверсу этот суд представлялся совестью губернии (на самом деле эта совесть, как позже покажет практика, станет помалкивать), он в восторге от новой реформы и энергично проводит ее в жизнь.

А семейные дела генерал-губернатора идут все хуже.

Раздражение жены небезопасно — у Сиверса могучие враги. Тут и сенат, и генерал-прокурор Вяземский, да и сам Потемкин (в той же степени, в какой Сиверс сторонник мира, Потемкин — приверженец войны).

Семейными неладами воспользовались многие вельможи, а потом и сама Екатерина стала на сторону Елизаветы Сиверс. И вот настал день, когда наместник тверской и новгородский подал в отставку, которая была принята. Уже равнодушной рукой императрица подписала бумагу (1781), назначавшую на место Сиверса равнодушного человека, графа Брюса. Сиверса еще не раз призовут к государственной деятельности и станут награждать, но звездный час его прошел.

Теперь, зная судьбу этого человека, услышав его живой голос, мы тем более не пройдем мимо его портрета. Портрет этот очень строг и сдержан по колориту. Левицкий писал Сиверса в 1779 году, незадолго до того, как стала закатываться его звезда. Перед нами уже не тот романтический губернатор, каким мы его видели в 60-х годах, это скорее честный солдат. Сильное, решительное, неподкупное лицо. Он идет своим путем с палкой в руках (кажется, той самой, которую вырезал из лиственницы во время инспекции северного края), глядя вперед своими умными, зоркими глазами, видит — дел непочатый край, соображает, что надо починить, что переделать, а что построить заново. Екатерина предала их общее дело, он его не предаст никогда.

Портрет графа А. С. Строганова (Русский музей) писал А. Рослин, швед, два года работавший в России. Все в этом портрете переполнено радостью — и сам изображенный человек, очень веселый, и великолепный брусничный бархат его шитого кафтана, и переливы муара на орденской ленте. Поза вельможи — сама непринужденность, кажется, что он упруго («спортивно»!) присел на минутку, чтобы рассказать нам нечто смешное. Сияет улыбкой его круглое лицо (вот-вот проступят детские ямочки),

на лице беспечность, чтобы не сказать — легкомыслие. Это один из самых богатых богачей России.

А. С. Строганов, единственный сын барона Строганова, родился в 1733 году и с девятнадцати лет учился за границей, слушал лекции лучших профессоров, осваивал языки, посещал фабрики и заводы, изучал физику, химию, металлургию — все это необходимо было ему для будущей его деятельности владельца огромных заводов и промыслов. Но истинным его призванием и целью его жизни стало искусство. Он не уставал исследовать галереи, дворцы, музеи, рассматривая, изучая, а потом все чаще и чаще покупая замечательные произведения живописи, скульптуры и графики. Знаменитый дворец Строгановых, построенный Растрелли на Мойке, стал хранилищем крупнейшей в стране коллекции и в те времена, когда еще не было публичных государственных музеев, был открыт для желающих, особенно для художников, которым Строганов неустанно помогал.

Он действительно (и это ясно видно на портрете) баловень судьбы. Чины и ордена идут к нему чередой. Любой обладатель престола, наверно, привлек бы к себе богача Строганова, но с Екатериной у них возник еще и союз двух веселых, энергичных натур. Строганов сделался постоянным собеседником императрицы, ее постоянным партнером в картах, постоянным спутником в ее поездках по стране.

Рослин написал Строганова в 1772 году в Париже, в тот самый год, когда у него родился сын Павел (которому предстояла столь необыкновенная судьба и роль). На портрете рядом с графом мраморный бюст его жены Екатерины Петровны. Строгановы женаты недавно, но счастье их будет недолговечным: вернувшись в Россию, молодая Строганова встретилась с фаворитом Екатерины Корсаковым.

Кстати, нам нередко представляют Екатерину неким вампиром, пьющим кровь молодых гвардейцев. На самом деле отношения складывались не так, много сложнее: случалось, что молодые гвардейцы сбегали от государыни. Ушел Орлов, и потому что заскучал, и потому что влюбился в Е. Н. Зиновьеву. Одно время императрица была бурно увлечена И. Н. Корсаковым, молодым красавцем, музыкально одаренным и обладавшим отличным голосом. Однажды Екатерина сказала Григорию Орлову, что Корсаков поет, как соловей. «Это правда,— ответил Орлов,— но соловьи, как известно, поют только до Петрова дня». Этот соловей действительно пел недолго. Когда влюбленность Екатерины достигла наивысшего накала, как раз в это самое время и вернулась из Парижа вместе с мужем веселая красавица Строганова. Корсаков был навеки потерян для Екатерины, а юная Строганова — для своего мужа (примерно та же история повторилась через несколько лет с фаворитом А. М. Дмитриевым-Мамоновым).

Потеряв жену, Строганов не потерял ни энергии, ни жизненной упругости, ни даже веселости (он был известен как остряк и балагур). Но было бы ошибкой считать его легкомысленным и легковесным. С особым рвением занялся он воспитанием единственного любимого сына. Он, как обычно, поручил это воспитание французу-гувернеру, зато сам гувернер был необычен.

Еще за границей встретив Жильбера Ромма, Строганов увлекся его глубокой, оригинальной натурой и, пригласив в Россию, отдал сына целиком его попечению и воспитанию. Француз с юным графом (и знаменитым впоследствии архитектором Воронихиным) сперва отправились в путешествие по России, причем оба изучали русский язык, а потом (опять же вместе с Воронихиным) уехали за границу. Это знаменитая тогда и хорошо известная теперь история. Ромм был не только ученым, в нем жил страстный политик республиканского толка, он ринулся в гущу революционных событий и увлек за собой молодого русского графа.



Д. Левицкий
П. А. Демидов
1773

Немалая широта взглядов нужна была для того, чтобы отпустить любимого сына в революционно бурлящую Францию. Любопытно также, что юный республиканец был отозван в Россию не по распоряжению отца, а по приказу Екатерины. Строганов воспитал таким образом человека необыкновенного, дал монархической России республиканца, в будущем видного политического деятеля, оказавшего немалое влияние на политику Александра I в первый (и такой важный) период его царствования.

Роль Строганова-старшего в культурном развитии России несомненна, идет ли речь о его коллекциях (в частности, картинной галерее, где было немало шедевров,— каталог ее, кстати, он написал и издал сам), или о его неустанной помощи художникам — и в качестве знаменитого мецената, и в качестве президента Академии художеств. В старости он был так же энергичен, как и в молодости. Ему было поручено строительство Казанского собора, и он сделал главным архитектором А. Н. Воронихина, росписи и скульптуру поручил русским мастерам. Рассказывали, что старик вникал во все детали строительства (и даже сам лазил на леса), как видно, считал это важнейшим и последним делом своей жизни. Когда собор был готов и шли празднества освящения, Строганов, подходя под благословление митрополита, сказал: ныне отпущаеши раба своего, владыко, с миром. И действительно, умер, простудившись на тех же самых торжествах. В Казанском соборе его и отпевали.

Но вот еще один портрет баснословного богача П. А. Демидова. Это даже не портрет, а огромная картина, где Прокофий Акинфиевич Демидов стоит во весь рост (одна из тех работ, где Левицкий увековечил попечителей московского Воспитательного дома). Перед нами странный старик, расхристанный в своем зеленом атласном камзоле, с гигантскими ногами в чулках и гигантских башмаках; его лицо татарина (под каким-то странным зеленым колпаком) на первый взгляд полно веселости, еле сдерживаемого смеха — но это впечатление первого взгляда.

Как это часто бывает с произведениями великих художников, портрет Демидова изменчив. Однажды, зайдя в зал Левицкого Третьяковской галереи, я увидела, что эта огромная картина залита багровым светом, и подумалось мне, что на Демидове отсвет и жар печей ужасных его заводов; я даже чуть было не написала об этом, но придя в другой раз, убедилась, что свет — просто радостный свет солнечного утра и от него горят шелка (вот как опасны литературные ассоциации, далекие от живописи). Изменчиво и лицо старика, в нем порой видны и скепсис и ирония, а порой даже некая терпкая горечь.

Художник недаром изобразил старого богача садовником, облокотившимся на лейку и рукой указывающим на растущие в кадке растения. Демидов был ученым ботаником, оставившим уникальный гербарий, написавшим труд о пчелах, создавшим замечательные сады. Между тем цветы в кадках столь же реальны, сколь и символичны, они напоминают нам о Воспитательном доме в Москве, попечителем которого был Демидов и на который он тратил огромные суммы (самый дом виден вдали в левой части картины), и не только об этом учебном заведении, но и об университете, и о коммерческом училище, которое основал Демидов.

Он тоже побывал за границей, слушал французских просветителей, изучал педагогику Руссо. Своей энергией и колоссальными пожертвованиями он много способствовал русскому просвещению.

И в то же время был он деспотом и знаменитым самодуром, как только не чудил, чем только не дивил Москвы: то комическим выездом, где в упряжке были и пони и кони-гиганты; то тем, что заставил свою прислугу, всех до единого, носить

очки и даже надел их на собак и лошадей. Если говорить о карнавализации жизни, свойственной русским вельможам XVIII века, то Демидов, кажется, довел ее до предела.

Приходили ему в голову и покаянные мысли, но осуществлялись не в том, чего мы, казалось, вправе были ожидать — в реформах на его собственных заводах с их каторжным трудом (люди, прикованные к тачкам), а в том, чтобы еще шире развернуть свою просветительскую и разнообразно благотворительную деятельность. Такова была логика этих умов.

Глядишь на Прокофия Акинфиевича, эту невероятную и терпкую смесь руссоизма с диким самовластием и самодурством, и думаешь, что его, подобно тютчевской России, уж никак умом не понять.

Какие разные, какие яркие люди! Легкий, беспечный, тонущий в романах и даже, как помните, однажды битый палкою Иван Долгоруков. Он странно одевался, «ходил по улице в одежде полуполковой и полуактерской из платьев игранных им ролей» — фигура, казалось бы, тоже чисто карнавальная. Но одаренность тут била через край, душевная энергия его переполнила. Сиверса из него не получилось — зато получился знаменитый актер, знаменитый поэт, лирический, веселый, как раз такой, каким хотело видеть его дворянское общество; автор воспоминаний, где он исследует собственную жизнь очень серьезно и с позиций совести. Полная реализация себя.

Сам Сиверс — сгусток энергии, страстное служение своей стране. Строганов, Демидов. Век рождал фигуры упругие, подчас ребячливые, подчас демонстративно чудящие, но неизменно полные душевной энергии и жаждущие себя реализовать.

Бодрость и энергия — характерные черты людей русского XVIII века. Да еще жажда общения, стремление объединиться. Административные реформы Екатерины, создание наместничеств и губернаторств, выборных дворянских должностей (предводители дворянства, судьи и т. д.) — все это сыграло немалую роль в деле объединения дворянства. Открытие наместничества становилось грандиозным дворянским праздником, каждые выборы, а они повторялись через три года, означали серию балов, пиров и маскарадов.

XVIII век вообще любил веселиться и умел это делать (речь идет прежде всего о дворянстве). Сама Екатерина, как мы видели, включила веселье в свою жизненную программу не только потому, что видела в нем способ сопротивляться трудностям жизни, и не только потому, что была весела от природы, но и потому, что считала полезным и обязательным «мешать дело с бездельем».

Она намеренно создавала при дворе атмосферу покоя и раскованности, об этом рассказывает, например, Ф. Н. Голицын, а в Царском Селе, говорит он, царила уже совершенная непринужденность: «Тут уж придворного этикета никакого не было. Мы, придворные, хаживали во фраках и вели жизнь самую покойную и приятную <...> Обращение наше, можно сказать, было смелее гораздо городского. Во время ее (Екатерины.— *О. Ч.*) прогулок мы иногда между собой разрезвимся, бегаем друг за другом, играем в разные игры, что государыне всегда даже угодно было. Я отменно любил сию царскосельскую жизнь» (легко себе представить, какой столбняк напал на придворных, после екатерининского приволья попавших в гатчинские тиски Павла). Однажды за столом у маленького Павла Елагин рассказал, как летом в Петергофе Екатерина смеху ради прямо в платье вошла в море, за ней дамы и кавалеры. А как-то в покоях императрицы зашла речь о том, «кто как проворен и у кого кости гибки. Государыня изволила сказывать, что она ногою своею у себя за ухом почесать может». Эта ребячливость — не только ее личное свойство, здесь Екатерина опять



Ф. Шубин
Ф. Н. Голицын, мрамор
1771

выражает свой век. Перед нами черта эпохи, создавшей веселую моду белых париков и алых каблуков, эпохи, заткавшей платья, каминные экраны, ширмы, веера веселыми и яркими узорами, позолотившей все, что можно позолотить, расписавшей цветами и птицами стены покоев и все, что можно разрисовать,— вплоть до атласных жилетов, вплоть до пуговиц на них.

XVIII век жаждал развлечений для глаза, ушей, для воображения, его тянуло к себе все веселое и неожиданное. Деревья в парке вдруг оказывались странной формы — их подстригали то зонтами, то пирамидами, а то и вовсе медведями. В густых зарослях вдруг возникали таинственные гроты (да и в них ждали какие-нибудь неожиданности, так, например, Болотов, большой любитель устраивать у себя диковины, придумал облицевать изнутри свой грот зеркалами, отчего эффект при входе был особенно неожиданным), или возвышались романтические развалины, или вдруг вы попадали в премудрый лабиринт и, чтобы выйти из него, спрашивали встречную женщину с лукошком, но она оказывалась «обманкой», то есть была очень живо и натурально написана на холсте (наклеенном на доску), а у реки в кустах такая же обманная купальщица расчесывала волосы. Вдруг откуда-то начинала звучать музыка, вдруг взвивались фейерверки.

XVIII век без памяти любил всякого рода представления.

14 июля 1775 года в своем доме на Царицыном лугу около Летнего сада Бецкой устроил праздник по случаю заключения мира с Турцией и бал, а ночью по Неве приплыл к его дому остров, на котором была представлена аллегория: развалины, знаменующие прошедшую войну, храм, над которым стояла статуя Милосердия; играла сельская музыка, пейзане «упражнялись в сельских работах», Слава с трубою объявляла им о заключении мира, после чего хор восхвалял государыню.

Уже самый выезд вельможи был ярким и живописным представлением. Золотые кареты с гербом, выложенные изнутри бархатом, цуг вороных коней в султанных перьях, на запятках «букет» — пудреные лакеи в треуголках, арап в шароварах.

Вельможи, давая грандиозные празднества, словно бы даже соперничали друг с другом. На этих праздниках для дворянства устраивались пиры и балы, для простонародья — гулянья с жареными быками и фонтанами вина, с лавочками, где всякая мелочь раздавалась даром. В мемуарах И. М. Долгорукова рассказано, как граф Строганов как бы заманивал к себе народные гулянья. Ему «захотелось отворить свой сад для прогулки простому народу по воскресным дням. Сначала ходили немногие; но вскоре вошли во вкус, стали приезжать и в каретах, кучки сделались толпами. Граф радовался, что гулянье у него входит в моду, намостить велел полы в шатрах, будто для одной защиты от ненастья. Потом приводить стали туда по три скрыпки, среднего сословия гуляки привыкли помаленьку в етой зале плясать сперьва по русски, по цыгански, а потом мастеровые немцы и французы образовали своими кружками разные светские танцы. Дошло дело до контретанцев. К ремесленникам присоединились люди всех сословий, и дамы, и мущины большого света полюбили съежжаться на графские прогулки». Возникла идея давать настоящие балы. «На все лето нанята наша Семеновская роговая (оркестр Семена Нарышкина, создателя оркестра роговой музыки.— *О. Ч.*) музыка, лучшая во всем городе, и оркестр скрипачей. В зале начались балы по форме, а для народа в других местах цыганки, плясуны, песенники и обыкновенные их устроились забавы. И так, воскресные дни нечувствительно обратились в великолепные праздники. Весь город стекался в сад гр. Строганова. Дом и аллеи — все было наполнено народу. Нева покрывалась шлюпками и ботиками около пристани... Хозяину каждое воскресенье стоило до пяти сот рублей; и скоро славная дача Нарышкина, в которой воскресные гуляньи от самых

давних пор учреждены были, уже не смела выдержать совместничества с дачею гр. Строганова». Таким образом, часть своих огромных богатств вельможи считали нужным потратить на развлечения городских людей. Кстати, каждый из них держал открытый стол, куда мог прийти любой, лишь бы был «прилично одет» (на один из своих праздников Екатерина пускала всех, только бы не был в лаптях!).

В условиях жизни, бедной впечатлениями, всякое зрелище и развлечение ценились высоко. Праздники давали пищу воображению. Простым людям — на площадях и улицах, где по ночам сверкали замысловатые фейерверки, рисуя огнями в ночном небе аллегорические сюжеты; дворянам — в залах, где столы после обеда уходили под пол, где раздвигались стены, открывая сады, где грудой (как на празднике Безбородко) лежали драгоценные сосуды, вазы и кубки. Все это поражало умы (и бывало описано даже в специально изданных книжках). Столичным вельможам подчас не уступали владельцы провинциальных резиденций — какими был Шклов Зорича или Глухов Разумовских.

Дворянские пиры шли по всей стране. Из воспоминаний Добрынина мы уже видели, как пировало высшее духовенство. Обязательная «веселость» пронизывала и все дворянское сословие. Балы давали и губернаторы, и городничие, и полковники стоящих на квартирах полков; где бы ни возникал центр притяжения, военный или административный, к нему немедля начинало стекаться местное дворянство. Впрочем, и предоставленное самому себе, оно как-то организовывается, объединяется — эти бесконечные празднования именин, смотрин, сговоров и свадеб, церковных праздников, даже обязательный обычай дворян наносить друг другу визиты — все это та же тяга к объединению. Но есть тут и еще одна причина: при отсутствии газет и книг человек был единственным источником информации; умный, образованный, бывалый собеседник, разумный советчик ценились высоко (и действительно выполняли важные социальные функции). Всякий новоприезжий означал надежду на новость и развлечение. Недаром харьковский губернатор, как рассказывает Пишчевич, никому не давал лошадей, пока приезжий к нему не явится. «Сие делалось не ради какой-нибудь предосторожности, а потому, что он был великий охотник знать происходившее в других местах, и потому желал всякого приезжего видеть и изведать от его что ни есть». Конечно, дворяне собирались и для того, чтобы выпить-закусить, но все же могучее провинциальное гостеприимство, жажда ухватиться за гостя и обязательно «унять» его к обеду — была во многом продиктована жаждой общения со всеми вытекающими из него выгодами.

А одним из самых острых развлечений XVIII века была любовь.

Если Григорий Орлов, знаменитый своими сердечными победами, записок нам не оставил, мы вполне можем заполнить этот пробел воспоминаниями Пишчевича, большого мастера в «искусстве страсти нежной». Благодаря своей приметливости и великолепному живому языку он много расскажет нам о нравственном состоянии общества, о его семейных и сердечных делах.

На редкость двойственное впечатление оставляет в этом смысле XVIII век. С одной стороны, он боготворит семью, для него священны родственные связи. Женщина, жена и мать, осознает свою великую миссию в жизни, понимает, что должна быть нравственным стержнем семьи, опорой близких, особенно в дни беды. Возникает некий идеал женщины, образец долга и верности, который уже воплощается в жизнь (мы видели это на примере Рубановской, увидим и еще раз), а позже найдет свое завершение в декабристках.

Во второй половине века создается настоящий культ дружбы и семьи, семейной дружбы.

Ю. В. Долгоруков, известный нам по Чесменскому бою, с гордостью говорит о том, что они с братом и женами, все четверо, были так близки, словно составляли одного человека. С восторгом говорят о своих родителях многие мемуаристы — И. М. Долгоруков рассказывает о том, какую огромную роль в его жизни сыграл отец, Михаил Алексеевич (сын казненного Алексея Долгорукова и той самой Натальи Борисовны, которая, узнав о смерти юного Петра II, принялась кричать: «пропала»), о мудрости его решений, деликатности его советов, о его нерушимом нравственном авторитете. С великим почтением и любовью вспоминают они самою атмосферу семьи.

И вместе с тем XVIII век прослыл (и не без оснований) легкомысленным волокитой, даже распутником. Идеология Просвещения, учение о «прекрасной натуре», обожествление природы и восхваление «естественного человека», вольный ветер всяческой раскрепощенности (увы, не затронувший в России самого крепостного права!) приводят вместе с тем и к вольности нравов. Екатерина с ее едва ли не узаконенными фаворитами и тут отчетливо выражает свой век, и тут во многом на него влияет, способствует фривольности, а порой и прямой нравственной распущенности.

Но совсем не только один придворный круг или высший слой предавался такому разгулу страстей — вольность нравов захватила широкие слои дворянства, об этом тоже нередко свидетельствуют мемуаристы. В Пензе жила некая г-жа Колокольцова, рассказывает Пишчевич, она была замужем за богатым человеком, который с ней плохо обходился. И вот пришел в Пензу полк во главе с полковником Исленьевым. Этот полковник «умел втереться к ней в любовь», любовь была взаимной, и когда полку пришло время уходить, Исленьев приехал к мужу и «без всяких околичностей объявил ему, что он намерен взять с собой его же́ну; г-жа Колокольцова подтвердила своим согласием таковое его объявление. Должно себе представить положение в сии минуты такого мужа, у которого гость жену похищает! От удивления он пришел в себя только тогда, когда увидел ее готовую сесть в карету г-на Исленьева, взяв при том с собой свою дочь; закричал: «Людей!» — дабы удержать таковой наглый увоз своей жены, но в сие время показался в его деревне эскадрон драгун, будто мимо идущий, а в самом деле ему назначен был час, когда появиться, дабы подкрепить сие предприятие. Мужики, увидев войско, опустили свои дубины и сделали дорогу г-ну Исленьеву следовать с его добычею. Господин Колокольцов, по выходе уже полку из Пензы, начал помышлять о возврате своей жены и потому отправился в Петербург, где подал просьбу, старался, кланялся, издерживал деньги, но сторона г-на Исленьева превозмогла; г-жа Колокольцова объявлена племянницей г-на Исленьева и от несносностей, ея мужем ей причиняемых, позволено ей жить, где пожелает, и потому она избрала быть у своего мнимого дяди. Сим кончилось такого странного рода дело решением еще страннее».

Перед нами не просто стихийно складывающиеся нравы, но и позиция, так сказать, высших официальных инстанций (надо думать, Колокольцов обращался в сенат).

Но как же отнеслось общество к подобного рода паре, где она бросила мужа и детей (взяв с собой только одну дочку), а он оставил жену со всеми детьми,—легко было бы предположить, что оба они оказались в той трагической изоляции, которая привела к гибели Анну Каренину. Но в том-то и дело, что Каренина — это XIX век, а в XVIII все решилось по-другому — общество никого не стало корить, а тем более казнить, все обошлось наилучшим образом: Исленьев строго соблюдал приличия, он всегда снимал для Колокольцовой дом, где «она под именем племянницы днем находилась, куда и съезды для обедов и балов всегда делались. Впрочем, г-жа Колокольцова была прелюбезного свойства женщина: умна, ловка, весела, вежлива до

самого нельзя; одним словом, с первого раза всякого к себе привязывала. Доказательством сего служит то, что она, будучи в таком состоянии, на которое не всякий равнодушно взирает, везде не токмо принята, но и почтена во всех лучших беседах была».

Куда бы судьба ни бросала Пишчевича, всюду у него вспыхивают романы, вполне отвечающие фривольным нравам эпохи, описанные вместе с тем не только с живостью, но и с душевной наблюдательностью и тонкостью.

Особенно веселая жизнь началась в Саратове — «женщины нам кружили головы, а мы им». Тут «глаза его остановились» на г-же Панчулидзевой, жене чиновника казенной палаты, которая любила мужа «не по страсти, а по долгу». Она, «женщина лет 25, которая, сверх приятностей ее лица, нравилась мне своими душевными свойствами, веселым нравом и кротостию, имела великое искусство нравиться и, без всякого кокетства заманивая в свои сети, уважала (то есть вызывала уважение.— *О. Ч.*) своими прелестями, своим добрым именем и долгом, которым всякая честная жена обязана своему супругу». Она «удерживала меня при себе в границах приязни и в первый раз в жизни моей показала мне удовольствие в любви такой, в которой сердечные чувствования берут верх над минутными утехами сладострастия. В сей сердечной связи время течет одинаково удовольственно, но не всякий молодой человек определит себя оную испытать». Вновь открытая ему радость «небесной» любви отнюдь не исключала и «земную». «Сколько ни был я влюблен в г-жу Панчулидзеву, но долго не мог пробыть, чтобы не иметь любовницы, с которою бы волокитство шло совратительнее». Некая г-жа Линицкая пошла на такие отношения очень быстро. «Таким образом проводил я шесть недель в Саратове: в объятиях г-жи Линицкой я упоялся любовью, а возвращаясь к г-же Панчулидзевой, тлел у ее ног такой же любовью». Но жила тут, в Саратове, некая г-жа Буткевич, жена лекаря... Словом, от пишчевичевых дам уже начинает несколько рябить в глазах. Но все же и на г-же Буткевич мы немного остановимся, потому что она явит нам новый тип женщины и новый тип отношений. Наш герой встретился с ней снова, когда приехал в Петербург. «При сем разе она провела меня по всем степеням волокитных правил, дабы тем более дать цену удовольствию, мне приготовляемому» — на этот раз «правила волокитства» тесно переплетены с чем-то большим, чем влюбленность, с чувством, которое Пишчевич пережил сильно и запомнил памятью сердца.

«Наконец, в один вечер возвратились мы из театра, в котором играна была прекрасная итальянская опера «Утешение любовника». Имея преисполненные воображения и сердца наши всяко-родной чувствительности (как не вспомнить тут «Крейцерову сонату» — без толстовской нравоучительной проповеди, разумеется): зрение и слух наш были насыщены, но в желаниях наших оставалась некая пустота, которую итальянская пьеса лишь привела в вящее волнение» — согласитесь, что анализ душевного состояния дан здесь с большим пониманием и тонкостью. «По окончании стола г-жа Буткевичева вошла в прекрасно отделанный баскет, освещенный искусственным огнем, который, казалось, только ради того горел, чтобы стыдливость женскую скрыть, она прилегла на софу, я сидел возле ея; мы говорили о многом до нашей взаимной склонности касающемся, и наконец, истощив все слова, проводили несколько минут в забытии». А потом «прогулки, театр, концерты занимали нас попеременно». Пишчевич был неотлучно при г-же Буткевич. До сих пор она жила затворницей, посещала знакомых редко, «единственно дабы только соблюдать благопристойность» (еще одно доказательство того, что замкнутый образ жизни для дворянина считался неприличным), много читала, до чтения была «великая охотница», вообще «имела ум изостренный и сведуща была во многом». И для нее тоже началась

новая жизнь, освещенная любовью, опять же, ввиду обстоятельств нашего кочующего офицера, увы, недолгой.

И вот однажды в Петербурге — это было 22 декабря 1797 года — Пишчевич ехал в гости в незнакомый дом. «Замечу и то,— пишет он,— что я с некоторым предчувствием ехал на сие свидание и что ночь перед тем днем проводил в бессоннице и некое странное движение делалось в моей душе». И эта бессонница, и это странное движение на деле означали, что ему предстояло встретить свою судьбу — госпожу Митендорф. Она была замужем, и мужем ее был надворный советник. Впечатление от встречи с ней было необычно, «я,— пишет Пишчевич, который довольно пошатался между людьми, видел много супружеств,— в первый раз в жизни моей позавидовал г-ну Митендорфу в выборе друга». Тут же, как видно по привычке, ему пришло в голову «иметь г-жу Митендорф своей любовницею, но вдруг сия мысль показалась мне странною и обидною для такой женщины, которою я полагал достойной быть моей супругой. Таковое правило кажется чудным в человеке, который без зазрения совести пущался в объятиях тех жен, которых мужья его одалживали». Любопытно, как с приходом настоящей любви в нашем герое отчетливо заговорила совесть, до сих пор не очень его тревожившая. Но продолжим его рассказ. «Надобно и то сказать, что г-жа Митендорф, при всей оказуемой мне ласке, умела меня держать в границах почтительности к ней. Долго я, который с другими в таких обстоятельствах женщинами бывал решителен, оставался на сей раз не смелым, не ловким, казалось, не кстати ей говорить о любви и не время еще».

Вот когда настала пора настоящей тонкости чувств.

Однажды он, чтобы она не забыла исполнить какое-то свое обещание, завязал узелком ленту на ее платье; обещание она исполнила, но сказала при этом: «Узелок, вашими руками завязанный, я навсегда сохраню». И он был счастлив, наверно, в тысячу раз больше, чем от всех прежних любовных похождений, вместе взятых.

Но все же, вооруженный своим незаурядным опытом и отличным знанием женской души, Пишчевич, на этот раз искренне и глубоко любящий, начинает искуснейшую атаку на бедное сердце г-жи Митендорф.

И сразу встречает сопротивление, мягкое, но непреклонное. Он объясняется ей в любви, она, поблагодарив его, отвечает, что «ведает долг супружеский». «Я принял это за отказ, оказал ей мое неудовольствие и оставил ее. Это было всегдашнее мое правило: холодностью воспалить женщину и возбудить ее самолюбие, которым путем я почти всегда достигал до желаемого. Два дня я терпел от сей притворной моей холодности и два дня и она выдержала, но на третий яко женщине твердость ей изменила» — прислала звать. «Я тотчас в ее дом полетел, застал ее одну, сидящу на софе, под головой подушка, на коленях моя (присланная им.— *О. Ч.*) книга, одной рукой голову поддерживала и казалась в задумчивости от прочтенного ли ею в книге, или от того, что страсть начинала беспокоить ее сердце (это ли не портрет! — *О. Ч.*). Я вхожу. Она сказала: ,,Я не думала иметь сего удовольствия; вы, кажется, очень сердиты... Уверяете меня в вашей любви, а третий день не хотите меня посетить; это прямо бесчеловечно". Я вместо ответа, приблизившись к ней, поцеловал ее. Она сказала: ,,В одном проступке не объяснились, а другую вину делаете; кто вам дал на это право?" — ,,Та любовь,— отвечал я,— которую моя душа к вам преисполнена, и вы в сей день должны решить мою судьбу, или сказать мне, любим ли я вами, или я оставляю Петербург и вас навеки».— Шляпа была в руках, и я делал движение столь страховитое, что она могла думать, что я точно решился уйтить, но в душе моей я желал быть ею оставлен. Но ежели бы она изъявила упрямость, то точно бы я уже у ней не был и уехал бы из Петербурга.— Она взяла мою руку, принудила меня возле

себя сесть, и я схватил несколько поцелуев, за которые она уже ничего не говорила, а только просила, чтобы я не сердился, что ей надобно здраво рассудить о всем мною предполагаемом, что, впрочем, я ей не... не противен... Хорошо, думал я, не все вдруг. Посидев у ней с час, находил свою пользу и в том, чтобы не долее быть с нею, дабы ее заставить желать меня, а не пресыщаться моим присутствием... Она меня просила, чтоб я по крайней мере, оставляя ее так скоро, завтра приехал к обедне в церковь Кабинета, куда она всякое Воскресенье ездит. Эта церковь была на половине пути между ея и моим жилищем. Она тогда жила на Фонтанке возле Семеновского моста, а я при начале Садовой улицы от Фонтанки же. Я наверное положил ее волю выполнить, но ей не дал слова, а сказал, что ежели что не воспрепятствует, то, может быть, и буду, и взяв уже с ее согласия много поцелуев, скрылся из дома, оставив оные засохнуть на ея губах.

На другой день в церковь Кабинета я явился; г-жа Митендорф сколько набожно ни стояла перед алтарем, но часто к дверям поглядывала, наконец, увидела своего земляка (г-жа Митендорф была, как и Пишчевич, по происхождению из сербов.— *О. Ч.*) и на лице ее удовольствие изобразилось. По окончании обедни она меня пригласила в свою карету, чтоб ехать к ней обедать. С нею была еще одной бедной мещанки дочь, девочка лет 10, прекрасная собою, которую она у себя содержала и учила сама ее читать по-французски. Надобно было видеть удивление этой малютки, когда мы в карете, забывшись, не щадили друг другу поцелуев. Я по ее лицу мог догадаться, что ей не случалось видеть свою благодетельницу в таком положении. Она то улыбалась, то глядела на нас, то из кареты. С сего времени, когда я приходил к г-же Митендорф, то она всегда спешила ее возвестить о приходе чернобрового, так сия малютка меня называла...

На другой после этого день я приехал к г-же Митендорф и без дальних околичностей объяснил ей, что я не довольствуюсь одними уверениями ее ко мне любви, что мне нужны сильнейшие доказательства, что да или нет, решить посещать ее или оставить. Она, видя толико наглый приступ, а при этом мои ей оказуемые ласки, поцелуи, страх, чтоб я не уехал, не знала, ни что говорить, ни что делать. Я, чтобы больше ее убедить, сказал: ,,Вижу ваше несогласие, вижу, что вы, заведя меня в свои сети, хотите мною играть. Я долго обманут быть не могу, оставлю вас, но в знак нашей дружеской связи прошу вас, подарите меня вашими волосами“».

Бедная, загнанная в угол г-жа Митендорф исполнила его просьбу и отрезала прядь, а он продолжал игру: «Стало быть, вы, мне их отдавая, хотя не говорите, но соглашаетесь на мой отъезд».— «Боже сохрани,— отвечала она,— ежели вы уедете, я за вами последую, детей не имею, мой муж не есть мне муж».— «Я понимаю,— отвечал я,— что вы им недовольны и...» — «Все не то, все не то,— прервала она мою речь,— вы, может быть, с трудом поверите, но ежели бы я могла вас уверить, то, может быть, вы бы мою к вам страсть сочли слабостью, но не тою, которая ведет на путь тот, где должно лишиться чести. Я крепко в вас обманулась, ваш наружный смирный вид, который вы являете перед женщиной в первый раз, меня обольстил и обманул, но теперь я вижу, что вы в своих замыслах из смиренного вдруг превращаетесь в предприимчивого. Это открытие однако ж не умаляет ни моей доверенности к вам, ни любви. Я вас люблю и все сделаю для вас... Прошу вас, обождите, дайте времени все устроить, я ваша. Не уезжайте, не оставляйте меня».

И тут жизнь срежиссировала так, чтобы мы увидели этих двоих со стороны. В самый разгар объяснения приезжает приятельница г-жи Митендорф, «застает нас хотя и не близко один к другому сидящих, но видит г-жу Митендорф растрогану, держащую платок пред глазами, меня тоже сконфужена. Она на нас смотрела глазами,

преисполненными удивления, не знала, что начать. По виду нашему мы походили на таких любовников, которые предались последней слабости, но мы были одержимы совсем другими чувствами. Я, видя это, вышел в другую комнату, потом опять вошел к ним, и видя, что мое присутствие более заставляет их молчать, и потому оставил их и приехал на мою квартиру. Здесь я предался разным размышлениям на счет всего мною слышанного от г-жи Митендорф, но всего чуднее то, что с сей минуты я взял себе в голову на ней жениться и развесть ее с мужем. Чудная мысль! и еще чуднее, что обстоятельства произвели все это в действие».

Последний раз мы увидим нашего героя в пути и весьма опасном.

На этот раз он едет в свою деревню с бывшей г-жой Митендорф, а ныне г-жой Пишчевич — они все-таки добились развода, а тут случилось так, что умер суровый отец Александра, и молодой офицер, таким образом, вместе с братьями и сестрами наследует деревню. В эту-то деревню они теперь и едут.

Выехав из Витебска, дня через два «в дремучем лесу увидели плотину, в средине разнесенную водою, и каскада нам представлялась самая страшная. Казалось, что до нас тут ездили, спросить не у кого было, остановиться негде, мороз давал себя чувствовать, что ночью лютость свою умножит; надлежало решиться, проехать каскаду настоящую. Ямщик спросил у меня: ,,Что, барин,— как быть, а ехать худо".— Я ему отвечал: ,,Ударь по лошадям; Бог милостив!" — Извощик выполнил мою волю. Доехав до пропасти, лошади так углубились в воду, что одни головы были видны, в кибитку вода вошла, и доставало одной несчастной минуты, чтобы сильная волна опрокинула кибитчонку, тогда прощай я, жена и дитя, которое в ее утробе было и которое после вышло — милая Любовь, старшая наша дочь. Но извощик, при столь очевидной опасности не потеряв бодрости, ударил, крикнул на лошадей и они, сделав усилие, выхватили нас из пропасти. Извощик, перекрестившись, сказал: ,,Родясь такого страха не видал"».

Это одно из самых сильных описаний русской дороги, не раз воспетой и проклятой. Кажется, нет мемуаров, где не встречалось бы погибельных переправ, невозможно крутых для лошадей откосов, вязкой, засасывающей колеса грязи (и каковы же работники, каковы же герои должны были быть русские ямщики!). Дорога часто становится хозяйкой русской жизни, подчас даже более могущественной, чем русский самодержец (во всяком случае, Николай I как-то опрокинулся в коляске на одной из дорог своей империи, повредил руку, и оказавшись без всякой свиты, вынужден был долго сидеть на обочине, ожидая, когда приведут подмогу). Словом, на пути гоголевской птицы-тройки должно было встать немало препятствий в виде грязевых омутов, разрушенных мостов, оврагов и водоворотов.

И, знаете, иногда русский XVIII век предстает мне похожим на свои дороги, настолько он в водоворотах страстей, в столкновении противоречий, в вязкой толще неразрешимых проблем.

Старое сталкивалось с новым, да так странно, что порой и не поймешь, на чьей мы стороне. Разница в миропонимании и мироощущении, перепад в уровне образования, готовность одних осмеять традиции, которые для других были святыней,—все это не могло обойтись без столкновений, очень болезненных.

Тут мы обращаемся к редкому образцу мемуаристики XVIII века— воспоминаниям женщины незнаменитой, принадлежащей не к высшему кругу аристократии, но к самому бедному дворянству сибирской глуши. Ее мемуары дают нам драгоценную возможность заглянуть в глубь семейных отношений того сложного

переходного периода, каким был XVIII век. Это Анна Евдокимовна Яковлева, по первому мужу Карамышева, по второму Лабзина (1758-1828).

Важно ее детство. Она в пять лет лишилась отца, до тринадцати жила в глухой деревеньке (где-то между Екатеринбургом и Челябой). Духовный мир дома был насквозь пропитан ощущением таинственного и потустороннего. Мать ее была человеком суровым, страстным, приверженцем одной идеи. Когда умер ее муж, она страдала невыносимо, до галлюцинаций — умерший являлся ей каждый день, а когда ей говорили, что это ей кажется, она приходила в бешенство, возненавидела всех, кто, как она думала, мешает ей видеться с мужем (в том числе и родных детей), а выздоровела тоже не без участия мистики: ей приснился старичок, который объяснил, что под видом мужа к ней приходит злой дух, она проснулась с криком, в слезах — и с тех пор всю страсть свою обратила на детей. Любимую дочь она воспитывала неистово, сурово, она, пишет Анна Евдокимовна, «меня учила разным рукодельям и тело мое укрепляла суровой пищей и держала на воздухе, не глядя ни на какую погоду; шубы зимой у меня не было; на ногах, кроме нижних чулок и башмаков, ничего не имела; в самые жестокие морозы (вспомним, что это все же Сибирь.— *О. Ч.*) посылывала гулять пешком, а тепло мне все было в байковом капоте. Ежели от снегу промокнут ноги, то не приказывала снимать и переменять чулки: на ногах и высохнут. Летом будили меня тогда, когда чуть начинает показываться солнце, и водили купать на реку. Пришедши домой, давали мне завтрак, состоящий из горячего молока и черного хлеба; чаю мы не знали». Воспитание шло в духе строгого благочестия, к которому нам тоже полезно приглядеться,—мы его совсем не знаем. «После этого я должна была читать Священное писание, а потом приниматься за работу. После купания тотчас начиналась молитва, оборотясь к востоку и ставши на колени; и няня со мной — и я прочитаю утренние молитвы; и как сладостно было тогда молиться с невинным сердцем! И я тогда больше Создателя моего любила, хоть и меньше знала просвещения; но мне всегда было твержено, что Бог везде присутствует, и он видит, и знает, и слышит, никакое тайное дело сделанное не останется, чтоб не было обнаружено, то я очень боялась сделать что-либо дурное... Часто очень сама мать моя ходила со мной на купание и смотрела с благоговением на восход солнца и изображала мне величество Божие, сколько можно было по тогдашним моим понятиям. Даже учила меня плавать в глубине реки и не хотела, чтоб я чего-нибудь боялась,— и я одиннадцати лет могла переплывать большую глубокую реку безо всякой помощи; плавала по озерам в лодке и сама веслом управляла; в саду работала и гряды сама делывала, полола, садила и поливала. И мать моя со мной разделяла труды мои, облегчая тягости те, которые были не по силам моим; она ничего того меня не заставляла делать, чего сама не делала».

Такое воспитание дворянской девочки было необычным. «Говаривали моей матери,— продолжает Анна Евдокимовна,—для чего она меня так грубо воспитывает, то она всегда отвечала: «Я не знаю, в каком она положении будет; может быть и в бедном, или выйдет замуж за такого, с которым должна будет по дорогам ездить: то не наскучит мужу и не будет знать, что такое прихоть, а всем будет довольна и все вытерпит — и холод, и грязь, и простуды не будет знать. А ежели будет богата, то легко привыкнет к хорошему...» Важивала меня верст по двадцати в крестьянской телеге, заставляла и верхом ездить, и на поле пешком ходить — тоже верст десять. И пришедши, где жнут, захочется есть: и прикажет дать черного хлеба и воды, и я с таким вкусом наемся, как будто за хорошим столом. Она и сама мне покажет пример, со мной кушает и назад пойдем пешком...

Зимой мы езжали в город. Там была другая наука: всякую неделю (мать) езжала

и хаживала в тюрьмы, и я с ней относила деньги, рубашки, чулки, колпаки, халаты, нашими руками с ней сработанные. Ежели находила больных, то лечила, принашивала чай, сама их поила, а более меня заставляла. Раны мы с ней вместе промывали и обвязывали пластырями... Пища в тюрьмы всякий день от нас шла, а больным — особо легкая пища. Всякую неделю нищих кормили дома, и она сама с нами им служила у стола; и как расходятся, оделяла их деньгами, рубашками, чулками, башмаками, или — лучше сказать — кто в чем нуждаться имел... Когда умирали в тюрьмах, то наши люди посланы были тело обмывать и похороны были от нас... Случается там часто, что на канате приведут несчастных, в железах на руках и на ногах, то матери моей всегда дадут знать из тюрьмы, что пришли несчастные, и она тотчас идет, нас с собой [берет], несет для них все нужное и обшивает холстом железа, которые им перетирают ноги и руки до костей. А если же увидит, что в очень плохом положении несчастные и слабы, то просит начальников на поруки к себе и залечивает раны. Начальники никогда ей не отказывали, потому что все ее любили и почитали». Тут уместно вспомнить, что доктор Гааз, один из добрейших людей на земле, знаменитый ,,тюремный доктор" первой половины XIX века (он умер в 1853 г.), всю свою жизнь посвятивший тому, чтобы облегчать страшную участь узников, придумал обшивать кандалы тканью, чтобы они в жару и мороз не жгли руки и ноги, чтобы не перетирали их до костей. Мать Анны Яковлевой догадалась делать это лет за сто до Гааза.

В ходе этой жизни, такой простой и деятельной, между матерью и дочерью возникали неразрывные связи, и материнское влияние было огромно. «Я же о себе скажу, что моей собственной воли нимало не было, даже желания мои были только те, которые угодны были моей милой и почтенной матери. Я не помню, чтоб я когда не исполнила ее приказания с радостью. Зато я была ею любима, хотя она не показывала часто больших ласк; но уж зато сколько я ценила ее ласки, когда она меня ласкала за сделанное какое-нибудь доброе дело: у меня от радости слезы текли, и я целовала руки матери моей и обнимала колени ее; а она благословляла и говорила: ,,Будь, мое дитя, всегда такова"».

В жизни маленькой Анны великую роль играла и еще одна женщина — няня (о русских няньках и их роли в развитии общества можно было бы, я думаю, написать целую книгу). «Я не меньше и почтенную мою няню любила, так как я с ней чаще бывала. Своими добрыми примерами и неусыпным смотрением не только что замечала мои дневные действия, даже и сон мой, как я сплю; и на другой день спрашивала меня: «Почему вы сегодня спали беспокойно? Видно, вчера душа ваша не в порядке была, или вы не исполнили из должностей ваших чего-нибудь?..» И я тотчас ей со слезами во всем признавалась и просила ее скорей за меня вместе со мной помолиться... По окончании молитвы я обнимала ее и говорила, что мне теперь очень весело и легко... И она умела из меня сделать то, что не было ни одной мысли, которая б не была ей открыта».

Девочка — так говорит она сама через много лет — жила счастливо «с почтенной матерью» и няней, «неоценимой благодетельницей». Но вот в ее детский мир, такой прочный и ясный, стала проникать тревога — заболела мать. Она «начала чувствовать разные болезни и частые припадки, так что, видимо, приближалась к гробу. И наконец, уж и ходить с нуждою могла, что меня чрезвычайно страшило».

В это самое время в их дом и приехал Александр Матвеевич Карамышев.

Он происходил из «сибирских дворян» (которые настоящими дворянами не были, но имели право владеть крепостными, в разных уездах ему принадлежало всего 19 душ). Воспитывал его отец Анны Е. Я. Яковлев, он же отдал мальчика в гимназию

при Московском университете, откуда юноша перешел в Московский университет и уже через два года был послан в Швецию «для обучения горных и плавиленных наук». Образование, полученное в Упсальском университете, было очень широким, достаточно сказать, что Александр Карамышев работал под руководством знаменитого Линнея. Но мысли молодого ученого были отданы отечественной науке, в его диссертации, защищенной в Упсале, излагалась мысль о необходимости развития в России «естественной истории». И вот этот молодой человек, блестяще образованный, знавший языки, соприкоснувшийся с вершинами европейской науки, талантливый ученый, неутомимый практик (он специалист горного дела и минералог) в 1771 году вернулся на родину. Надо ли говорить, что он стоял на передовых рубежах века, что ум его освободился от векового гнета религии, горизонты раздвинулись — по тому времени безбрежно. С ним в узкий полудеревенский мирок, пронизанный не только набожностью, но и прямыми суевериями, должен был ворваться свежий ветер вольнодумства. Посмотрим же, как он ворвался.

Вернувшись в родную Сибирь, Александр сразу же отправился в семью Яковлевых (откуда уехал 16 лет назад) и попал как раз в то горестное время, когда стало ясно, что мать Анны уже не встанет. Умирающая понимала, что девочку в тринадцать лет рано выдавать замуж (хотя это и делалось сплошь да рядом), но иного пути у нее не было: она уходила, оставляя дочь одну (братья ее были моложе) в мире беззакония и произвола, когда любой сильный человек мог захватить земли слабого (и распахать их, и засеять, и всю жизнь собирать с них урожай, пока идут суды, если они вообще идут). Жизнь была опасна, не оставалось ничего другого, как отдать дочь в семью близких друзей, замуж за человека, который был обязан их дому и воспитанием и судьбой. Матери становилось все хуже, наконец, она позвала к себе девочку, объяснила ей положение дел и успокоила: пока она жива, Анна, пусть уже и замужняя, с ней не разлучается и потом при ней всегда будет ее няня. «Слушая мою мать, у меня дух спирался; и она, приметивши мою тягость, перестала со мной говорить, обняла меня, заплакала и сказала: «Необходимость меня заставляет сие сделать...» И я пошла от нее со стесненным сердцем; слез у меня не было, а только в груди было тяжело, и сия тягость продолжалась до самого того дня, в который моя участь совершилась. Впрочем, могла ли я знать еще сей великий шаг в моей жизни? Мне было тринадцать лет».

Для нас весьма любопытны те поучения, которые давала маленькой Анне рано поутру в день свадьбы ее мать. Она «посадила меня возле себя и начала говорить: ,,Теперь, мой друг, тот день, в который ты начнешь новую жизнь. И ты уже не от себя будешь зависеть, а от мужа и от свекрови, которым ты должна беспредельным повиновением и истинною любовью. Ты уж не от меня будешь принимать приказания, а от них. Моя власть над тобой кончилась, а осталась одна любовь и дружеские советы. Люби мужа твоего чистой и горячей любовью, повинуйся ему во всем. Ты не ему будешь повиноваться, а Богу — он тебе от Него дан и поставлен господином над тобой. Ежели бы он и дурен бы был против тебя, но ты все сноси терпеливо и угождай ему, не жалуйся никому: люди тебе не помогут...“»

21 мая 1771 года состоялась эта свадьба двадцатисемилетнего ученого с полудеревенской девочкой.

«И жили мы в деревне неделю после свадьбы, — продолжает Анна Евдокимовна, — но болезнь моей матери увеличилась и принуждала везти ее в город: расстояние невелико — 90 верст. Но она была так слаба, что всякое малое движение причиняло ей жестокое мучение. И тут началась первая моя горесть, что мне муж мой не позволил с ней сесть в карету, и я с горестными слезами повиновалась ему, ни слова не говоря. И

сия дорога была для меня мучительна: умерли во мне все радости, и я, кроме скорби душевной, ничего не чувствовала, и мысли мои беспрестанно были при больной. Кто ее теперь успокаивает? Она привыкла быть со мной, и я облегчала ее болезнь. Этот жестокий человек лишает ее сего последнего утешения при конце ее. Я так тогда мыслила. Одне слезы облегчали мою тягость; муж мой и за слезы на меня сердился и говорил: ,,Теперь твоя любовь должна быть вся ко мне, ты теперь для меня живешь, а не для других“. Я спросила: ,,Разве можно кончиться моей любви к той, которая мне дороже всего в мире? Меньше ли ты любишь мать свою с тех пор, как женился. Все в свете для тебя сделаю, кроме сего!“ Он отвечал, что: ,,Ты еще не знаешь тех великих обязанностей, которые ты должна иметь к мужу, то я тебя научу!“ И сказал таким голосом, что у меня сердце замерло от страха». Но постойте, ведь передовой Карамышев высказывает точь-в-точь те же мысли, что и отсталая, на ветхозаветных образцах воспитанная мать Анны: та же идея безропотного повиновения жены мужу, только умирающая говорила о любви и с любовью, а этот — с угрозой, с жестокостью, да еще в минуты, когда на девочку надвигалась непоправимая беда.

«И сказал таким голосом, что у меня сердце замерло от страха. И я замолчала, но слез остановить не могла. С нами сидела его любимая племянница, которая смеялась моей горести и ему говорила: ,,Я удивляюсь, что вы не уймете ее: мне уж скучно смотреть на ее пустые слезы!“ Он сказал: ,,Погоди, мой друг, будет еще время. Я в дороге не хочу начинать ничего“».

Между тем с любимой племянницей Карамышева в наш рассказ вторгается еще одна тема. В этой племяннице вообще заключалась большая странность: по приезде в город оказалось, что она остается у них ночевать и не где-нибудь, а именно в супружеской спальне. «Я молчала,— рассказывает Анна Евдокимовна,— а няня моя зарыдала и вышла вон, сказавши: ,,Вот участь моего ангела“. Муж мой чрезвычайно рассердился и сказал мне: ,,Ты с ней навсегда расстанешься и запрещаю тебе с ней говорить и чтобы она при тебе никогда не была!“ А племянница ему сказала: ,,Я боюсь, чтоб она не сказала вашей матушке, то не лучше ли будет ее отправить в деревню тотчас?“»

С няней расправиться было просто: она была крепостная. Маленькая Анна стала клясться, что никто никому ничего не скажет, умоляла оставить няню у больной (нельзя отнимать последнее у умирающей), Карамышев, отложив репрессии, ушел спать, а его молодая жена, найдя няню, стала спрашивать у нее, как ей теперь быть. Дома ей внушили идею беспрекословного повиновения и покорности, теперь опять требуют повиновения и покорности, но если смысл материнских приказаний ей был понятен и близок, то приказания мужа были ей не только непонятны, но и немыслимы.

«Видно, я теперь совсем в другой школе»,— печально сказала девочка.

Ей не спалось, и она решила пойти посмотреть, спокойно ли спит ее муж, она действительно «нашла его покойно спящего на одной кровати с племянницей, обнявшись. Моя невинность и незнание были так велики,— пишет Анна Евдокимовна,— что меня это не тронуло, да я и не секретничала. Пришедши к няне, она у меня спросила: «Что, матушка, каков он?» Я сказала: «Слава богу, он спит очень крепко с Верой Алексеевной, и она его дружески обняла». Няня посмотрела на меня очень пристально и, видя совершенное мое спокойствие, только очень тяжело вздохнула».

Они с няней не спали всю ночь, вот уже и рассвело и настало утро, встал, наконец, и Карамышев. «Няня пошла приготовлять чай, а он сел подле меня. Я хотела ему показать, что я им интересовалась, и с веселым лицом сказала: «Я ходила тебя смотреть, покойно ли вы почиваете, и нашла вас в приятном сне с Верой Алексеевной; и так я, чтоб вас не разбудить, ушла в спальню». И вдруг на него взглянула: он весь

побледнел. Я спросила: «Что ему сделалось?» Он долго молчал и, наконец, спросил, одна я была у него или с нянькой? Я сказала: «Одна»,— и он меня стал чрезвычайно ласкать и смотрел мне прямо в глаза. Я так стыдилась, что и глаз моих на него не поднимала».

Замечательная по психологической точности сцена. И взгляд Карамышева — лживый взгляд прямо ей в глаза, и стыд девочки от этого непонятного ей взгляда и неожиданной (она же чувствовала, что предательской) ласковости. Все именно так и было, такого придумать нельзя.

Карамышев был сбит с толку. «Я не знаю, хитрость это или невинность»,— сказал он. Но и этого его замечания Анна тогда не поняла. Она очень удивилась, когда няня стала просить, чтобы она ничего не говорила мужу о своем ночном посещении. «Для чего? — сказала Анна.— Я не могу от него ничего скрывать. Я уж и сказала ему». «Да не сказали ли вы, что я знаю?» — с тревогой спросила няня. «Нет»,— ответила девочка. «Так я вас прошу, не говорите, если вы меня любите». Бедная няня, сколько сил приложила она к тому, чтобы вырастить правдивую, благородную девочку, и вот теперь вынуждена была учить ее лгать!

Нет, не могла понять юная Карамышева такой «мудреной жизни» и принялась упрекать взрослых за то, что они ее к этой жизни совсем не приготовили, но взрослые, ее окружавшие, и сами о возможности такого не подозревали. Им был непонятен этот высокоученый представитель новой формации и нового мировоззрения.

Тогда юная Карамышева восстала: она заявила, что не поедет с мужем к месту его нового назначения в Петрозаводск. Это решение как громом поразило и добрую ее свекровь, да и всю родню с обеих сторон. Поднялись отчаянные — действительно отчаянные! — вопли: «Кто дал тебе сие право располагать своей участью?» Девочке сказали страшные слова: «Ты идешь против бога». Свекровь пала перед ней на колени, заклиная ее прахом матери (а мы знаем, что значила для Анны память ее матери) — не совершать столь тяжкого греха. Оказавшись между двумя мировоззрениями, как меж двух жерновов, душа бедной девочки перемалывалась в невероятных страданиях.

Карамышев. Перед нами яркая личность, человек признанного мастерства, крупный ученый. Приехав в Россию, он сразу пожалован в звание маркшейдера (что соответствовало рангу капитан-поручика), направлен в Петрозаводск руководить работами олонецких заводов, затем в Екатеринбург «для верного сведения о золотых рудниках» (получив в 1772 году чин бергмейстера «за отличное в горном искусстве знание и отменное усердие»); за этим следовала экспедиция на Медвежьи острова «для разработки горных мест»; потом его вызвали в Петербург, где он стал преподавателем только что открытого горного училища (ныне знаменитый Горный институт, где, кстати сказать, вышла в свет книга о Карамышеве). Неутомимый работник. Он преподает, работает в берг-коллегии, занимается химическими опытами, пишет работы по химии, технологии, сельскому хозяйству (в частности, для трудов Вольного экономического общества, где получает медаль за свою работу); в 1779 году он избран членом-корреспондентом императорской Академии наук (его заслуги признаны за границей). И это быстрое продвижение по службе определено не ходатайством тетушек, но собственным трудом и талантом.

Замечательный по сложности характер написан пером мемуаристки. Он мог быть привлекательным и светлым, этот человек. Вот молодые путешествуют одни (родня все же настояла, и племянница Вера Алексеевна, тоже, кстати, рыдающая, осталась дома). «Уже в пути,— рассказывает Анна Евдокимовна,— Карамышев начал делаться время от времени лучше ко мне и ласковей, и я его начала любить. В четыре месяца, что мы тут прожили, я от него косого вида не видела, и любовь моя час от

часу к нему умножалась, и он это видел». Из Петрозаводска они отправились в Олонецк. «Приехавши, мужа моего отрекомендовали на Медвежий остров, и я от него не отстала (вот оно, воспитание, данное матерью.— *О. Ч.*). Приехавши на остров, я, женщина, одна, без девки, но любовь моя к мужу все препятствия и скуки превозмогала. И дорога была очень беспокойна: шли в одном месте пешком 12 верст, лодки люди на себе тащили; по мхам, называемым «тундра» (сверху мох, а внизу вода), то по колено ноги уходят в воду; и я с радостью все трудности делила с ним. А сей трудный вояж был по причине больших порогов, через которые никак нельзя было ехать в лодках. И я чрезвычайно утешалась, видя мужа моего обо мне заботившегося; и в некоторых местах, где уж очень дурно было итти, он сам меня на руках нес. И жили мы на острове девять месяцев, и я ни разу не поскучала, евши гнилой хлеб, пивши соленую воду, стиравши сама белье, и варила на всех рыбу». Юная жена (ей было лет четырнадцать) «сиживала в хорошее время на берегу моря с книжкой или с работой и дожидалась обедать. Увидя их, шедших домой, я с радостью на встречу бежала и обнимала мужа моего, который отвечал на мои ласки самым дружеским приветствием, что меня более всего занимало и утешало. По вечерам-то это северное сияние; я эдакого величества никогда не видала: являются на небе разные ландшафты — строения, колонны, дерева разных цветов и в тихом мире все это, как в зеркале, видно. И я часто, смотря, вспоминала: «Ах, ежели бы теперь со мной были друзья мои: как бы они представили мне величество Божие, и я бы себя чувствовала радостней». Иногда эта мысль заставляла меня плакать. Один раз приметил мой муж, что у меня красные глаза, и спросил, об чем я плакала? Я тотчас ему сказала свои мысли: мне были они никогда скрыты во внутренности моей от него».

Карамышеву не было никакого дела до «величества Божия» (его, надо думать, куда больше занимала загадка физического явления), но он промолчал. Они жили вне тех мировоззренческих систем, которые до сих пор их разлучали, одни — просто, спокойно и счастливо.

Но вот молодые вернулись в Петербург, где остановились в доме Михаила Хераскова, того самого, который написал «Чесмесский бой» (тогда он был вице-председателем берг-коллегии, начальником Карамышева), и его жены Елизаветы Васильевны, известной в то время писательницы.

Две полярные системы взглядов принялись испытывать на разрыв молодую семью. Херасков, который Анну полюбил и заменил ей отца, энергично поддерживал прежнюю, очень строгую систему воспитания, вел ту же проповедь совершенной покорности и нравственной чистоты, учил, как некогда и мать, никому не жаловаться на мужа (то же: «помочь тебе никто не сможет»). А Александр Матвеевич, продержавшись некоторое время в границах добродетели, начал понемногу сползать в мир кутежей, карточной игры, продажных женщин, а с отъездом Хераскова в Москву и вовсе покатился. «Наконец и у нас в доме началась карточная игра, и целые дни и ночи просиживали. И можно себе представить, что я слышала: шум, крик, брань, питье, сквернословие; даже драки бывали!.. Когда они расходились, то на мужа моего взглянуть было ужасно: весь опухши, волосы дыбом, весь в грязи от денег, манжеты от рукавов оторваны; словом — самый развратный вид, какой только можно видеть! Сердце мое кровью обливалось при взгляде на него». Когда все бывало пропито, семью выручал из беды их крепостной — ссужал деньгами, рыскал по городу в поисках пьяного Карамышева (особенно, когда того требовало начальство) и, плача, стыдил своего барина. А тот сперва врал и изворачивался, а потом сам начинал плакать, умоляя слугу не оставить его матери и жены.

Но когда к юной Анне пришли сказать, что мужа ее видели в местах, «где с

девками бывают собрания», она слушать не стала, сказала, что не верит этому, хотя отлично знала, что это правда.

А самого Карамышева шатало от трудов к беспутству, от научной работы в загул. Но ведь его образ жизни был определен именно его жизненной философией — воспоминания его жены не оставляют никаких в том сомнений. Разгул был программным, основанным на новом мировоззрении. Однажды, когда жена стала грозить ему божьим судом, он рассмеялся и сказал: «Как ты мила тогда, когда начинаешь философствовать! Я тебя уверяю, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное, и я не подвержен никакому ответу». Поведение Карамышева было обусловлено тем новым учением, которое боготворило природу, «естественного человека», славило раскрепощенность чувств и красоту «натуральных» влечений.

Взгляды свои Карамышев излагал не только в запальчивости, но и в спокойном добром разговоре — бывали и такие. «Я не знаю, любишь ли ты меня,— сказала ему однажды жена,—... если б ни мать твоя и данные мне правила моим благодетелем (Херасковым.— *О. Ч.*), то я не знаю, что бы из меня вышло».— «А что ж бы из тебя вышло? — ответил он.— Только то, что и ты себе нашла по сердцу друга, с которым бы ты могла делить время. Я сам тебе позволяю, и ежели хочешь, то я сам тебе выберу. Выкинь, мой друг, предрассудки глупые, которые тебе вкоренены глупыми твоими наставниками в детстве твоем! Нет греха и стыда в том, чтоб в жизни нашей веселиться! Ты все будешь — моя милая жена, и я уверен, что ты вечно меня любить будешь. А это временное удовольствие».

Но его программа, основанная на новых веяниях, была немыслима для того мира, который воспитал Анну, вот почему эти двое никак не могли договориться и страдали оба. Однажды Александр Матвеевич в отчаянии сказал ей: «Твое сердце может открыто быть — оно чисто, а я не могу: мне надо скрывать, что в нем происходит!» — обнял ее и ушел. Такие порывы раскаяния нередко охватывали его, он многое тогда понимал, жалел жену и говорил: «Видно, я сотворен для твоего несчастья! Ты, кроме огорчения, еще ничего от меня не видела: я умел у тебя все любезно отнять, а дать ничего не могу. Но веришь ли, что я тебя люблю и что ты для меня драгоценна». В ответ молодая жена только тяжело вздыхала; она уже давно поняла, что муж ее «безо всякого закона и без правил».

Новорожденная идеология нередко бывает агрессивна. Чувствуя поддержку сотен и тысяч умов, опьяненных новизной, ощущая опору в самом времени, она с презрением смотрит на тех, кто ее не разделяет и не принимает. Карамышев был твердо убежден, что чистота и стыдливость его жены не что иное, как, говоря современным языком, «пережитки проклятого прошлого», и неукоснительно осуществлял собственную программу. Куда бы супруги ни приезжали, всюду он пускался в любовные похождения, а поскольку дожидаться (как Пишчевич) влюбленных женщин ему было недосуг да и неинтересно, он довольствовался первыми попавшимися («ему все равно, была красавица ли, или безобразная, лишь бы была женщина»), причем стал делать это открыто, не стесняясь окружающих, «никому не спускал — ни бабам, ни девкам, которые его часто толкали и называли самыми неприятными именами; но ему не стыдно было; только всегда запрещал им мне сказывать и грозил высечь плетьми». Оказывается, в арсенале нашего просвещенного вольнодумца плети тоже были предусмотрены.

Конечно, Карамышев выражает новые идеи в их искаженном виде и проводит в жизнь с явным перехлестом, но есть все основания предполагать, что в этом он был не одинок. Не следует забывать и о том, что он все же принадлежал к высшему

культурному слою общества, длительное время обучался за границею, был образован, общался с людьми большой культуры. Нетрудно представить себе, с какими искажениями идеи Просвещения отражались в менее образованных головах.

Бесконечно интересно было бы заглянуть в лицо Карамышева, но портрета его не сохранилось (впрочем, наши музеи полны неопознанных портретов XVIII века, и очень может быть, что Карамышев смотрит на нас из какой-нибудь рамы, на которой написано: «Портрет неизвестного»). Можно, однако, с уверенностью сказать, что он был бы изображен со всеми знаками своей профессии, в спокойном сознании своего мастерства, и не было бы на его лице ни тени разлада, душевной раздвоенности. Именно перо мемуариста, но не кисть художника, дает нам возможность заглянуть в глубины темной, смятенной, несчастной души.

Зато Анну Евдокимовну изображали много, потому что после первого, столь мучительного брака, овдовев, она вышла замуж за видного деятеля культуры, масона и главу масонской ложи А. Ф. Лабзина, человека, как и она сама, глубоко религиозного (этот брак ее был счастлив). С портретов Лабзиной на нас обычно смотрит крупное, простое, маловыразительное лицо матроны, в нем трудно различить черты той девочки, приметливой и живой, которая встает перед нами в ее записках.

Если заглянуть хотя бы самым поверхностным образом в религиозную жизнь России XVIII века, какая разноголосица идей, чересполосица взглядов, какой разнобой чувств предстанут перед нами! С одной стороны — набожность, подчас очень глубокая, вложенная в душу с млечного детства и растущая вместе с душой (только что по запискам Карамышевой-Лабзиной мы видели, как это происходит). Она могла соединяться с суевериями, подчас самыми дикарскими, причем верования высшей знати порой мало отличались от верований мужика какой-нибудь дальней деревеньки.

В своих воспоминаниях Екатерина рассказывает, как однажды в Петергофе императрица Елизавета ждала их (то есть Екатерины и ее мужа) прибытия. Из окон дворца было видно бурное море, в нем бился какой-то корабль. Елизавета решила, что ее племянники плывут как раз на этом корабле, была в отчаянии и, наконец, приказала принести святые мощи, «поднесла их к окну и делала ими движения, обратные тем, какие делало боровшееся с морем судно», — происходило нечто сродни первобытной магии.

А вот какую удивительную историю уже в XIX веке вспомнила и рассказала Е. А. Нарышкина. Прабабка ее мужа Наталья Александровна Нарышкина была подругой царицы Прасковьи Федоровны (жены царя Ивана, брата Петра), при которой жил некий блаженный старец, художник Тимофей Федорович. Однажды после его смерти Наталья Александровна молилась ночью о сохранении своего рода (за чью судьбу боялась ввиду реформ ненавистного ей Петра), о том, чтобы этот род всегда был верен православию, — и вдруг получила видение: в воздухе показался коленопреклоненный Тимофей Федорович, который поведал ей, что бог предрек гибель ее рода, а он, Тимофей Федорович, умолил бога помиловать Нарышкиных, и тот согласился с одним, однако, условием: род останется невредим, пока в нем будет храниться его, Тимофея Федоровича, борода (так странно было божественное распоряжение).

Наталья Александровна упала в обморок, а когда очнулась, то увидела, что действительно держит в руках длинную седую бороду. Е. А. Нарышкина, выйдя замуж, сама видела эту бороду у свекра, Ивана Александровича Нарышкина (родного внука той Натальи Александровны, которой являлся старец), она хранилась в особом ящичке на вышитой подушке. И вот однажды шкатулка оказалась пустой, бороду искали тщательно, но тщетно. Возникло предположение, что Иван Александрович (как

видно, естествоиспытатель и вольнодумец) поместил в шкатулку свою коллекцию мышей, которые так объели бороду, что он, дабы не было шуму, вовсе ее выкинул еще до переезда их в новый дом на Пречистенке. «Смейтесь легковерию старухи,— говорила рассказчица,—но существование этой бороды, переходившей из рода в род, не подлежит сомнению, потому что я сама ее видела». И как можно было не верить в чудодейственную и охранительную силу бороды Тимофея Федоровича, если та ветвь Нарышкиных, что ее хранила и не сохранила, действительно вскоре прекратилась.

Кто-то сказал, что всякий народ в любой момент своего существования живет в разные времена и разные века. Мысль, верная для любой эпохи. Что же касается эпохи переломной, когда новое мировоззрение (да еще если силой) врезается в старое, сосуществование представлений, характерных для разных веков, разных уровней развития, обозначается особенно четко (и переживается, как правило, мучительно). В одном и том же социальном слое, даже, как мы видели, в одной и той же семье, так и могло быть — жена, хранящая в шкатулке священную бороду, и муж, стравивший эту святыню мышам.

А что являла собой сама Екатерина — вольнодумица и глава православной церкви одновременно?

У нее это соединение несоединимого происходило довольно просто: она строго соблюдала обрядность. Еще при Елизавете, глядя на глупость мужа, позволявшего себе в церкви во время службы самые бестактные выходки, Екатерина сообразила, что православная набожность — лучший козырь в ее крупной игре; ее знаменитое появление у гроба Елизаветы — чисто театральное, в трауре, слезах, с распущенными волосами — произвело сильное и самое благоприятное впечатление, запомнилось (и стало предметом живописи). В отношении церковного обряда она не позволяла никакого вольнодумства. Вот что рассказывает Пушкин со слов екатерининской фрейлины Н. К. Загряжской. «Только два раза видела она Екатерину сердитою, и оба раза на княгиню Дашкову. Екатерина звала ее в Эрмитаж. Кн. Дашкова спросила у придворных, как ходят они туда. Ей отвечали: через алтарь. Дашкова на другой день с десятилетним сыном прямо забралась в алтарь. Остановилась на минуту — поговорила с сыном о святости того места — и прошла с ним в Эрмитаж. На другой день все ожидали государыню, в том числе и Дашкова. Вдруг дверь отворилась, и государыня влетела, и прямо к Дашковой. Все заметили по краске ее лица и по живости речи, что она была сердита. Фрейлины перепугались. Дашкова извинилась во вчерашнем поступке, что она не знала, чтобы женщине был запрещен вход в алтарь.

— Как вам не стыдно,— отвечала Екатерина.— Вы русская и не знаете своего закона; священник принужден на вас мне жаловаться...

Наталья Кирилловна рассказывала анекдот с большой живостью».

Порошин видел, как Екатерина после смотра армии в Красном селе плакала, слушая обедню в сельской церкви (значит, был зритель, для которого стоило плакать). Гаврила Добрынин видел ее в Могилеве во время торжественной службы в соборе по случаю открытия нового наместничества. «Известно, что государыня-императрица,— пишет он,— рождена и воспитана в законе евангелическом, а греко-российский приняла уже пред бракосочетанием. Но с каким достойным зрения благочестием и нравственною простотою предстала она тогда священному алтарю и при важнейших действиях, заключающих в себе таинство греко-восточной церкви, изображала на себе полный крест и поклонялась столь низко, сколь позволяет сложение человеческого корпуса! Сие приметно было всем тогда, и единоверцам и католикам». Но если вспомнить (и если уместно при столь торжественном настроении подобное замечание), что сложение

государыни позволяло ей пальцем ноги почесать у себя за ухом, можно представить, что глубокие поклоны большого труда для нее не составляли.

Но как бы истово не кланялась царица, сочинения Вольтера и других авторов Просвещения (сочинения скептические, рационалистические, а подчас и прямо атеистические), которым она так покровительствовала, вели свою работу в головах ее подданных. Да и сама она время от времени (не прилюдно, разумеется) давала ясно понять свою истинную позицию. Чего стоит, например, одно место в ее переписке с тем же Вольтером во время войны с Турцией. Старый писатель страстно следил за ходом военных действий, давал Екатерине советы, ждал захвата русскими Константинополя, но однажды в их переписке зашел разговор о жестокостях войны. Война нехороша еще и тем, острит Екатерина, что в ходе ее трудно любить ближнего как самого себя. Странные шутки для государыни, которая плачет во время обедни.

Улыбка, насмешливая или снисходительная, по отношению к церковной обрядности — явление частое в среде высшего дворянства. Порошин был сильно шокирован тем, каким тоном за столом у Павла А. С. Строганов, который только что был крестным отцом при крестинах какого-то арапа, отзывался о самом обряде крещения — «не с довольной при Его Высочестве осторожностью». Да и не только знать позволяла себе подобные вольности.

«Вера, не тронутая в своем составе,— пишет в своих воспоминаниях Григорий Винский (к этим воспоминаниям мы еще не раз вернемся),— начинала в сие время несколько слабеть: несодержание постов, бывшее доселе в домах вельможеских, начинало уже показываться в состояниях низших, как и невыполнение некоторых обрядов с вольными отзывами на счет духовенства и самых догматов, чему виною можно поставить теснейшее общение с иностранцами и начавшие выходить в свет сочинения Вольтера, Ж-Ж. Руссо и других, которые читалися с крайнею жадностью. Нравы посему же хотя начали умягчаться, но вместе с тем и распуста становилась виднее». (Умный Винский отчетливо видел двойственный характер явления: благодетельное смягчение нравов, с одной стороны, и вредная распущенность нравов — с другой.)

Конечно, не только общение с иностранцами и даже не только влияние французских просветителей способствовали распространению религиозного скептицизма — «теснейшее общение» с самим духовенством вызывало весьма скептическое отношение к церкви и ее иерархии. Гаврила Добрынин, сирота, выросший по монастырям, видел великое множество духовных лиц, в том числе и очень образованных, в том числе и тех, кому сам был обязан образованием (в частности, и математическим). Но картина общего нравственного состояния духовенства поистине ужасна. Потрясающая сцена описана в воспоминаниях Добрынина.

Однажды в пути на рассвете (это было неподалеку от Чернигова, у Елецкого монастыря) он проснулся от страшного шума. Человек восемь монастырских служителей тащили в сарай женщину, которая «из-под общего их шума просила пощады воплем — как говорят в монастырях,— до неба досязающим. Втащивши ее в сарай, начали тиранить кнутьем. Мученица кричала, пока могла. Потом вытащили ее из сарая и бросили в пустую, тут же стоящую избу и, по-видимому, служащую для эдаких богоугодных употреблений. Верные сии исполнители милосердия на вопрос мой отвечали, что это попадья, которую ее высокопреподобие приказал обсечь от шеи до пят, по жалобе келейного его хлопца... Для чего,— прибавляет Добрынин, оставив на этот раз свой обычный иронический тон,— от начала мира поныне, отныне и до века сильный злодей утесняет бессильного, доброго и никому за то не отвечает».

Трудно сказать, что больше говорит о нравственном состоянии духовенства —

этот поразительной емкости эпизод или та грандиозная картина духовенства пьяного, вороватого, совсем одичавшего от безнаказанности, какую рисует нам мемуарист.

Однажды тот самый севский архиерей, при котором Добрынин служил протоколистом, совсем одурев от пьянства, стал ночью ломиться к нему в дверь. Добрынин, поняв, «что сие нашествие не есть иноплеменных, но своих домашних неприятелей», и «положив твердое и непременное намерение обороняться всеми силами в стенах своей комнаты, не сдаваться ни на какую капитуляцию», а также «призвав на помощь дух древних рыцарей», выставил в окно ружье, «из которого никогда не стреливал», и «глава епархии в молчании сделал отступление», приказав, однако, запереть Добрынина и поставить под его окном часовых (сам же духовный пастырь уехал обедать).

Среди всей этой пьяной буффонады наш автор, оказавшись под замком, сел и принялся рассуждать. «Бедное и бедствующее творение человек! Его мысли, его резкая, мучительная и даже ядовитая чувствительность, так как и приятные иногда минуты и самая жизнь кажутся ему неограниченными временем; но, в самом деле, одна уже во мрачный ужас облеченная смерть достаточна его просветить, что обитаемый нами шар не имеет ничего прочного! Так что же я мог прочнее для себя примыслить?»

И тут же он делает примечание к самому себе: «В сем месте богословы имеют свой долг вспыхнуть: «Чем смерть ужасна? А вера где?» Ответствую: «Вера при мне и неприятность смерти и чувствование горестей в жизни при мне и при богословах».— «Эта маловерие, ета не вера!»— опять закричат. Ответствую: «Споров и умствований на свете много, а чувствительность сердца одна. Одна и столь благородна, что она не любит, когда ее с пути сбивают».

Архиерей, скажем попутно, сам пришел к Добрынину, долго сидел, «вел продолжительный и постоянный разговор. Мне приписывал вспыльчивость, а о себе помалкивал, как будто он прошедшей ночи и прошедших дней, недель, месяцев, годов,— не он был».

Рассуждение Добрынина на религиозную тему — образец истинного чувства собственного достоинства, достоинства мужественной мысли. Немалые душевные силы нужны человеку, чтобы бесстрашно жить, имея в перспективе совершенную без надежды на загробную жизнь смерть, куда комфортней полагать себя и своих близких бессмертными (недаром же Герцен называл материализм мужественным мировоззрением). Молодой протоколист Добрынин, запертый своим пьяным архиереем, несмотря на комичность ситуации, рассуждал очень серьезно, понимая всю сложность жизни с ее «резкой, мучительной и даже ядовитой чувствительностью» (каковы слова!), всю трагичность проблемы. Религия с ее бессмертием души его не утешает, потому что он принадлежит жизни. И его ответ воображаемым оппонентам — «споров и умствований на свете много, а чувствительность сердца одна» — ставит отвлеченные суждения о жизни на второе место после живых суждений сердца. Кстати, «споры» и «умствования», иначе говоря, сопоставление различных философских и богословских систем и взглядов всегда приводило к некоему освобождению сознания, его независимости (богословский текст переставал быть предписанием, а становился как бы предметом исследования),— недаром Потемкин так любил приглашать к себе духовенство разных вероисповеданий, сталкивать их друг с другом и внимательно слушать их споры.

Гаврила Добрынин атеистом не был («вера при мне»): религиозность в среде дворянства была очень распространена, но принимала различные формы. Иные, подобные отцу Герцена, считали «религию в числе необходимых вещей благовоспитанного человека». «Верил ли он сам? — говорит о своем отце Герцен.— Я полагаю, что немного верил по привычке, из приличия и на всякий случай».

Случай приходил в виде беды, в облике приближающейся смерти, и тогда оказывалось, что вольнодумство было лишь игрой на поверхности души, в глубине которой прочно жила религия предков,— отсюда кажущееся таким неожиданным превращение совершенного и воинствующего атеиста в кающегося грешника (когда Талейран соборовался перед смертью, в Европе ходила чья-то острота, что он, всю жизнь обманывавший бога, под конец обманул самого дьявола — но ведь понадобилось же ему обманывать).

Однажды князь Федор Козловский, поэт (тот самый, которому вскоре суждено погибнуть в Чесменском бою на взорвавшемся «Евстафии»), ввел Фонвизина (об этом мы узнаем из фонвизинского незаконченного или, вернее, только начатого жизнеописания) в дом некоего графа, который поразил драматурга тем, что при молодых людях и, более того, при слугах открыто высказывал безбожные мысли (судя по всему, у Козловского эти рассуждения никаких возражений не вызывали). Вскоре после этого, встретив в царскосельском парке известного екатерининского вельможу Григория Николаевича Теплова, Фонвизин рассказал ему о безбожном графе. Завязался разговор. Фонвизин развивал мысль о том, что безбожие может быть результатом прямого невежества. Бывают безбожники, говорил он, которые «никогда ничего внимательно не рассматривают, а прочитав Вольтера и не поняв его, отвергают бытие божие для того, что полагают себе славою почитаться выше всех предрассудков, ибо они считают предрассудком то, чего слабый их рассудок понять не может».

Теплов ему ответил: «Сии людишки не не веруют, а желают, чтобы их считали неверующими, ибо вменяют себе в стыд не быть с Вольтером одного мнения». И рассказал такой эпизод: «На сих днях случилось мне быть у одного приятеля, где видел я двух гвардии унтер-офицеров. Они имели между собой большое прение: один утверждал, другой отрицал бытие божие. Отрицающий кричал: "Нечего пустяки молоть, а бога нет!"»

Теплов вступился в разговор и спросил безбожника: «Да кто тебе сказал, что бога нет?» — «Петр Петрович Чебышев вчера на Гостином дворе»,— отвечал гвардеец.— «Нашел и место»,— заметил Теплов.

В дальнейшем разговоре выяснилось, что Петр Петрович Чебышев не кто иной, как обер-прокурор синода!

Конечно, не такая репутация у Григория Николаевича Теплова, этого, по словам Ломоносова, «коварника», чтобы верить ему на слово (он был знаменитым предателем; когда Екатерина уничтожила украинское гетманство и Теплов, при этом предавший гетмана Разумовского, которому был многим обязан, встретил его при дворе раскрытыми объятиями, никто не удивился, только Григорий Орлов заметил громко: «И лабза его же предаде»), но любопытно предположение, что обер-прокурор синода может быть открытым безбожником и даже проповедовать безбожие в Гостином дворе.

Между тем атмосфера действительно была накалена, в обществе тут и там вспыхивали идеологические бои — «большие прения» шли повсюду.

Однажды в гостиной в присутствии Болотова некий петиметр (то есть щеголь, имеющий пристрастие к любому последнему крику моды, будь то костюмы, будь то идеи) рассказывал весьма подробно о своих любовных похождениях, пока, наконец, кто-то, «кто постарее и христианского закона, по-видимому, ревнитель был», принялся его стыдить, что никакого действия не возымело, поскольку петиметр «был стыдливости крайний неприятель. Ему не только то нимало не воспрепятствовало, но он начал еще язвительнейшими словами смеяться христианскому закону». Его окружили, поднялся сильный шум, «дело бы до превеликой ссоры дошло, если б хозяин не

подоспел и всячески их усмирять не старался. Но можно ли было утушить огонь, который каждым еще более возжигаем был». Наконец порешили: пусть противник христианства сформулирует свои доводы, а остальные станут их опровергать. Сперва петиметр недостаток аргументации возмещал криком, «и чего недоставало ему в знании, то старался он сатирическими своими выражениями наградить», но в конце концов какие-то соображения свои изложил, и среди них были такие, на которые защитники христианства не знали, что сказать. «Когда закон христианской такою божественною истиною почитается, в котором никакого сумнения иметь не велят,— говорил он,— каким же образом видим мы, что то, что в одно время за православное почитается, в другое за неправоверное признается... Не видим ли мы очевидным образом, что папа против пап, соборы против соборов, церковные учителя против других церковных учителей, а иногда один учитель сам против себя... церковь в одно время против церкви в другое спорили; одним словом, отчего то великое различие в законах христианских, которое мы видим, и нигде согласия нет. Слично ли сие с достоверностью христианского закона и не может ли навесть сие одному человеку в истине христианского закона сомнение?» Давний аргумент.

Тут вступил в спор Болотов.

Но пора представить его, Андрея Тимофеевича Болотова, самого знаменитого из мемуаристов XVIII века. О нем сейчас уже много пишут — и как об ученом (экономисте, ботанике, агрономе), и как о деятеле культуры, неутомимом просветителе. Его воспоминания не только часто цитируют (они всегда были радостью историка), но и довольно широко читают.

Трудно понять, почему этот длинный-длинный (четыре толстых тома) рассказ, излагающий день за днем простую провинциальную жизнь, полный мельчайших подробностей, читаешь с таким вниманием и удовольствием; почему тебя занимает, например, то обстоятельство, что Болотов волновался, когда межевал свои маленькие владения, делил землю с соседом? Что интересного в том, как он перестраивал и украшал свой домик или впервые разбивал сад (мы еще даже и не знаем, что из этого сада вырастут знаменитые болотовские сады), как ссорился с каким-нибудь местным чиновником? Почему все это нам так занимательно?

Первая тому причина — намерение автора. Хотя в самом заголовке он и указывает, что писал воспоминания для собственных потомков, на самом деле они написаны для всех нас, потомков вообще. Болотов знает (и остро чувствует), как жизнь человеческая бесследно исчезает каждый день, каждый час, вот почему он эти дни и часы сознательно для нас сохранил. Ясно осознанное желание сберечь для будущих поколений каждую минуту жизни придает изложению, сколь бы ни было оно прозаично по своим сюжетам, некий поэтический отсвет. Вторая причина — неповторимая личность автора. Он человек умный, приметливый, с отличным чувством юмора, с большим обаянием. Правдивость, которую мы отмечали, как черту, общую мемуаристике XVIII века, присуща ему в высшей степени. Болотов совершенно честен, он один из самых неподкупных свидетелей истории (другое дело — его субъективность, которая уже сама по себе становится свидетельством эпохи). Подкупает его совершенное простодушие, мы очень ему сочувствуем, когда он огорчается оттого, что может читать лишь «урывками и ущипками», в то время как каждая новая интересная книга для него праздник; и тогда, когда он, пораженный чем-нибудь, вдруг «стал в пень» или «от страха руки себе ел» — невозможно не радоваться его радостям, не тревожиться его тревогами.

Медленно течет река жизни в воспоминаниях Андрея Тимофеевича, в ней, как и в жизни подлинной, крупное мешается с мелким, рассказ о большом политическом

событии, каким был, к примеру, екатерининский переворот, или о таком явлении культуры, каким была деятельность Новикова, запросто идет в перемежку с рассказом о том, как Болотов искал место для фонтана у себя в поместье (ибо он превеликий охотник до фонтанов), или как приятель потчевал его вишневкой; или как в некоем доме нянька время от времени превращалась в большую черную собаку и поедала только что родившихся младенцев — этой истории Болотов, как человек просвещенный, не верит, конечно, но все же подробно ее рассказывает.

И вот теперь он сидит в гостиной и слушает рассуждения некоего петиметра о божественных предметах, слушает с усмешкой, с понятным чувством превосходства, потому что читал куда больше, чем этот молодой человек, и знает, откуда, у каких авторов тот почерпнул свою аргументацию. Видя, что взволнованное общество шуметь шумит, но противостоять рассуждениям петиметра не может, Болотов, наконец, решил сам вступить в спор.

Он начал с того, что спросил своего оппонента, знает ли тот причины и суть церковных споров? Тот, разумеется, не знал. Тогда Болотов разъяснил ему (тоже довод из давних), что споры были вызваны не противоречиями в христианской вере, но упрямством и пристрастиями людей.

Некоторое время разговор шел более или менее спокойно, но затем, поскольку Болотову аргументов, как видно, тоже не хватало, он, в ответ на слова петиметра о философских книгах, где тот надеялся почерпнуть убедительные доводы, высказался следующим образом: «А если б мне на волю дали, то бы я все их (то есть эти книги.— *О. Ч.*) сжечь, сочинителей повесить, печатальщика на каторгу сослать и книгопродавцев кнутом пересечь велел». «Что так строго, государь мой?» — резонно спросил его противник тоже «с превеликой запальчивостью».

Нигде, ни в гостиной, ни в Гостином дворе люди разных мировоззрений не могли договориться друг с другом.

Но почему в самом деле так строго? Почему этот умный, спокойный, доброжелательный человек в серьезном и важном для себя споре не нашел иных аргументов, кроме виселицы и кнута? Откуда этот дух насилия и нетерпимости?

Если уж добродушный Болотов был так резок в религиозном споре, то известный нам Карамышев, был, разумеется, не мягче. Вот как он проводил в жизнь свои взгляды (правда, противоположные болотовским, но это уже не так и важно, важна сама нетерпимость).

Сколь бы ни был труден по своему характеру Карамышев, его юная жена, как мы знаем, к нему все же привязалась и сильно за него тревожилась: он постов не соблюдал, на исповеди не бывал, а в церковь и вовсе не заглядывал, тем самым, по глубокому убеждению Анны, обрекая свою душу на вечные адские муки. Но ее религиозность была тихой, а его атеизм в соответствии с его характером — воинствующим, то есть такой, которому обязательно нужно навязать и заставить.

«Наступил великий пост,— пишет Анна (это происходило в первый год ее замужества),— и я, по обыкновению моему, велела готовить рыбу, а для мужа мясо, но он мне сказал, чтоб я непременно ела то же, что и он ест. Я его упрашивала и говорила, что я никак есть не могу,— совесть запрещает и я считаю за грех. Он начал смеяться и говорить, что глупо думать, чтоб в чем-нибудь грех. И пора тебе все глупости оставлять, и я тебе приказываю, чтоб ты ела! И налил супу и подал. Я несколько раз приносила ложку ко рту,— и биение сердца и дрожание руки не позволяло донести до рта; наконец, стала есть, но не суп ела, а слезы, и получила от мужа моего за это ласки и одобрение; но я весь Великий пост была в беспокойстве и в мученье совести».

Перед нами снова идейное насилие и вызванные им страдания. Опять душа юной Карамышевой между жерновами двух разных систем, на этот раз религиозных — ведь мы помним: когда измученная издевательствами она заявила, что «такого мужа любить нельзя» и что она с ним не поедет, ее именем той же религии заставили ехать.

Тринадцатилетняя девочка оказалась во власти бессовестного, никаких нравственных законов не признающего человека, но за нее все время заступались, ее защищал тот дворянский круг, к которому она принадлежала,—то Херасков, то губернатор города, где они жили; когда становилось очень худо, она грозила пожаловаться начальству. Но кому было пожаловаться, к кому обратиться за помощью крепостному, попавшему во власть вот такого агрессивного атеиста. Нетрудно себе представить, в каком смятении была набожная крестьянская душа, столкнувшись с барином «новой формации», столь же вольнодумным, сколь и диким.

Впрочем, и с крестьянской набожностью дело обстояло куда сложнее, чем можно предположить.

Среди сочинений Болотова есть одно, называемое «О незнании нашего подлого народа» (слова «черный», «подлый» применительно к простому народу, так возмущавшие нашего Пишчевича, Болотову, как и всему дворянству, дикими не казались и были для них простым и естественным определением). В этом сочинении автор размышляет о невежестве крестьян, которое, говорит он, превзошло все его ожидания.

«Мне случилось некогда,— пишет Болотов,—слышать разговор между двумя разным господам принадлежащими служителями. Один жаловался другому на своего господина и вздыхал, рассказывая те немилосердные и частые побои, которые он претерпевать принужден. Другой ему тоже говорил и жаловался на госпожу, что она их скоро со двора сгонит. Потужив несколько о своем горе и покачав головами, начал наконец один другого утешать. Он советовал ему сносить нещастье свое с терпением и полагаться на милость божию. Другой, который, по-видимому, не столь набожен был, усмехнувшись, ответствовал ему, что он неправильно говорит; что терпение иметь не можно; что никакой возможности к тому нет, а наконец, что он в такое отчаяние приходит, что хотел либо в реку броситься, либо удавиться. Услышав сие, его товарищ не преминул за то его осудить и начал худобу сей поступки, сколько его разума было, изображать.

Сие подало им повод вступить между собой в пространнейший разговор о жизни человеческой. Любопытствуя сему, начал я внятнее слушать их рассуждение, и чтоб им не помешать, притаился у окошка, под которым они у меня разговаривали».

Если Болотову, который «притаился у окошка», разговор любопытен, то для нас он драгоценен: не так уж часто удается нам услышать непринужденный и простой разговор крепостных крестьян «о жизни человеческой».

«Поговоря несколько времени о бедной и горестей преисполненной своей жизни,— продолжает Болотов,—нечувствительно дошли они до смерти. Но какое бы мнение имели они об ней? «Вот,— сказал, вздохнувши, один,—живи, живи, трудись, трудись, а наконец, умри и пропади, как собака». «Подлинно так,— отвечал ему другой,— покамест человек дышит, до тех пор он и есть, а как дух вон, так и ему конец». Слова сии привели меня в немалое удивление, но я больше удивился, как из продолжения разговора их услышал, что они действительно с телом и душу потерять думают. Не мог я долее терпеть сего разговора, но, растворив окно, прикликал их к себе и им более сей вздор врать запретил».

Как просвещенный Карамышев з а п р е т и л жене есть в пост постное, так просвещенный Болотов з а п р е т и л крестьянам говорить то, что они думают; один верующий, другой неверующий, уровень и характер их просвещенности очень близки.

Итак, «...сей вздор врать запретил. Они ответствовали мне, что лучше того не знают и про душу почти все они так думают; а как я их спросил, разве они про бессмертие души и про воскресение из мертвых никогда не слыхивали, то сказали они мне, что хотя в церкви кой-когда про воскресение они и слышали, но то им непонятное дело и что тому статься невозможно, чтоб сгнившее тело опять встало, а наконец, что им достовернее кажется, что душа после смерти в других людей или животных переселится. Ужаснулся я, сие услышав, и от жалости о таком незнании их, то не мог, чтоб не сказать им вкратце, что им о смерти и о душе думать надлежит (сам Андрей Тимофеевич, разумеется, твердо знал, что такое душа и как обстоят дела на том свете.— *О. Ч.*). Они благодарили меня за то и уверяли, что они сего никогда не знали, а как я им сказал, чтоб они о том и прочем попов спрашивали и их себя учить заставляли, то, усмехнувшись, сказали они: ,,Учить, сударь, заставлять! Разве вы не знаете, что попы и господи помилуй даром не скажут, а нам где, боярин, деньги брать‘‘».

Слова крестьянина взволновали Болотова и заставили задуматься над тем, откуда могли зародиться в крестьянских головах столь опасные понятия. Представление о том, что душа умирает вместе с телом, свойственно философам-материалистам, учение о переселении душ — древним языческим верованиям; каким же образом подобные воззрения достались русским крестьянам? Болотов подумал было, что люди, с которыми он разговаривал, являют собой исключение, но один из его приятелей подтвердил ему, что «между подлости едва ли сотого человека сыскать можно, который бы о бессмертии души твердо уверен был, но что большая часть или вовсе никаких, или совсем странные и развращенные, а по крайней мере недостаточные понятия о том имеют». Тогда Андрей Тимофеевич стал специально интересоваться этим вопросом и, «со многими простыми людьми в разговор вступая, нашел, что хотя большая часть и не сумневается в будушей жизни, но понятия их об ней столь недостаточны и отчасти так не правы и коротки, что я дивился их незнанию и той великой темноте, в которой они в рассуждении как сей, так и других важнейших до закона христианского истин находятся. А на вопросы мои, для чего они ничего не знают, принужден я был с сожалением слышать тоже, что им знать того непочем; что они люди безграмотные, а обучениев от попов они никогда не слыхивали. Всего же больше меня удивило, что я из слов их усмотрел, что все христианство их состоит в том, чтоб кой-когда сходить в церковь, поставить образам свечки, помолиться богу, послушать пения или читания, которого не разумеют, велеть отслужить через два в третей кой-когда молебен или по умершему панихиду, не есть в посты мясо, сходить к попу на дух и к причастию, нимало не зная, что сие значит, а впрочем, так жить, как живали их деды, то есть последуя во всем своим пристрастиям и желаниям, нимало о требуемом и для христианина необходимо надобном обращении и очищении сердца своего не помышляя. Изрядное христианство, думал я в то время, а через несколько времени еще паче ужаснулся, когда узнал, что большая часть и самих учителей, сих пастырей душевных, того не знает, чему бы им своих прихожан учить надлежало. «О стыд! О срамота!» — принужден был я тогда воскликнуть; не только видеть, но и слышать бы сего между христианами, кольми ж паче между православными не надлежало».

Важное свидетельство. Если духовенство мало заботилось о том, чтобы воздействовать на души верующих (вспомним к тому же архиереев Добрынина, переплавлявших колокола на «мажжиры»), и религия сводилась к обрядности, значит, сознание людей оставалось свободным и открытым для иной, им более близкой и понятной проповеди.

Итак, он был в непокое, в разладе, XVIII век, в духовной чересполосице. Новое вторгалось в жизнь и благодетельно, и страшно. Какую бы область человеческих отношений мы ни взяли, всюду мы найдем раздвоение и борьбу.

Чем больше росло чувство собственного достоинства человека, тем больнее ушибался он о социальные преграды, о наглость временщиков, захвативших, как мы видели, власть на всех ступенях социальной иерархии. Вольнодумство, освобождая мысль, расковывая душу, вместе с тем подчас грубо вторгалось в старый уклад, новое мировоззрение высмеивало старое, а старому казалось, что настал конец света. Все это неизбежно должно было создавать поле постоянного напряжения, рождать ощущение неустойчивости, атмосферу тревоги.

Тем острее встает перед нами прежний вопрос: почему искусство эпохи, столь тревожной и противоречивой, не отразило нам ни тревоги, ни противоречий; почему, напротив, оно являет нам райски веселую пестроту росписей, безукоризненно льющуюся гладь мрамора в бесчисленных нимфах и психеях с их совершенным душевным спокойствием (разве что одни гении смерти со своими факелами, опрокинутыми и потухшими, позволяли себе печалиться у погребальных урн); почему так великолепно гармоничны анфилады Павловска, фасады классицистических дворцов и усадеб.

И опять же главный вопрос этой книги: почему при таком непокое и противоречиях XVIII века так спокойны, так уравновешенны его портреты?

А ведь главное противоречие эпохи у нас впереди!

ГЛАВА VI

О БЕЗДНЕ

«Выезд государыни-императрицы из Могилева был пред полуднем,— это Гаврила Добрынин рассказывает, как Екатерина уезжает из города после торжеств по поводу открытия могилевского наместничества,—при колокольном звоне, при пушечной пальбе и при вялом стечении народа, ибо не должен я пропустить, что белорусские жители почти всех состояний <...> смотрят на великий и малый предмет, на печальный и радостный, с кошачьим равнодушием и совсем не имеют той приятной наружности, которая рождается от внутренних движений, при случае отличных предметов».

Екатерина пишет о том, что во время ее путешествия по Волге крестьяне ставили перед ней свечи, как перед божеством (могло быть — в начале ее царствования, во времена Уложенной комиссии, когда с ее именем связывались великие надежды). Здесь, в Могилеве, народ безучастен. Но независимо от того, как проявлял он себя при царских приездах и проездах, «кошачьего равнодушия» в нем не было. Только теперь усилиями наших ученых (тут можно назвать К. В. Чистова, Н. Н. Покровского, особенно А. И. Клибанова) нам открывается огромная картина духовной жизни народа, только сейчас начинаем мы понимать, какая напряженная работа мысли шла в самых глубинных народных пластах.

Народная масса предстает нам очень разной; была в ней и рабская покорность: чуть что — валился мужик на колени, но уже та быстрота, с какой разлилась пугачевщина, показывает, с какой легкостью он с колен поднимался. Народное сопротивление гнету, народное негодование то и дело прорывались в разного рода вспышках, случалось и так, что помещики (помните слова Екатерины) бывали «зарезаны отчасти от своих». Но для нас всего интересней не эти вспышки, а то постоянное движение непокорных, непрерывное внутреннее сопротивление несправедливой социальной системе, ее совершенное внутреннее неприятие, которое было ясно осознано и отчетливо выражено народными мыслителями, писателями и проповедниками.

Наше представление о том, что темная и неразумная народная масса получала просвещение только сверху, от дворянской (а потом и недворянской) интеллигенции, требует определенных корректив. У Пушкина есть замечание, во многом справедливое, особенно если иметь в виду екатерининское время. «Нельзя не заметить,— пишет он,— что со времени возведения Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I, правительство у нас всегда впереди на поприще образования и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно». Но если под просвещением иметь в виду, например, такое приобретение, как чувство собственного достоинства, то можно сказать с уверенностью: в глубинах народных масс формировалось свое мировоззрение; народная мысль, независимая и глубокая, развивалась не только самостоятельно, но и в противоборстве с официальным мировоззрением. Конечно, поскольку речь идет об образовании, тут заслуги и правительства, и дворянской интеллигенции неоспоримы, но вместе с тем в народе шел и процесс самообразования, особенно важный, поскольку речь идет об осознании жизни с ее корневыми

социальными проблемами. Здесь народные мыслители обнаруживают глубину понимания, массе дворянства недоступную, они выступают с болью, гневом и знанием предмета. В XVIII веке (и много позже) дворянская культура не имела никакого представления об уровне мужицкой мысли. Между тем мысль эта была куда крепче той, с какой столкнулся Болотов, когда подслушивал у окна. Она работала неустанно и пытливо. Бродил, например, по свету беглый солдат Евфимий (со своей женой — беглой крепостной Ириной), был он проповедником, писателем, художником. В своей проповеди, которая началась в 60-е годы, он по воззрениям во многом совпадает с пугачевцами, но в отличие от них признает только путь «безнасильственный». Мне кажется, что наша историография, уделяющая столько внимания открытым народным выступлениям, бунтам, мятежам и восстаниям, недооценивает той невидимой каждодневной (тоже, конечно, просветительской) работы, которую вели многочисленные народные проповедники (тоже, конечно, совершенно вольнодумные). Думаю, что такая непрерывная, ровной тяги просветительская работа, очищающая народное сознание от духовного гнета,в ходе исторического процесса играет несравненно более благотворную роль, чем бунт, не всегда бессмысленный, но всегда беспощадный.

Евфимий независим в своих взглядах, для него нет иного авторитета, кроме суждений разума и сердца. Традиционные тексты Священного писания («несть власти, аще не от бога» и т. д.) для него ничего не значат — отвага мысли для мужика не меньшая, чем все вольнодумство Вольтера. Если крестьянские движения (включая сюда и пугачевщину) обнаруживают устойчивые царистские пристрастия, то Евфимий их в этом смысле далеко опережает: он вообще не признает царскую власть (она для него «от бесов, а не от бога»), да и всю общественную систему с ее частной собственностью и социальным неравенством — его собственная беглая жизнь была результатом и воплощением его программы. Значение подобной проповеди трудно переоценить: прежде чем опрокинуть ненавистную социальную систему, надо было не только ее разоблачить (она сама себя каждый день разоблачала),— нужно было подорвать самые основы рабской психологии (мужик, вешая дворянина, мог оставаться тем же рабом, только на миг восторжествовавшим), просветить его ум, развить его нравственное чувство — словом, народная мысль давно уже дошла до идеи «нового человека» (материал мною взят из замечательной книги А. И. Клибанова).

Вообще идеи Просвещения и народной проповеди бродят друг от друга неподалеку, разделенные вместе с тем непереходимым рубежом: по мысли народных философов, новый человек может возникнуть только при полном уничтожении всей прежней социальной системы. Народное воображение рисует поразительные картины (достигающие апокалиптического накала) гибели мира насилия и неправды. Этот старый *жирный* мир плавится жаром некоего, надо полагать, духовного солнца. Неистовые мечты народа никак не совместить с желанием просвещенных монархов и просвещенных дворян улучшить отношения сословий в границах существующих порядков. И пусть эти мечты утопичны, но независимость суждений, обличительный гнев играли огромную роль в духовном освобождении простых людей.

Столь частые в христианстве обличения греховного мира и человека здесь служат совсем не к унижению человека и отрицанию ценностей земной жизни — напротив, в народных проповедях мы встречаем столь понятное в устах крестьянина прославление прекрасной и доброй природы. И желанный «новый человек» предстает в обличии великолепном: в нем «граничит небо с землей», иначе говоря, физическое и духовное начало сочетаются самым счастливым образом. И вот замечательный ход мысли: если в настоящем, несправедливом обществе человек порабощен вещами («Воистину таковые вещи берут его в плен и лишают его благородныя свободы <...>. Коликия

земные вещи любит кто толиких вещей раб он и пленник»), то новый человек будет хозяином, господином вещей и потому свободен. Он живет плодами, которые создал сам, «без обиды ближнему», не похищая чужого труда, он в согласии с миром и другими людьми. Любопытно, что этому учению чужда какая бы то ни было ограниченность, которая, казалось бы, и должна быть присуща узким крестьянским миркам,— нет, люди божьи рассеяны по всему миру «под разными титлами вероисповеданий», а потому речь идет о всемирной борьбе за нового, высокодуховного человека.

Народ был страстным и неотступным мечтателем, и мечта его была всегда одна и та же — о вольной жизни, мирной, спокойной, когда можно было бы работать, не боясь, что все, тобою выращенное, у тебя отнимут, что тебя самого оторвут навеки от семьи в рекрутчину или продадут кому-нибудь, как скот. Эта мечта о свободе и мире, о вольной спокойной работе нашла свое выражение во многих легендах — о том, что стоят где-то счастливые невидимые монастыри и даже целый город — Китеж, его божья рука скрыла от властей под водою. «Китежская легенда,— пишет А. И. Клибанов,— опоэтизировала подвиг людей непокорившихся, подвиг разрыва связей с крепостнической действительностью. Это — призыв. Это и молитва о «плавающих и путешествующих», не церковная, а народная молитва о крестьянах, пробирающихся лесами и топями в жар и холод, в ночи и дни, преследуемых воинскими командами. Куда? В неизвестность, о которой известно и мало, и все: на свободу!»

Была в народе и мечта о «далеких землях», где-то «за морями на семидесяти островах» — земной рай. Вера в него так была велика, что существовали путеводители, называли даже имена каких-то проводников, которые могли туда провести. И люди шли! Снимались с места вместе с семьями и всем скарбом, шли искать желанную страну.

Ходили в народе сказания о необыкновенных мужицких правителях, добрых и справедливых. Есть удивительная по силе легенда о том, как некоему «темничнику» (то есть узнику, заключенному) явился дьявол и предложил сделку — узник отдает дьяволу свою душу, а тот взамен делает его царем. «Темничник» согласился — при одном, однако, условии: о сроке смерти его предупредят за три часа; он стал царем, под его мудрым правлением «весь народ переменился: из татей и разбойников, и пьяниц, и других злодеев сделалися мирными и трудолюбивыми жителями» (та же жажда мирного труда!). Но всего интересней в этой легенде характер «темничника» и его судьба. Оказывается, он все предвидел и все обдумал: за три часа до смерти (вот почему он требовал, чтобы его предупредили), этот мудрый человек приказал себя четвертовать — в наказание за то, что вступил в договор с дьяволом,— и тем спас свою душу. Справедливость, мир и спокойствие стоят того, чтобы ради них пойти на лютую казнь.

Руководители крестьянской войны понимали эту жажду спокойствия — вот почему в своих воззваниях Пугачев желает людям «спасения души и спокойной в свете жизни», вот почему он называет помещиков «возмутителями общего покоя» и обещает, что «по истреблении злодеев-дворян всякий может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатця будет».

Один из великолепнейших памятников русской общественной мысли — «Благовесть» — найден в Тайной экспедиции, в деле разорившегося, по существу, деклассированного дворянина Алексея Еленского. Этот документ, он распространялся среди крестьян, имеет уже вполне конкретные цели: его предполагали дать на подпись Павлу, одновременно предоставив Екатерине письмо с предложением отречься от престола. А программа тут была головокружительной: новое социальное устройство — уничтожение крепостного права, равенство, всеобщий труд, уничтожение податей;

новые гражданские законы, отделение церкви от государства, всеобщее бесплатное обучение; выборность офицеров в армии. Все должно обойтись мирным путем, автор горячо предупреждает против кровопролития, но если дворяне откажутся от участия в новой социальной системе, грозит он, тогда уж «звания дворянского обоего полу во всей империи знаку не останется, вся земля кровию обагрена будет».

Эта программа крутых общественных преобразований, обнаруживающая совершенную свободу мысли, сопровождается гневными обличениями современных порядков — недаром исследователи сближают «Благовесть» с воззваниями пугачевской ставки. «Чево еще дворяне не довершили и зла в отечестве не сделали,— пишет автор «Благовести»,— разве чево в аде не было, того нет в России!»

«Благовесть» и другие произведения народных мыслителей остались незнакомы русскому дворянству — большинство из них были разысканы и исследованы уже в наше время. Конечно, дворянин был окружен русскими мужиками и бабами, с иными был внутренне связан (Гринев — Савельич), но то была особая часть народа — дворня, уже самим дворянством трансформированная. Деревенские крестьяне были далеки от дворянина. Он мог, как Порошин, отвлеченно интересоваться их обычаями, мог, как Львов, собирать их песни, мог, наконец, как Новиков, заехав в деревню, вглядываться в их жизнь пристально, с любовью и состраданием. Но все же о чем думал, что писал и проповедовал беглый солдат Евфимий, никто из них не знал.

В Историческом музее Москвы хранится портрет Пугачева. Емельян Иванович написан, так гласит современная ему надпись на портрете, 21 сентября 1773 года в Илецком городке (недалеко от Оренбурга) как раз в самом начале восстания.

Когда портрет этот был обнаружен в запасниках музея и с ним начали работать реставраторы, оказалось, что он написан поверх какого-то другого; чем более расчищали красочный слой, тем яснее становилось, что этот другой — парадное изображение Екатерины — декольтированной, в бриллиантах, с орденской лентой и звездой (так называемый тип Эриксена). Легко представить себе, что этот большой царский портрет висел в каком-нибудь официальном учреждении, сюда ворвались восставшие, сорвали его со стены, в нескольких местах проткнули чем-то острым, но потом кто-нибудь из них сообразил, что такому добротному холсту грех пропадать; а может быть, тут же и возникла идея поверх портрета царицы написать портрет мужицкого царя. Холст зачинили (следы починки видны), обрезали по краям — и он стал основой для единственно подлинного пугачевского портрета (если не считать того, где Пугачев изображен уже пленным, в цепях).

Итак, некий иконописец (портрет написан в манере, близкой иконописной) взял кем-то изрезанный и зачиненный холст екатерининского портрета и написал поверх портрет Пугачева. В качестве памятника классовой борьбы этот двойной портрет очень красноречив, но вместе с тем теперь, когда реставраторы сняли часть красочного слоя, он являет собой некий живописный курьез, совсем не соответствующий такому серьезному делу, каким была крестьянская война. А впрочем, грозный Пугачев с декольтированной женской грудью кажется воплощением того фарса самозванства, в котором сам Пугачев был Петром Третьим Всероссийским, его помощник, атаман Чика-Зарубин,— графом Иваном Чернышевым; где Екатерина называлась злодейкой женой, а Павел — любимым сыном (Пугачев, сквозь слезы: «Ох, жаль мне Павла Петровича, как бы окаянные злодеи его не извели»).

Тем не менее портрет очень серьезен. Пугачеву здесь около тридцати, но выглядит он старше, что и понятно: трудная судьба вполне могла его состарить. Он в меховой шапке (сквозь которую теперь глядит Екатерина), у него твердое, несколько



Неизвестный художник
Портрет Е. И. Пугачева, написанный на портрете Екатерины II
1773

напряженное лицо, рот крепко сжат; большие, яркие, темные с синевой глаза глядят прямо под чуть сведенными бровями. Несмотря на то, что писала его не очень умелая рука, характер тут выражен, и характер крепкий.

Этот «двойной» портрет являет собой теперь как бы сопоставление двух царей (тем более что одним замазали другого — это значит, что в народном сознании один другого уже победил); в самом ходе пугачевщины сопоставление этих исторических лиц невольно напрашивается. Оно становится особенно наглядным, если сделать еще одно сопоставление: сравнить воззвания к народу Пугачева и те правительственные манифесты, которые выпускала Екатерина.

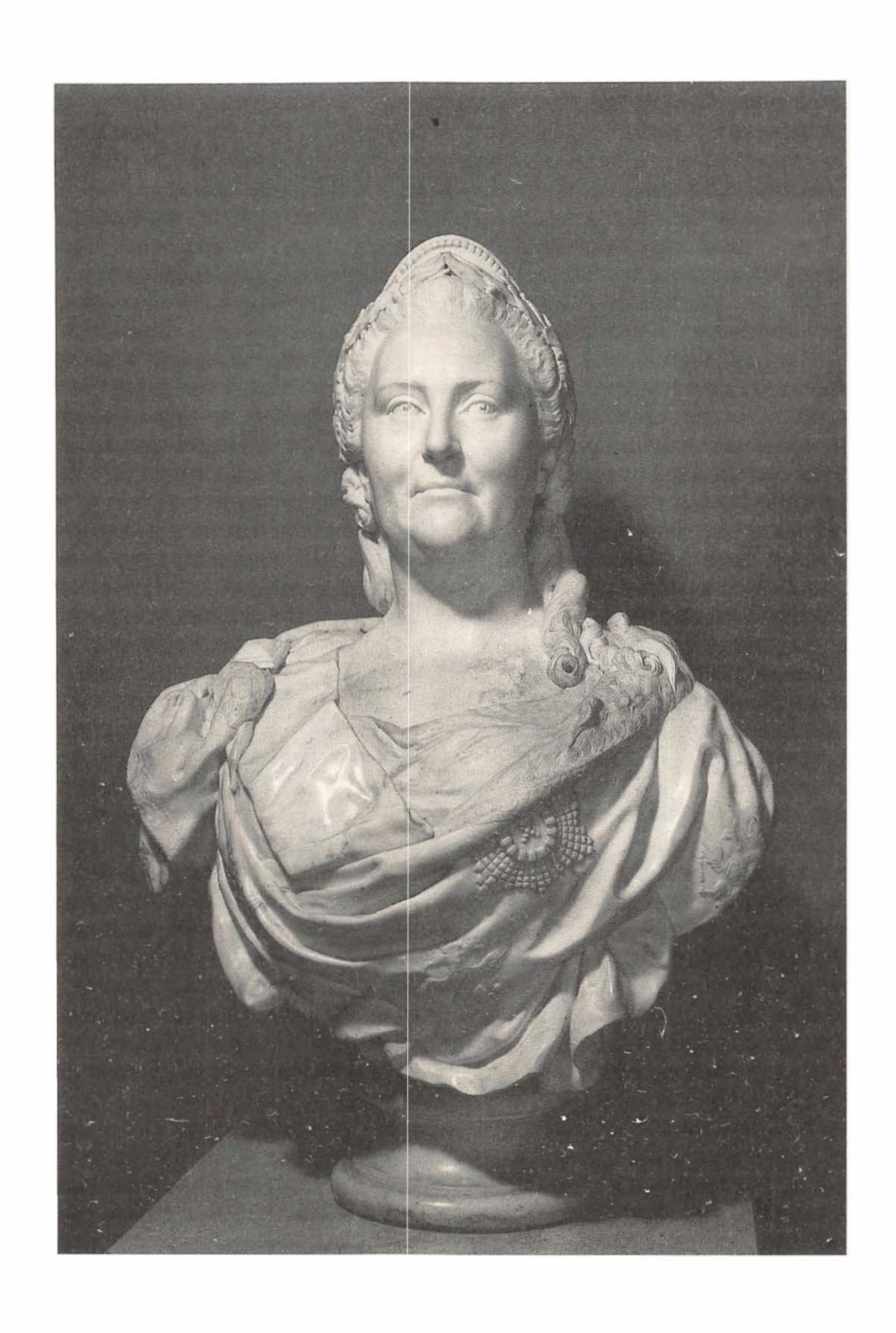
Пугачев говорил с народом поразительно сильным языком (в свое время произведшим большое впечатление на Пушкина). Вот как он говорил: «Великим богом моим на сем свете я великий государь-император Петр Федорович, ис потерянных объявился, своими ногами всю землю исходил <...> Слушайте: подлинно мы государь!» Или: «Божью милостью мы, великий император и самодержец Всероссийский, всемилостивейший, правосуднейший, грознейший и страшнейший, прозорливый государь Петр Федорович!» Или: «Заблудшиеся, изнурительные, в печали находящиеся, по мне скучившиеся!.. Без всякого сумнения идите...» Могло ли тут не биться надеждой мужицкое сердце — ведь горячие и искренние слова! А он еще и обещал: «Тех, кто сам видит мое благородное лицо и прекрасный образ... и честию верит мне, таких людей, конечно, я буду жаловать». А чем? «Жалуем сем имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне: и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами (раскольнический мотив.— *О. Ч.*), вольностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями и соляными озерами без покупки и без оброку; освобождением всех от прежде чинимых от злодеев дворян и от градских мздоимцев судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощениев».

А впрочем, и угрозы тут были более чем убедительны и касались далеко не только дворян: чтобы ослушники «милосердия б уже не просили <...> для чего точно я присягаю именем божьим, после чего прощать не буду, ей, ей». Или того еще убедительней: «А в противность поступка всех, от первого до последнего, в состоянии мы рубить и вешать»; и приближенным своим он «давал власть рубить без всякого прекословия, без остановки, и без крику, и без стону».

Вот если бы в нашем распоряжении были бы портреты Пугачева и его соратников, написанные Левицким и Боровиковским! Но портретов соратников вовсе нет, а изображения самого Пугачева (если не считать тех двух, о которых мы говорили, тоже в конце концов весьма условных) или явно фантастичны или настолько лубочны и поверхностны, что по ним восстановить характер нельзя. Тут и там в мемуарах мелькают внешние описания Пугачева. Видел его поэт И. И. Дмитриев, но видел в страшную минуту — перед самой казнью и «не заметил в лице его ничего свирепого». В эти же минуты видел Пугачева и Болотов, он стоял у эшафота и, пока читали приговор, а это было долго, успел разглядеть «изверга». «Он стоял в длинном нагольном овчинном тулупе. Вид и образ его показался мне совсем не соответствующим таким деяниям, какие производил сей изверг. Он походил не столько на зверообразного какого-нибудь лютого разбойника, как на какого-либо маркитантишка или харчевника плюгавого. Бородка небольшая, волосы всклокоченные и весь вид ничего на значущий». Конечно, в дни своих побед Пугачев был не таков, он был таким, каким изображен на «двойном» портрете — сильным и грозным.



Неизвестный художник
Е. И. Пугачев
1770-е гг.



Ф. Шубин
Екатерина II, мрамор
1791

После неистовых речей пугачевской ставки странно (и даже отчасти смешно) читать разумные екатерининские манифесты. Вот один из них (тоже времен начала восстания), где все идет по порядку, все своим чередом, и разделено на два пункта, А и Б.

Пункт А начинается издалека: «Нет, да и не может быть в свете общества, кое не почитало бы первым своим блаженством учреждения и сохранения между разными и всеми частями и степенями граждан внутреннего благоустройства, покоя и тишины, равно как нет же и бедственнейшего пути к разрушению и пагубе общества, как внутренние в них раздоры и междоусобия». Этот ритм после бешеных пугачевских речей кажется не только бедным, но настырным и заунывным.

Кстати, мраморный бюст Екатерины, сделанный Мари Анн Колло, стоит в Историческом музее рядом с той железной клеткой, в которой везли в Москву Пугачева. Сопоставление грубое, да и мрамор, обработанный рукой художницы, не заслужил того, чтобы торчать рядом с коваными прутьями, но исторически справедливое. И Екатерина тут со своим вялым лицом и тусклыми глазами совершенно под стать своим манифестам.

За одиннадцать лет правления, говорит далее Екатерина, ее неусыпными трудами удалось «искоренить вконец поносное наименование варваров», какими считали русских в Европе (конечно, первая забота русского мужика, что думают о нем в Европе!), и это произошло «к великому порадованию» ее, Екатерины, и всякого, «кто не утоплен в невежестве и у кого не окаменело сердце к отечеству». И совсем было приблизилось время, «когда просвещение, человеколюбие и милосердие, насажденные и еще насаждаемые нами во нравах и законах, предвещали и готовили на будущее время нам самим и потомству нашему пожать богатую жатву сих сладчайших плодов», да помешал казак Пугачев, который воспользовался невежеством отдаленного края и соблазнил «некоторую часть жителей».

Чувствовала ли императрица всю бестактность своих рассуждений? Ведь знала же, в каком положении живет народ, понимала, что восстал он от отчаяния, от того, что терпеть уже не было сил, сама же писала о «несчастном классе, которому нельзя разбить цепи без преступления». Знала и о железных ошейниках в помещичьих домах, сама расследовала дело Дарьи Салтычихи.

Но в том-то и суть, что пугачевцы были свободны в своих воззрениях, а она была связана по рукам и ногам. Пугачев мог честно обещать свободу и волю — а она? Что могла она обещать, если даже ее осторожные предложения о крестьянском выкупе были с корнем вырваны из «Наказа»? Только то и оставалось ей, что рассуждать о пользе просвещения и вреде невежества.

Примерно то же произошло с великим принципом веротерпимости: провозгласив его, Екатерина преследовала (разумеется, из соображений политических) раскольников. Руководители пугачевщины стояли на позиции веротерпимости и теоретически и практически — иначе и быть не могло, поскольку за Пугачевым шли православные и раскольники, мусульмане и язычники. Такую готовность признать союзником любую религию объяснить нетрудно: народ ощущал свое единство ввиду общего врага, единство надежд и цели, объединяющих настолько мощно, что все остальные вопросы, даже и такие серьезные, как вера, отступали на второй план. У восставших была общая религия — жажда свободы.

Чтобы понять, какой сплав религиозности и праведного социального гнева являли собой воззрения пугачевцев, обратимся к одному из них — Ивану Грязнову, пугачевскому полковнику, энергичному участнику движения. Вот его обращение к

жителям Челябинска с предложением сдаться и признать царя Петра Федоровича — это горячая, искренняя и потому исполненная силы речь:

«Находящимся в городе Челябинску всякого звания людям.

Не иное, что к вам, приятные церкви святой сыны, я простираю руку мою к написанию сего: господь наш Иисус Христос желает и произвести соизволяет своим святым промыслом Россию от ига работы, какой же, говорю я вам.

Всему свету известно, сколько во изнурение произведена Россия, от кого же — вам самим то небезызвестно. Дворянство обладает крестьянами, но хотя в законе Божием и написано, чтоб оне крестьян так же содержали, как и детей, но оне не только за работника, но хуже почитали полян (охотничьих псов.— *О. Ч.*) своих, с которыми гоняли за зайцами. Компанейщики завели премножество заводов и так крестьян работою удручили, что и [в] ссылках того не бывало, да и нет. А напротив того, з женами и детьми малолетними не было ли ко господу слез?.. Нам кровь православных не нужна (сам Грязнов был раскольником.— *О. Ч.*), да и мы такие же, как и вы точно, православныя веры. За что нам делать междуусобные брани?.. Мой совет: для чего напрасно умирать и претерпевать раззорение всем нам, гражданам? Вы, надеюсь, подумаете, что Челябинск славный по России город и каменную имеет стену и строение — отстоитца. Не думайте, приятные: предел от бога положен, его же никто прейти не может. А вам наверное говорю, что стоять — не устоять. Пожалуйте, не пролейте напрасно свою кровь. Орды неверные государю покорились, а мы противотворничаем. Затем, скратя сим, остаюсь.

Генваря 8 дня 1774 года.

Посланный от армии его императорского величества главной армии полковник Иван Грязнов» (в середине июля он погиб в боях под Казанью).

Как видите, Христос играет тут роль освободителя, разрывающего оковы крепостничества, восставшие идут под его знаменами, и все они — и православные, и раскольники, да и «неверные» — объединились. И когда Пугачев в своих воззваниях жалует «верой и законом», он жалует всех восставших, и русских, и татар, и башкир, и всех примкнувших к восстанию. В конце концов если у них были и разные боги, то для всех них крепостное право (естественная мысль) было от дьявола.

«Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный»,— писал Пушкин. Все так. Но когда мы сталкиваемся с живой картиной крепостнических нравов, когда видим ту кухарку (из воспоминаний майора Данилова), которая, пока барыня кушает изготовленный ею борщ, лежит, истязаемая, на полу (так барыне вкуснее); или тех мужиков, что стоят на коленях, а барин, тоже ради развлечения, щелкает их по лбу так, что мутится их разум; или невесту, которую в день свадьбы барчуки тащат в сарай («Путешествие» Радищева),—разве не просит наша душа возмездия, разве не жаждет она, чтобы в эту минуту ворвался в поместье отряд пугачевцев?

«Еще носилась около сего времени одна странная история,— пишет Болотов в своих воспоминаниях,— не только о бесчеловечии, но и о сущем варварстве одной нашей дворянской фамилии, жившей в здешнем уезде и делающей пятно всему дворянскому корпусу.

Сей господин отдавал одну девку в Москву учиться плесть кружева. Девка скоро переняла и плела очень хорошо; но как возвратилась домой, то отягощена была от господ уж слишком сею пустою и ничего не значащею работой и принуждена была всякий вечер по две свечи просиживать. Сие подало повод к тому, что она ушла прочь в Москву и опять к мастерице своей; но ее сыскали и посадили в железы и в стуло и заставили опять плесть.

Через несколько времени освобождена она была по просьбе одного попа, который ручался в том, что она не уйдет. Но как девка сия была только семнадцати лет и опять трудами отягчена слишком, то отважилась она опять уйтить; но, по несчастью, опять отыскана и уже заклепана в кандалы наглухо; а сверх того, надета была на нее рогатка, и при всем том принуждена была работать в стуле, кандалах и рогатке и днем плести кружева, а ночевать в приворотной избе под караулом и ходить туда босая.

Сия строгость сделалась, наконец, ей несносною и довела ее до такого отчаяния, что она возложила сама на себя руки и зарезалась; но как горло не совсем было перерезано, то старались сохранить ей жизнь, но разрубая топором заклепанную рогатку, еще более повредили, так что она целые сутки была без памяти. Со всем тем не умерла она и тогда, но жила целый месяц, и хотя была в опасности, но кандалы с нее сняты не были, и она умерла наконец в них, ибо рана, начав подживать, завалила ей горло».

«Вот какой зверский и постыдный пример жестокосердия человеческого! — пишет далее Болотов,— и на толь даны нам люди и подданные, чтоб поступать с ними так бесчеловечно. И как дело сие было скрыто и концы с концами очень удачно сведены, то и остались господа без всякого за то наказания».

Представим себе, что в поместье вошел Пугачев и, если бы успел, спас эту девушку — разве это не было бы счастьем? А если бы не успел, то отомстил бы тем, кто ее замучил,— разве возмездие это не показалось бы нам справедливым?

Но в том-то и дело, что пугачевцы, ворвавшись в поместье, верные своей программе истребить дворянство под корень, наверняка повесили бы всю помещичью семью вместе с малыми детьми — сколько их в списках погибших.

Пугачевщина — одно из самых мучительных событий нашей истории. Благородное движение за народную свободу, принявшее форму зверской и низкой расправы. Необходимое, потому что крестьянам больше терпеть было нельзя и потому что это был единственный доступный народу способ противостоять дикому произволу; неизбежное, но бессмысленное, так как победить не могло (и осмысленное, так как напугало помещиков), а если бы чудом на время и победило, то оставило бы чудовищную брешь в русской культуре. Когда Пугачев пытался взять Яицкий городок, его приступ был отражен, он, об этом рассказывает Пушкин в своей «Истории Пугачева», был в ярости («Пугачев скрежетал»), поклялся, взявши Оренбург, повесить всю жившую там семью капитана Андрея Крылова, руководившего защитой Яицкого городка. «Таким образом,— пишет Пушкин,— обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов». В другом месте своей истории Пушкин рассказывает, как Державин едва ушел от пугачевской погони (один из сопровождавших его казаков был сражен пущенным в него дротиком), и действительно, будь лошадь Державина менее резва, не досчиталась бы наша культура великого поэта. Да и с самим Пушкиным неизвестно еще как бы обернулось дело, если учесть, что пугачевцы побывали в Болдине, самого хозяина, артиллерии полковника Льва Пушкина, и его семьи дома не было, и они убили его дворового человека.

К слову сказать, потому-то, наверно, так мучительно и болезненно внутреннее противоречие Радищева, потому он и мечется так между жаждой справедливого народного восстания и пониманием всего связанного с ним кровавого ужаса, что жегший его совесть крестьянский вопрос был в ту пору неразрешим.

На пугачевщину есть кое-какие отклики в современной ей литературе. Так М. И. Веревкин написал пьесу «Точь-в-точь». В 1774 году Сумароков написал «Стансы городу Симбирску на Пугачева» и «Стихи на Пугачева», где описываются страдания

дворян, зверства крестьян, где нет и тени понимания причин катастрофы, но есть призывы к беспощадной расправе. Ходил тогда среди дворянства стишок, содержащий и такие строки: «Чем его (Пугачева.— *О. Ч.*) за такую вину карать? Тело его по суставам рвать».

По-настоящему рассказывают об этой тяжкой гражданской войне только мемуаристы.

Уже один слух о Пугачеве приводил в великое волнение и помещиков и крестьян, каждых, разумеется, по-разному. К Болотову в деревню «без души» примчались старосты и бургомистры сообщить, что Пугачев уже близко. «Что вы говорите!— возопил я (так пишет Болотов),— и сердце во мне затрепетало, и я так испужался, что долгое время не в состоянии был вымолвить и слова». Вой поднялся в его семье. «Ах господи! Ну, если он сюда придет, что с нами, бедными, будет,— рыдали женщины.— Погибнем и мы все, как черви капустные! И нас всех он также перебьет, передушит и перевешает, как низовских дворян. Куда нам деваться и где искать спасения от такой беды и напасти?»

Велено было готовиться к обороне и вооружать крестьян (по десяти человек от села, разумеется, самых благонадежных). Собрав их, Болотов обратился к ним с «нотацией», убеждая, чтобы они, если дело дойдет до сражения, «дрались бы хорошенько». Обратясь к одному из крестьян, «самому ражему и бойкому из всех», Болотов сказал:

— «Вот эдакому как бы не драться, один десятерых может убить.

— Да,— сказал он мне на сие, злодейски усмехаясь,— стал бы я бить свою братию! А разве вас, бояр, так готов буду десятерых посадить на копье сие».

Вот что получалось при одном слухе о Пугачеве. Зато помещики на Волге, где Пугачев был близко, при первой вести о мятежниках «из городов и поместьев (это уже рассказывает поэт И. И. Дмитриев) помчались искать спасения: каждый скакал туда, где думал быть безопасней». Семья Дмитриевых уехала в Москву. Но и тут, как мы узнаем из воспоминаний Болотова, царил ужас.

Когда Болотов приехал в Москву, здесь бушевали страшные слухи о победах Пугачева, «и мы все удостоверены были,— пишет Болотов,— что вся подлость и чернь, а особливо все холопство и наши слуги, не въявь, так тайно сердцами своими были злодею сему преданы и в сердцах вообще все бунтовали и готовы были при малейшей возгоревшейся искре произвести огонь и поломя».

«В сердцах вообще все бунтовали» — замечательное признание.

Одни из самых интересных воспоминаний о пугачевщине — это мемуары Дмитрия Мертваго, который четырнадцатилетним мальчиком оказался как раз в тех самых, «прямо тогда несчастных местах» — в самом водовороте крестьянской войны.

Помещики, живущие в Поволжье недалеко от Алатыря, уже получали грозные предупреждения — и семья Мертваго узнала, что крестьяне их дальнего поместья уже «вступили в службу самозванцу и находились при нем». Пугачев, говорит в своих воспоминаниях Дмитрий Мертваго, то побеждая, то отступая, «как некий вихрь носился в горах и степях малообитаемых» — это, заметим мы, был ветер свободы. О счастье подобной вольной жизни крепостной еще недавно не мог даже и мечтать — и вдруг оно сбылось в совершенной своей полноте.

Хоть помещиков и предупреждали, они все же с места не двигались, все еще надеясь, что «злодей далеко, а правительство сильно и примет меры». Однако Пугачев двинулся именно к Алатырю, «в тот спокойный край,— пишет Мертваго,— где мы жили». Они и тогда еще не очень тревожились, в тот самый день, когда начались их бедствия, они стали было праздновать именины матери, как вдруг пришло письмо от

соседа, который сообщал, что Пугачев в тридцати верстах. Семья Мертваго кинулась было в Алатырь под защиту правительственного гарнизона, но по дороге узнала, что самозванец уже там, что народ встречает его хлебом и солью. «Весть эта была громовым для нас ударом; надо было бежать, а куда, Бог знает». Скоро стало ясно, что в деревнях им останавливаться нельзя, что здесь повсюду ждут Пугачева, и они пустились в лес, в густую чащу, где и обосновались на какой-то поляне, построив себе шалаш. «Так пробыли мы трое суток, не слыша ничего, кроме птичьего крику. В продолжение этого времени почтенный родитель мой делал нам наставления, основанные на чистой добродетели, говорил нам, что спокойствие человека составляет все его блаженство и что оно зависит от согласия поступков его с совестью, что, нарушив это согласие для каких бы то ни было выгод, потрясает он то драгоценное спокойствие, которого ничто заменить не может. Примерами знакомых нам людей доказывал он, как приобретающий одне временные выгоды не наслаждается ими, быв ежеминутно угрызаем совестью, еще не погасшею в нем.

Потом, прогуливаясь наедине со мною, говорил он, что если случится ему проститься со мной навеки, то помнил бы я слова его и наставлял бы братьев, которые были гораздо моложе меня, чтобы радел о своей душе и сердце и строго замечал свои склонности и поступки; советовал не быть корыстолюбивым... и, наконец, заклинал меня быть достойным имени его, угрожая в противном случае Божеским наказанием» — слова, которые произвели на мальчика огромное впечатление.

Этот разговор на поляне в лесу, когда кругом гудело пламя пугачевщины, мы запомним — к нему нам еще предстоит вернуться.

На четвертый день у беглецов кончились продукты, отец послал в ближайшую деревню одного из своих людей, чтобы купил еды, а заодно разузнал, как идут дела, но посланный возбудил в деревне подозрение, его схватили, он выдал лесной лагерь, и человек двести крестьян отправились в лес.

Когда они, окружив лагерь, напали на него со всех сторон, Мертваго-отец отдыхал в шалаше, их люди тут же разбежались, дочери под руки утащили в лес мать. «Злодеи кинулись на батюшку,— рассказывает Дмитрий,— он выстрелил из пистолета и хотя никого не убил, но заставил отступить; и схватив ружье, лежавшее возле него, и трость, в которую была вделана шпага,— не видя никого из своих около себя, побежал в чащу, закричав нам: «Прощай, жена и дети!» Это были последние слова, которые я от него слышал...

В большом страхе бросился было я вслед за батюшкой,— продолжает Мертваго,— но чаща леса разделила нас; не видя его, я бежал, сам не зная куда. Запнувшись об обгорелое дерево, лежавшее поперек дороги, упал я, и в эту минуту, увидев возле себя просторное дупло, вполз в него; через несколько минут, очувствовавшись от страха, я слышал стреляние из ружей и крик около себя: ,,Ищите и бейте"».

Когда мальчик осмелился наконец вылезти из дупла и вернуться на поляну, он нашел здесь только окровавленные лохмотья и по ним понял, что кого-то убили.

Бродя по лесу, он встретил маленьких братьев с их няней, они все вместе переночевали в лесу, а утром вышли на дорогу. «Уже солнце высоко поднялось, когда приблизились мы к речке, берегом которой шла дорога; прелестные места кругом, небольшие полянки, приятный утренний воздух и повсеместная тишина заставили было нас забыть ужасное наше положение, но вдруг услышали мы страшный крик: «Ловите, бейте». Я схватил за руку одного брата, бросился к речке и скрылся в густой траве у берегов, а няня с меньшим братом моим побежала по дороге. Злодеи, приняв ее за дворянку, погнались за нею, и один из них ударил ее топором; в испуге она подставила руку, которая, однако, ее не защитила; острие, разрубив часть ладони, вонзилось в

плечо; страшный крик сильно тронул мое сердце. В то же время слышу я вопль брата, которого схватили и спрашивали, куда мы побежали»,— и юный Мертваго понял, что нужно выходить из укрытия.

На этот раз их, раздев до рубах, отпустили, Дмитрий тащил, как мог, окровавленную няню, дотащил до какой-то мельницы, где мельник сказал, что оставит только раненую, поскольку она не дворянка, «а нас он принять не смеет, боясь быть за то убитым со всем своим семейством», но обещал накормить. Только они сели поесть, как на мельницу ворвались казаки-пугачевцы. Мельник тотчас показал, куда спрятались мальчики, младших вынесли на руках, Дмитрия выволокли за волосы.

«Я увидел всю толпу у мельничного анбара,— рассказывает Мертваго,— нас поставили в средину ее и стали произносить приговор. Всяк говорил свое и предлагал, как меня убить; а братьев, как малолетних, отдать бездетным мужикам в приемыши. Некоторые предлагали бросить меня с камнем на шее в воду; другие — повесить, застрелить или изрубить, те же, которые были пьянее и старше, вздумали учить надо мною молодых казаков, не привыкших еще к убийству», но тут кто-то вспомнил, что Пугачев ищет грамотного мальчика себе в секретари и обещает за него пятьдесят рублей. «Меня начали экзаменовать, заставили писать углем на доске, задавали легкие задачи из арифметики и наконец признали достойным занять важное место секретаря у Пугачева». Потом юному дворянину топором отрубили косу («батюшка не любит долгих волос, это бабам носить прилично») и захватили его с собой вместе с братьями. По дороге им удалось бежать.

Нет, далеко не все крестьяне были охвачены духом убийства, когда дети Мертваго спрятались в какой-то избе, хозяева оставили их ночевать, зная, что рискуют жизнью. «Если сведают, что я скрыла у себя дворян,— сказала им хозяйка,— то меня, мужа моего и ребенка нашего убьют и дом сожгут, но быть так».

И вновь пустились в путь трое ребят, и вновь изловили их крестьяне и на этот раз повезли сдавать в город, где, как им сказали, за каждого привезенного на казнь дворянина дают десять рублей. И вот они едут знакомыми местами мимо разгромленных имений. «Я мог,— пишет Мертваго,— не только видеть, но и узнавать тела знакомых и родственников; сердце до того сжалось, что я уже не хотел оставаться в живых». Он сказал крестьянину, который вез их, связанных, продавать в Алатырь за десятку, что, если останется жив, дает ему слово, что он, крестьянин, не будет наказан за свои поступки. «На это он грозно возразил: "Врешь, этому не бывать; прошла уже ваша пора". Однако вскоре после того разговора развязал мне руки». За каждого мальчика действительно заплатили десять рублей (ну что же, дворяне крестьян продавали, вот теперь и крестьяне дворян продают, а если на убой, то мало ли крепостных погибло от лютости помещиков?) и отправили в алатырскую тюрьму. И здесь Дмитрий увидел мать и сестер, которых уже не чаял увидеть живыми. Но когда он радостно кинулся к матери, та холодно протянула ему руку. «Где отец?» — спросила она. Оказалось, что она уже двое суток молчит и в поступках ее заметно помешательство.

«На другой день,— продолжает свой рассказ Мертваго,— поутру вошла к нам в тюрьму... горничная двоюродной сестры нашей, убитой во время смятения. Матушка спросила ее, не знает ли она чего о батюшке.— "Его вчера повесили в деревне вашей",— отвечала та хладнокровно».

Известие было верно. Старший Мертваго прибежал в свою деревню, где его спрятали крестьяне. Потом он попросил их отвезти его в город (идти он не мог), его укрыли и стали было увозить, но какая-то баба, стиравшая на речке белье, увидела их и выдала пугачевцам. Те привезли его обратно в деревню, собрали дворню и крестьян,

объявили им, что каждый, кто хочет, может бить своего помещика, крестьяне отказались бить и, напротив, просили его помиловать, но «казаки его повесили, и стреляли в него, ранили в плечо и бок».

Дальше пошла та кровавая неразбериха, как правило, присущая гражданской войне. В Алатырь ворвался прежний (царский) воевода, пугачевцев взяли пьяными, часть замучили до смерти, других отправили в тюрьму. Когда вошли правительственные казаки, этих пленных «подняли на пики и расстреляли. Совершив этот последний подвиг», казаки отбыли из города.

Семья Мертваго осталась жить в Алатыре, мать после всего пережитого стала очень набожна, о детях своих позабыла, а юный Дмитрий «делал, что хотел, окружил себя мальчишками разного состояния и вскоре умел взять над ними большую власть». Любопытно, в какие игры играли эти дети времен междоусобий,— уж конечно, они играли в войну. Однажды та партия, начальником которой был юный Мертваго, поймала «лазутчика» враждебной стороны. «Я собрал начальников моей партии,— пишет Мертваго,— нарядил суд, который решил виновного повесить, и как ни любил я этого мальчика, но привел в исполнение приговор суда». На счастье, один из солдат гарнизона, проходя мимо, увидел происходящее «и вовремя снял повешенного, который долго лежал без чувств». Дмитрий был в отчаянии, просил судить его, как убийцу, и дал себе слово с тех пор «играть только в козлы и чушки». Так отражалась гражданская война в сознании детей.

А как отражалась она в сознании простых людей?

Самарский воевода И. Савельев подал генерал-майору князю Голицыну, командующему карательными войсками, рапорт по поводу некоего кузнеца Алексея Горбунова, который на улицах рассказывал людям о Пугачеве. В этом рапорте допрос Горбунова передан с необыкновенной живостью (кажется, так записать его речь можно было только стенографически); по-видимому, и сам Горбунов обрадовался случаю изложить свои взгляды. Этот редкий документ (впервые опубликованный в книге А. И. Клибанова) рисует не только характер рассказчика, но и его умонастроение, отражение в его сознании политических событий, да и самый дух времени.

Кузнец начал свой рассказ «исторически»: некогда Петр I казнил стрельцов, но потом увидел, что они невинны и пострадали по наветам бояр, а потому сказал им, что «будет и еще Петр, который отмстит боярам за стрелецкую неповинную кровь»,— это, так сказать, пролог. Далее идет рассказ о том, как Петр III хотел ввести старую веру, но бояре не дали ему это сделать, отказали ему в положенных почестях — «"Какой де ты нам царь, ты веру нашу поругал, мы не хотим тебя царем иметь!" Ну вот — ох, батюшка царь небесный,— эти слова Горбунов несколько раз со вздохом повторил (говорит в примечании тот, кто записывал — следователь? писец?),— как они это ему сказали, так он, батюшка, закручинился, запечалился и залился слезами, а потом сказал: "Ну, господа бояре, когда я вам не люб, так выбирайте себе ково хотите, бог с вами, заплатит вам бог царь небесный, прощайте". И с теми словами вышел из палаты. Ну вот, приехавши он домой, заперся батюшка один-одинехонек в своей спальне и не приказал часовому никого к себе пускать, а сам лиок батюшка на постелю, плакал и грустил». Далее идет история о том, как Петр Федорович, предвидя, что бояре придут ночью его извести, предложил часовому лечь на его постель, а сам встал на часы.

Бояре пришли в полночь к часовому,— рассказывал кузнец,— «и, не узнав, что он государь, давали ему сребра и злата... Ну вот, он, батюшка, видит, что они хотят ево погубить, сказал им: «Нет, господа, не нада мне вашева ни злата, ни серебра, дайте мне только такой указ, чтоб я с ним всю Россию с конца в конец мог пройти». Ну вот, бояре стали советовать между собой, можно ли дать такой указ или не можно, и

напоследок присудили дать ему оной, и, такой указ написав, дали и смеялись еще неразумию часового, что он злата и сребра не взял, а взял такой указ. («При сей речи,— гласит примечание,— и сам враль смеялся, говоря, они-де думали, что ето и впрямь часовой, а тово не узнали, что он сам батюшка».) И потом вошли в спальню и, думая, что на постели лежит государь, задушили часового и сами пошли к государыне Катерине Алексеевне и печальным лицом сказали, что Петр Федорович преставился. Ну, а государыня, вот видишь, что изволила сказать: преставился Петр, да не тот, так и быть, что уже делать. Ну, а государь-та получа тот указ и пошел бога ради странствовать в России». Так отразились события в Ропше в сознании простых людей.

Но кузнец рассказывал не только то, что слышал от других, он — очевидец событий, был под Саратовом, когда туда пришел Пугачев, встретил в его лагере много знакомых, снабжал пугачевцев инструментами и оковывал для них пушки; когда Пугачев открыл населению провиантские склады, «из которых народ брал всио безденежно» (Горбунов, по его словам, тоже «поживился тут оржаною мукою двумя большими мешками»).

В Саратове он видел, как топили в Волге дворян. Пугачев приказал их «гнать в воду, что тот час и исполнено, и гнали вот каким образом: по ином стреляли из ружья, а другово кололи копьями, и так принужден был каждый бросаться в воду и утопали». На вопрос следователя: «Как ты думаешь, хорошо ето или дурно?» — Горбунов ответил: «Я не знаю, как вам покажется, а мне кажется в етом власть бога нашего, царя небеснова и государева». Когда же кузнец отказался называть Пугачева злодеем, а ему в ответ на это напомнили о расправе самозванца с дворянами и сказали: «Ну как же он не злодей, если так зверствовал», Горбунов рассмеялся и объяснил: «Ну вить я давича сказал вам, что есть на ето писание, вить Первой император казнил стрельцов? Ну так кровь за кровь отмщается».

Бесконечно интересен этот Горбунов. Сколько в нем сочувствия и мягкости, когда он говорит о несчастном царе «Петре III», с каким вниманием следит он за сменой его душевных переживаний, когда, узнав об измене бояр, «лиок батюшка на постелю, плакал и грустил». Но лишь дело доходит до дворян, тут как ножом отрезало всякое человеческое сочувствие. Об их мучительной гибели он говорит с совершенным равнодушием. Точно с тем, с каким горничная, встретив в тюрьме жену и детей Мертваго, сообщила им о том, что его повесили.

Но ведь и у дворян, присутствовавших при расправе с восставшими, тоже ни жалости, ни сочувствия не было. Поразительную картину являет собой наш Андрей Тимофеевич Болотов в Москве, на площади, в минуты казни Пугачева.

Прежде всего он «неведомо как рад был», что занял наилучшее место «для смотрения», возможно ближе к эшафоту, который «в некотором и нарочито великом отдалении окружен был сомкнутым тесно фрунтом войск, поставленных тут с заряженными ружьями, и внутрь сего обширного круга непускаемо было никого из подлого народа». Болотов с приятелем беспрепятственно вошел в этот круг, потому что они были дворяне, «а дворян и господ пропускали всех без остановки». Таким образом, Емельян Иванович умирал среди врагов, друзья были далеко за линией войск.

Болотов все очень хорошо и подробно рассмотрел, а потом описал и нарисовал — эшафот со столбом на его середине, с колесом на столбе «с железною острою спицею», ждущей головы Пугачева, виселицы с висящими на них и еще пустыми петлями. А главное, он передает настроение стоящих на площади людей.

После чтения приговора Пугачева «стали класть на плаху для обрубания, в силу сентенции, наперед у него рук и ног, а потом и головы. Были многие в народе, которые думали, что не воспоследует ли милостивого указа и ему прощения, и бездельники

того желали, а все добрые люди того опасались. Но опасение сие было напрасное: преступлений его было не так мало, чтобы достоин он был какого помилования; к тому же и императрица не хотела сама и мешаться в это дело, а передала оное в полное и самовластное решение сената; итак, должен он был неотменно получить достойную мзду за все свои злодейства. Совсем тем произошло при казни его нечто странное и неожидаемое, и вместо того, чтоб, в силу сентенции, наперед его четвертовать и отрубить ему руки и ноги, палач вдруг отрубил ему прежде всего голову, и богу уже известно, каким образом это сделалось: не то палач был к тому от злодеев подкуплен, чтобы он не дал ему долго мучиться, не то произошло от действительной ошибки (на самом деле палач действовал по тайной инструкции Екатерины.— *О. Ч.*), как бы то ни было, но мы услышали только, что стоявший там подле самого его какой-то чиновник вдруг на палача с сердцем закричал: „Ах, сукин сын! Что ты это сделал! — И потом: — Ну скорее — руки и ноги"».

Просвещенный Болотов предстает перед нами в свете, куда более страшном, чем тот кузнец, что описывал смерть саратовских дворян — тот по крайней мере равнодушен к судьбе погибавших, Болотов жаждет мучений врага.

Словом, возникло положение для страны трагическое: глубокий раскол нации; как дворяне не видели в «подлом народе» людей, так и крестьяне своих господ за людей не считали.

Конечно, и тут картина общества была много сложней, дворянство и крестьянство были не только разъединены, но и соединены общностью жизни (вспомним маленькую Анну Карамышеву и ее няню — глубочайшая внутренняя связь!), соучастием в едином культурном творческом процессе. Были одновременно (и в этом странность века) и единство и глубокий, как пропасть, общественный раскол.

Но можно ли найти среди дворянской интеллигенции той поры людей, которые до конца понимали эту трагедию?

Одного мы, бесспорно, можем назвать.

В 1782 году, в двадцатый юбилей своей коронации, Екатерина учредила новый орден — св. Владимира. Вручение этих орденов происходило торжественно, императрица раздавала их сама, а новопожалованные кавалеры принимали их коленопреклоненно. Преклонять колени перед монархом, целовать его руку — в этом дворяне не видели ничего зазорного, напротив, это было своего рода общение, означало пусть мимолетную, но все же близость к «священной особе» (иные всю жизнь помнили и внукам рассказывали о счастливой минуте), словно бы от нее исходило некое сияние, отблеск которого падал на коленопреклоненного.

И вот однажды, когда Екатерина раздавала ордена св. Владимира и новопожалованные преклоняли колени, один из них колен не преклонил. Чем кончился этот эпизод (который мы узнаем от сына и биографа Радищева — Павла), мы не знаем, видимо — ничем, так как Радищев орден получил и продолжал работать в прежней должности (на петербургской таможне). Нам важно другое — он не преклонил колен.

Что же это за человек, что за характер? Дворянин (у его отца было две тысячи душ, владение крупное, правда, при большом семействе); образованный человек (учился за границей); довольно крупный чиновник, любимец (что важно) очень знатного вельможи А. Р. Воронцова; добавим — красавец, любитель танцев, охоты, любимец женщин — казалось бы, по всем внешним знакам обычный характер жизнерадостного XYIII века. И вот оказалось, ни в мелком, ни в главном он не смог совместиться со своим временем.

В оппозиции к правительству, ко двору стояли многие дворяне, можно сказать,

что критика придворной жизни, инвективы против высокомерия, двоедушия вельмож, их продажности, развращенности — все это стало общим местом. Но книга Радищева не может быть сравнена ни с одной из современных ей — ни по силе художественного изображения, ни по глубине понимания родной страны. Мы проходим ее в школе, трудную и своим архаическим языком, и структурой, и проблемами,— и вряд ли понимаем эту великую книгу.

В главе «Спасская полесть» помещена знаменитая картина сна. Автору снится, будто это он (а не Екатерина) сидит на царском престоле. «Место моего восседания было из чистого злата и хитро искладенными драгими разного цвета каменьями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло с блеском моих одежд. Глава моя украшалася венцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из сребра изваянном, на коем изображалися морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода; везде видно было вверху имя мое, носимое Гением славы, над всеми сими подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой... На твердом коромысле возвешенные зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью *Закон милосердия»* и т. д. — перед нами сгущенные в гротеск бесчисленные апофеозы, изображающие Екатерину — владычицу, законодательницу, победительницу в войнах. Гротеск разрастается, приобретая отблеск трагикомического. Вкруг трона «с робким подобострастием» толпились придворные. «Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание; казалось, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапно смятение распростерло мрачный покров свой по чертам веселия... Искаженные взгляды и озирания являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящие беды ... Уже скорыми в сердца всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самыя кончины мучительнее. Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулись к ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч... — тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталося косого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать: «Да здравствует наш великий государь...» Его хвалят — он расширил пределы отечества, расширил торговлю, он мудрый законодатель — все это тысячи раз говорилось Екатерине.

Между тем неподалеку, опершись на колонну, стояла суровая женщина в простом платье, она вздыхала и «являла вид презрения и негодования». Только лишь государь, раздав приказания и награды, собрался отдохнуть и повеселиться в кругу придворных, «усладиться по труде» (любимейшее занятие Екатерины — «мешать дело с бездельем»), как вдруг суровая женщина сказала ему: «Постой и подойди ко мне». И он не посмел ослушаться. «На обоих глазах бельма,— сказала странница,— а ты столь решительно судил о всем». Потом коснулась обоих моих глаз и сняла с них толстую пелену, подобну роговому раствору. «Ты видишь,— сказала она мне,— что ты был слеп и слеп всесовершенно. Я есмь Истина». Государь стал видеть — и что же он увидел!

«Одежды мои, столь блестящие, казалися замараны кровью и омочены слезами. На перстах моих виделися мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине. Вокруг меня стоящие являлися и того скареднее. Вся внутренность их казалась черною и сгораемою тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга

искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть». Раскрывается великий обман, в котором жил государь, начинается его прозрение. Он обращается с грозными обвинениями к тем, кто окружает его престол, а главное, «обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моея обязанности, познал, откуду проистекает мое право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился».

Нарисованная Радищевым картина сна каждым эпизодом своим, каждым словом бьет в царствование Екатерины, но это все же картина нравоучительно-аллегорическая (а на аллегории и сама Екатерина была мастер, и мало было надежды на то, чтобы она тоже «вострепетала», «боясь служения своего»). Радищевское «Путешествие» развертывает трагедию России, данную правдиво и безжалостно в ужасных реальных подробностях.

Радищев, как почти вся интеллигенция второй половины XVIII века, был воспитан на идеях Просвещения, его благородных принципах социального равенства и свободы духа, но отличие Радищева в том, что эти идеи были им восприняты не отвлеченно-философически. И не французская революция, как это часто полагают, определила воззрения писателя, его вело великое сострадание к русскому народу, к реальному, не отвлеченному русскому мужику. Поразительную особенность книги составляет сочетание: с одной стороны, основательность, с какой рассмотрено положение народа в разных — социальных, политических и нравственных — аспектах, а с другой стороны — страстное чувство, всепоглощающая, жгучая жалость к своему народу.

Собственно, вся книга Радищева — мучительное сдирание бельма с глаз дворянского общества. Продажа крестьян (даже с аукциона!) была повседневностью, объявление в газете (продается девка, продается повар) можно было прочесть каждый день, к этому привыкли, более того, об этом дворянское общество как бы условилось не говорить или говорить в самых общих восклицаниях. Радищев рисует — подробно и беспощадно — реальную картину распродажи имущества промотавшегося помещика. Вместе с домом и скарбом на торги было выставлено шесть душ мужского и женского пола. «На дешевое охотников всегда много. Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где оная производится, стоят неподвижны на продажу осужденные.

Старик лет 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому судьба его отдаст в руки, кто закроет его глаза. С отцом господина своего он был в Крымском походе, при фельдмаршале Минихе; в Франкфуртскую баталию он раненого господина своего унес на плечах из строю. Возвратясь домой, был дядькою своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросясь за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме, и с опасностью своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером.

Старуха 80 лет, жена его, была кормилицею матери своего молодого барина; его была нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведена на сие торжище...» Картина ужасной распродажи ясно говорит нам о том, как непрочны могут быть жизненные связи, соединяющие господина и слугу, как легко разрывает их тот закон, который знаменует глубокий раскол сословий.

Страшно читать эту книгу, не раз хочется ее захлопнуть, но понимаешь, что нельзя, что ты обязан идти за автором, который безжалостно ведет тебя дальше.

Бабьи вопли слышны уже издалека — рекрутский набор! Молодые парни навеки (или в лучшем случае на 25 лет) покидают родную деревню. Без них умрут родители,

без них состарятся невесты и жены — кто забудет горестное причитание невесты, которой не дали обвенчаться с женихом (авось бог «дал бы мне паренька на утешение»)! И вдруг — веселое лицо рекрута, это молодой крепостной, образованный (ездил с барином за границу), который, вернувшись, попал под власть злобной бабы-помещицы, для него солдатчина — освобождение от издевательств и истязаний.

Радищев не ограничивается сильными (рвущими душу) зарисовками, он исследует социальное зло во всей его глубине. В главе «Зайцово» автор встретился со своим давним знакомым, председателем уголовной палаты, который рассказал ему о преступлении и о том, как оно рассматривалось в судебных инстанциях. Семья помещика, который «начал службу свою при дворе истопником, произведен в лакеи» и так шаг за шагом пробрался в дворянство, стал владельцем душ. Барская семья, женщины и мужчины, сознавая свою полную безнаказанность, изощрялись в издевательствах и зверствах; увечья, истязания, насилия над женщинами — все это было повседневностью. И вот однажды в день крестьянской свадьбы барчуки потащили невесту в клеть, жених кинулся ее спасать — поразительной силы сцены, когда молодой крестьянин сражался против троих барчуков, когда они с невестой бежали и за ними была погоня. «Жених, видя, что они его настигать начали, выхватил заборину и стал защищаться. Между тем шум привлек других крестьян ко двору господскому. Они, соболезнуя о участи молодого крестьянина и имея сердце озлобленное против своих господ, его заступили». Тут выбежал сам помещик «и первого, кто встретился, ударил своею тростию столь сильно, что упал бесчувствен на землю. Сие было сигналом к общему наступлению. Они окружили всех четверых господ и, коротко сказать, убили их до смерти на том же месте. Толико ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после призналися».

Когда это дело пришло в уголовную палату, для ее председателя невиновность крестьян была «математической ясностью». Но члены уголовной палаты «возопили» против этого мнения «единым голосом», называли председателя палаты «поощрителем убийства» и «сообщником убийцов». «Может ли дворянин, — говорили они, — отныне жить в деревне покоен? Может ли он видеть веления его исполняемы? Если ослушники воли господина своего, а паче его убийцы невинными признаваемы будут, то повиновение прервется, связь домашняя рушится, будет паки хаос, в начальных обществах обитающий ... . Тогда огромное сложение общества начнет валиться на части и издыхати в отдаленности от целого; тогда престол царский, где ныне опора, крепость и сопряжения общества зиждутся, обветшает и сокрушится...» Все дворянское сословие, от мелкого помещика до наместника (высшая власть в губернии), поднялось на защиту своего «природного права» распоряжаться судьбой и жизнью крепостного. Председателю уголовной палаты, пытавшемуся защитить крестьян от ярости дворянства, пришлось уйти в отставку.

«Бунтовщик, хуже Пугачева», — сказала о Радищеве Екатерина, прочтя «Путешествие». Конечно, бунтовщик — уже по одному тому, что в душе читателя поднимается бунт против бесчеловечности и дикости социального устройства.

А призывал ли Радищев к бунту впрямую? Вопрос этот так же сложен, как и самая крестьянская проблема в крепостнической России. Радищев считал, что крепостное право должно быть отменено постепенно и сверху («по манию царя», как скажет позднее Пушкин). Но вместе с тем он понимал, что гнет невыносим, что бунт возможен и в нем единственная реальная надежда на освобождение. Ода «Вольность», вставленная в текст «Путешествия», ясно провозглашает, что царь, если он перестал выполнять волю поставившего его народа («тебя облек я во парифу, — говорит

народ,— равенство в обществе блюсти»), может быть не только низложен, но и казнен. Знаменитые строки:

Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы:
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

Страстные обвинения всему социальному строю крепостнической России, неотразимая логика, великий гнев — все это придало книге Радищева силу взрыва. Ее появление привело, как известно, к аресту и смертному приговору, вынесенному сенатом за призыв к бунту и цареубийству. Но удивительна тут не позиция сената, приговорившего Радищева к смерти, а поведение Екатерины: она не только отменила смертную казнь, но заменила ее несравненно более легким наказанием — не крепостью, куда она позже отправит Новикова (прежде всего, конечно, за его связь с масонством и, стало быть, с наследником Павлом), а всего лишь ссылкой, которая к тому же, Екатерина не могла не знать об этом, была всемерно смягчена, благодаря неустанной помощи ссыльному со стороны А. Р. Воронцова. Не потому ли она сдержала свой гнев, что считала и себя тут виноватой? Разве не она на свой счет в числе других молодых дворян послала Радищева за границу (и к тому же демонстративно запретила им брать с собой крепостных слуг)? Разве не сама она энергично распространяла идеи Просвещения? Не могла она не помнить собственные умонастроения тех лет. Когда в Париже закрыли издание знаменитой «Энциклопедии», она приглашала издателей продолжать их дело в Петербурге. В воспитатели сыну звала Д'Аламбера; в воспитатели любимому внуку пригласила республиканца Лагарпа, который внушил великому князю сочувствие французской революции (в своих мемуарах Адам Чарторыжский рассказал, как Александр признался ему в сочувствии французской революции, если не считать ее жестокостей). Демократические и даже революционные идеи не были, по-видимому, чужды части русской аристократии в первоначальный период революции (и Екатерина это знала). Как мы помним, один из самых крупных (и близких императрице) вельмож А. С. Строганов отдал своего сына на воспитание французу-республиканцу (и в будущем члену Конвента) Ромму и отпустил с ним во Францию; Павел Строганов с головой окунулся в революционные события. Двое князей Голицыных участвовали в штурме Бастилии, а секретарь русского посольства в Париже Дубровский собирался устроить тут русскую типографию и печатать в ней «Декларацию прав человека и гражданина».

Вокруг Радищева были люди, которые его уважали, им восхищались. И в своем сочувствии народу он не был одинок — стоит вспомнить публицистику Новикова. Но ни один писатель XVIII века не достиг таких высот общественной мысли, никто не осмелился с такой страстью поднять голос в защиту закрепощенного народа. И наконец, только Радищев додумался и посмел грозить дворянскому обществу крестьянским бунтом, уловив тем самым важнейшую функцию крестьянского восстания: страхом расправы положить предел крепостническому произволу.

Но если рассматривать наши портреты в неестественном и кровавом свете гражданской войны, они предстанут перед нами и вовсе непонятными. Но подобный взгляд привел бы нас к ошибкам самым грубым, к совершенному непониманию эпохи. Гражданская война, являясь естественным следствием социальных условий, естествен-

ным состоянием общества быть, разумеется, не могла, социальная система вернулась к своему прежнему, пусть неустойчивому равновесию. Кое-где еще погромыхивало, но в общем порядок (опять же несправедливый и опять же ценой большой крови) был восстановлен.

Немногие (в их числе Екатерина и кое-кто из политических деятелей ее поры, например Бибиков, Сиверс) понимали истинные причины катастрофы. Болотов, например, не понимал совсем. Ему не пришло в голову связать судьбу замученной девочки-кружевницы, которую он так жалел, с народным мятежом, дворяне-убийцы кажутся ему «нетипичными», а приведение крестьян к покорности — естественным.

Вернувшись домой из Москвы после казни Пугачева, Болотов столкнулся с открытым возмущением мужиков, почти бунтом. Недовольные наложенным на них оброком крестьяне собрались у дома Болотова, требуя, чтобы тот вышел — и всего более шумел некий Роман. Андрей Тимофеевич, у которого при этом сердце «как голубь затрепетало», все же к ним вышел и объяснил, что оброк наложен царицей (это были крестьяне государственного имения, которым управлял Болотов).

«— Как бы не так! — завопил Роман. — Ты-ста думаешь, что мы тому и поверим. Государыня-ста не знает о том и не ведает, а это все твои довести, и ты сам хочешь денежками нашими набить себе карманы...

— Ах, ты, бездельник! — закричал я на него. — Как ты смеешь со мной так говорить?

— Мы-ста не бездельники, — закричали они во множество голосов.

А Роман, подскочив к крыльцу, еще более закричал.

— И что же ты за боярин, чтобы не сметь с тобою говорить; ну, так знай же, что мы твоего приказа не слушаем, словам твоим не верим и такого оброка платить не хотим и никак не станем!»

В конце концов непокорный мужик побежал вверх по ступенькам и уже протянул руку, чтобы схватить Андрея Тимофеевича за шиворот и сбросить с крыльца (а на это из окна глядели его «боярыни»), но тут вступились солдаты, Роман был схвачен и наказан плетьми, с тех пор «из крестьян не посмел никто и кукнуть». Никто, кроме Романа: узнав, что императрица в Москве, он решил идти жаловаться ей. Но бедного правдолюбца в Москве перехватили, сослали в Сибирь, «а через то успокоилась и вся волость». И занялся Андрей Тимофеевич текущими делами, кончил строить больницу, добыл для нее хорошего врача-немца, пошли именины, крестины, праздники. «Нередкие свидания с соседями, обращающимися со мной отчасу дружелюбнее, разные домашние заботы и катание в большой своей лодке по пруду и стреляние с ней из маленьких пушечек, гуляние по садам и рощам придавали времени сему много приятности». Успокоился Андрей Тимофеевич. Пугачев был казнен, из домашних врагов «никто не кукнул», Роман в это время, надо думать, все еще шел в Сибирь.

Социальная система пришла в равновесие, уравновесилась и болотовская душа.

Это явление для нашей задачи настолько важное — в конце концов речь идет не только о способе существования, но и о смысле его, о цели жизни и Болотова и вообще дворян той эпохи, — что к нему необходимо приглядеться пристальней. А для этого полезно было бы сравнить Болотова с человеком, совершенно противоположным по типу, полярным по характеру и судьбе, тоже знаменитым мемуаристом XVIII века — Григорием Винским.

ГЛАВА VII

ИСКАТЬ ВОЗМОЖНОГО

Молодой Болотов был адъютантом любимца Петра III генерала Корфа, этой должностью сильно тяготился, тем более что вся его служба состояла в том, чтобы целый день мотаться по городу верхом возле кареты генерала, да еще с условием, «чтоб одна только голова лошади ровнялась с дверцами кареты» и чтоб «ни вперед далее и не выдаваться, ни позади не отставать» (а его, между прочим, обдавало грязью заднее колесо). По приезде во дворец Корф удалялся в покои императора, а его адъютант часами торчал в передней. Поскольку ум Андрея Тимофеевича всегда был остер и инициативен, он догадался найти за печкой некое пространство, такое узкое, что, втиснувшись в него, можно было стоять стоймя, не падать, и при этом сладко спать,— открытие Болотова было настолько удачным, что у желанного запечья становилась очередь из адъютантов и пажей, жаждавших хоть немного поспать на нудной службе.

Словом, жизнь была безрадостной («прямо собачья жизнь»), ощущение, что она проходит впустую, все сильнее, Болотов мечтал об отставке, которая стала возможной теперь, когда вышел указ о вольности дворянства,— и вот, наконец, ее получил.

«Я сам себе почти не верил,— пишет он,— что был тогда уже неслужащим, и, идучи, не слыхал ног под собою: мне казалось, что я иду по воздуху и на аршин от земли возвышенным и не помню, чтоб когда-нибудь во все течение жизни моей был я рад и весел, как в сей достопамятный день, а особливо в первые минуты абшида (отставки.— *О. Ч.*). Я бежал, не оглядываясь, с Васильевского острова, хватал то и дело за карман, власно как боясь, чтоб не ушла драгоценная сия бумага».

Он шел и в радости раздавал деньги, все, какие были с собой, попадавшимся по дороге нищим.

Его возвращение в родную деревню было полно для него волнения, восторга и поэзии. «И ах! как вспрыгалось и вострепеталось сердце мое от радости и удовольствия, когда увидел я вдруг перед собою те высокие березовые рощи, которые окружают селение наше с стороны северной и делают его неприметным и с сей стороны невидимым. Я... не мог довольно насытить зрения своего, смотря на ближние наши поля и все знакомые еще мне рощи и деревья. Мне казалось, что все они приветствовали меня, разговаривали со мною и радовались моему приезду. Я сам здоровался и говорил со всеми ими в своих мыслях... Не успели мы въехать в длинный свой между садов проулок, как радующийся кучер мой полетел со мною, как стрела, и раздавался только по рощам стук и громкий свист и ежеминутные его крики на лошадей и понукание оных». Встреча со старым домом потрясла Болотова нахлынувшими воспоминаниями, и тут же он стал прикидывать, как бы ему «обостроэкиться получше» в родном, дорогом ему гнезде.

Винский, приезжая в родные места, сваливался на голову близких, как божья кара. Кстати, у него родного дома и не было, мать его жила с угрюмым мужем, который пасынка не жаловал, да и трудно было его любить, когда он являлся в поместье, промотавшийся, одичавший, когда нужно было еще и платить его долги,— а однажды, когда пришлось выкупать его самого из магистрата после очередного

буйства, мать вынуждена была не только отдать свои сбережения, «но многое продать и заложить».

Болотов с жаром принялся за работу. Денег у него тоже не было, ремонт (дома, кареты и т. д.), строительство, разбивку сада — все это он должен был делать своими силами. И вот уж разбит регулярный сад, и вот уже пошел в Москву на рынок обоз с хлебом, и приведен в порядок дом. И украсился сад «тою прозрачною и из дуг и столбов сделанною осьмиугольною отверстою (так любит все это Болотов, что не может кончить перечисления.— *О. Ч.*) беседочкою, которая построена была под группою случившихся тут высоких и прямых берез». Целую зиму экспериментирует он с овсом и потому ждет не дождется весны, чтобы проверить свои наблюдения. Но этого мало: еще отправляясь в деревню, он закупил множество книг, теперь он и переводит, и сочиняет. И тут в его жизни произошел великий переворот: он случайно увидел в Москве книжку, а как «на нее взглянул, вмиг полюбил»,— то была первая книга «Трудов Вольного экономического общества», которое приглашало деревенских дворян принять участие в его работе и даже для начала задало им множество вопросов по разным областям экономики.

Болотов тотчас за работу и принялся — отвечать на вопросы подробно, обстоятельно, с рисунками; ему, начинающему хозяину, не хватило знаний, и он призвал на помощь старика-приказчика — «усачу сему было сие крайне приятно, и я и поныне не могу еще забыть, как он, стоючи в комнате моей у притолоки и спрятав обе руки свои в рукава овчинного своего тулупа, так, как в муфту, с некаким особым и внутреннее удовольствие изъявляющим видом рассказывал мне, вопрошавшему его, что знал и ведал и власно как гордился своими сведениями» (разве же это не отличный жанровый портрет?).

Работа Болотова по заданиям «Вольного экономического общества» стала действительно существенной частью его жизни; «власно как предчувствуя, что судьба предназначила меня быть знаменитым экономическим писателем,— говорит он,— и мне доведется писать много и обо многом, начал не только входить во все части сельской экономии и наивозможнейшим вникновением и прилежностию и для удостоверения себя во всем предпринимать многоразличные опыты, но и все узнанное и примеченное записывать для себя в особую книжку, назвав ее «Экономический магазин», власно и так, как бы предвидел, что некогда буду я и в печать издавать журнал под сим названием».

Инициатива, идущая сверху, от центральной власти, была с энтузиазмом подхвачена людьми провинции. Таким образом: от Екатерины к вельможам, от них к Болотову, от Болотова к «усачу». В этом смысле Болотов был из тех, кто как бы стал опорой правительства.

На Винского никто и никогда опереться не мог.

Вернувшись в родной Почеп и увидев, что все его имение состоит из пустого господского дома, мельницы и нескольких семей крепостных, он собрал у себя восемнадцать человек одних мужчин, отчего его жилище «походило на запорожскую сечь ...Всегда праздные, часто пьяные, не воспрещаемые ни в каких шалостях, скоро стали страшны всему городу... „Дюжий сам по себе и подкрепляемый 18-ю забияками, на что я не отваживался? — говорит он.— Сколько раз я был близок сделаться убийцею и убитым, что особенно хочу изъяснить в приключении монастырском“». Это приключение и по сюжету, а главное, по языку, которым изложено, стоит того, чтобы его привести.

Однажды, напившись так, что «едва мог различать предметы», Винский отправился в монастырь, где встретил некоего «панка», который неизвестно почему

вызвал его гнев. Григорий ударом кулака сшиб «панка» с ног, положив тем начало драке, тем более свирепой, что к нему на помощь пришла банда, составленная из его крестьян. Об этой драке он потом уже совершенно ничего не помнил. «По рассказам же людей и монахов, у отца-экклезиарха с первого моего размаху бурая будто отгорела; у отца-строителя два зуба пошатнулись». В ходе побоища «одна вещица, видно довольно полновесная, растворив мне надвое лоб, столкнула на землю», после чего его люди, кое-как взвалив его на повозку, увезли домой. «Проспавши мертвым сном до утра», он, проснувшись, пришел в ужас, полагая, что в такой драке кто-нибудь непременно должен был быть убит. Но «явным милосердием Божием» убийства не произошло.

Болотов неустанно строил, сажал, сочинял, рисовал, собирал коллекции, разбивал парки. Винский бил, крушил, так что на его пути «безбородых, беззубых и с переломанными боками и ребрами находилось довольно». Свое владение — дом и мельницу — он спустил и вот, наконец, на паре «плохих лошаденок» потащился в Петербург, чтобы и здесь продолжать свою «ничтожную жизнь».

А Болотов не только неустанно работал на полях и в садах, но и от всей души наслаждался природой, «в особливости занимался увеселением себя красотами натуры и получил охоту собирать все мысли, относящиеся до сего блаженного искусства, и записывать оные, дабы впредь можно было сочинять что-нибудь по сему предмету». Природа — непрестанный источник радости, которым он не может «довольно навеселиться».

Андрей Тимофеевич ждет весны не только для того, чтобы осуществить все, задуманное за зиму, но и потому, что хочет видеть, как просыпается природа, лезет из земли трава, распускаются листья — это его радость.

Радостью Григория Винского было сидеть в трактире.

Он неуклонно шел к катастрофе, удивительным образом все понимая и ничему не умея противостоять. «Я всегда предчувствовал бедствия и напасти, мне случавшиеся; но избегать их никогда не мог, как бы насильно увлекаемый злым демоном. По совершении несчастья, рассматривая обстоятельства, ему предшествовавшие, всегда открывалась при них возможность увернуться от беды, и иногда так, что один только шаг в сторону или одна коротенькая записочка все дело могли бы поправить; и я, почти уверенный в том, шел, однако, к разверзшейся предо мной пропасти».

Две души перед нами. Одна в покое и равновесии, если ее что и тревожит, то всегда лишь внешние причины — пожар из-за непрочищенной трубы; или вдруг, как снег на голову, свалился манифест о межевании (попытка Екатерины упорядочить землевладение), а с ним и великая тревога — не отберут ли землю, бог знает когда и на основании каких прав полученную; болезнь. Но пожар потушат, в делах размежевания с соседями Андрей Тимофеевич, «употребив и лисий хвост и волчий рот», в конце концов все устроит наилучшим образом; против болезни собственным разумением изобретет декокт (или придумает замечательный способ — перышко, которое, если почесать им в носу и вызвать чихание, вылечивает совершенно). Безумно напугала семью чума, бродившая неподалеку,— но она прошла; привел в ужас Пугачев — но и эта гроза пролетела мимо, и все разрешилось самым благополучным образом в Москве на Болоте. Теплый, уютный мир Болотова, всколыхнувшись, неизменно и счастливо успокаивался. И был в нем добрый хозяин, бог, провидение, которое, если судить по болотовским запискам, только тем и было занято, что ограждало от напастей его семью.

Винский жил, «насильно увлекаемый злым демоном», который как бы раздвоил (или, как сказал бы он сам, растворил надвое) его душу, заставляя ее буйно

бесчинствовать и тут же хладнокровно наблюдать собственные бесчинства. Вот, например, тот самый случай, после которого матери пришлось выкупать Григория из магистрата.

В его окружении был некто Тауберт, «петербургский немчик», шляпочник по профессии, у них с Винским была обоюдная неприязнь. И вот однажды, при проводах Винского из Москвы, он увидел, что Тауберт о чем-то спорит с его приятелем. Далее следует знакомая нам картина — удар кулака и т. д. Но затем Винский (который был «уже гораздо заполпьяна») с его слугой Ванькой схватили Тауберта за волосы и потащили его по земле через пустырь поперек поля к Серпуховской дороге. «Таща и по временам тузя нашего пленного довольно долго и не приближаясь к заставе, но видя или, лучше, чувствуя себя совершенно в пустом месте, я опомнился, бросил страдальца и, схватя Ваньку за руку, ударился бежать».

Винский действительно как бы со стороны видит эту сцену, где Тауберт — страдалец и жертва, а сам он — насильник и палач. «Вот происшествие, — пишет Винский, — которого я никогда не могу вспомнить без содрогания, и не знаю сам, почему оно так тяжело лежит на моей душе; разве потому, что я точно был обидчик и сея обиды никогда ничем не загладил?» Эпизод с Таубертом — далеко не самое худшее из того, что творил наш герой. («Все то, что буйная распуста имеет отвратительнейшего и порочнейшего, производимо было мною без малейшего зазрения. Ни чин, ни лета, ни родство, ни знакомство не защищали никого от моего буйства».) И все же несчастный Тауберт запомнился ему более всего.

Но, убежав от избитого Тауберта в поле, Винский заблудился, они с Ванькой брели наугад, как вдруг «при начавшей светать ночи, — пишет Винский, — увидал мой Ванька и показал мне идущего на нас довольно скоро человека, от которого едва увернувшись к случившемуся тут забору, я приметил, что это был мой немчик, выбитый, по-видимому, из памяти, направлявший свои стопы от Москвы прямо в поле».

Если Болотов с любопытством и радостным изумлением рассматривает окружающий его мир, то Винский все пристальнее вглядывается в собственную душу, чем больше вглядывается, тем меньше она ему нравится и вызывает, наконец, на самые мизантропические мысли. Пусть говорят, рассуждает он, что «человек по природе ни худ, ни добр, тем и другим делает его воспитание; но взойдя всяк в беспристрастное розыскание своих деяний и чувствований, не должен ли будет по совести признаться, что он всегда открывает в себе более наклонности ко злу, нежели к добру?» И наконец: «Из всего в природе ужасного человек есть ужаснейшее». Вот уж сентенция, с которой наш Андрей Тимофеевич, вокруг которого всегда столько добрых приятелей, друзей, людей «благомыслящих» и добродетельных, не согласился бы ни за что.

Болотов умнел, богател (и в духовном и в материальном смысле этого слова), его работы по сельскому хозяйству стали известны, его парки стали знамениты, росла его семья, расширялся круг друзей.

А Григорий Винский сидел в Петропавловской крепости.

Взяли его дома поздно вечером, посадили в шлюпку, которая, по Мойке выбравшись на Неву, «прямо начала держать к крепости и пристала к Невским воротам». Привели его в Иоанновский равелин. «Вышедши в коридор, мы тут увидели образину человека самого скаредного, нет, не человека, а истинного старого сатира...» Человек этот приказал им следовать за собой и привел в какой-то погреб или сарай, освещаемый одним маленьким окошечком. «Не успел я, так сказать, оглянуться, как услышал: «Ну, раздевайтесь!» С сим словом чувствую, что бросились расстегивать и тащить с меня сюртук и камзол. Первая моя мысль: «Ахти, никак сечь хотят!»

заморозила во мне кровь; другие же, посадив меня на скамейку, разували; иные, вцепившись в волосы и начавши у косы, разматывали ленту и тесемку, выдергивали шпильки из буколь и лавержета, заставили меня с жалостью подумать, что хотят мои прекрасные волосы обрезать. Но слава Богу, все сие одним страхом кончилось. Я скоро увидел, что с сюртука, камзола и исподнего платья срезали только пуговицы; косу мою заплели в плетешок... И так, без обуви и штанов, повели меня в самую глубь каземата, где, отворивши маленькую дверь, сунули меня за нее, бросили ко мне шинель и обувь, потом дверь захлопнули и потом цепочку заложили.

Видя себя в совершенной темноте, я сделал шага два вперед, но лбом коснулся свода. Из осторожности простерши руки вправо, я ощупал прямую мокрую стену; поворотясь влево, наткнулся на мокрую скамью и, на ней севши, старался собрать рассыпавшийся мой рассудок, дабы открыть, чем я заслужил такое неслыханно-жестокое заключение. Ум, что называется, заходил за разум, и я ничего другого не видел, кроме ужасной бездны зол, поглотившей меня живого».

Так просидел он в темноте часа четыре, когда к нему заглянул солдат, который на вопросы его ничего не отвечал. Винский попытался было добиться ответа, схватив его за ухо, но прибежал унтер, «который сказал грозно: ,,Не забиячь, барин; здесь келья — гроб, дверью хлоп“». И дверь действительно захлопнулась.

«Хотя я снова оказался в темноте, но и кратковременное освещение начертало весьма явственно всю гнусность и ужас моея темницы. В мокром, смрадном углу загорожен хлев досками, на пространстве двух с половиною шагов, в котором добрый человек пожалел бы и свиней запирать. Кто же были сии люди, задумавшие и устроившие подобные убийственные узилища для своих братий, людей же, хотя бы и преступных». В самом деле — кто?

Конечно, первая мысль наша о Екатерине. Крепость была напротив ее собственных окон, императрица любила кататься по Неве, ее яхта не раз, конечно, проносилась мимо этой тюрьмы — ну что бы ей, прославленной законодательнице, войти в Невские ворота и посмотреть, как же на практике осуществляются провозглашенные ею принципы, и в частности принцип презумпции невиновности. Такое сопоставление (Екатерины против Екатерины) пришло, разумеется, в голову и самому Винскому. «Кто же были сии люди, задумавшие и устроившие подобные убийственные узилища для своих братий, людей же, хотя бы и преступных? Ближайший вельможа, вернейший исполнитель повелений премилосердыя Екатерины, провозгласившей торжественно на весь свет: «Лучше оправдать десять виновных, нежели наказать одного невинного». А тут и сотни невинных, которым не объявлено даже, за что они воровски похищены из своих жилищ и, прежде всяких вопросов и суждений, преданы уже наитягчайшему тюремному наказанию.

В первые три дня моего заключения я никак не мог настроить свою голову ниже к малейшему порядочному суждению. Непрестанное воображение убийственного узилища, гробовая темнота и тишина, прерываемая иногда шептанием стражей, весьма похожим на ползание гадких насекомых, неизвестность течения времени... лишение всего и без надежды когда-нибудь быть между своими: все сие, одно с другим, непрестанно сталкиваясь и одно другое неизменно запутывая, производило в голове моей ужасную бурю, а в сердце мертвенное отчаяние».

Винского арестовали, как оказалось впоследствии, потому, что он водил знакомство с людьми, обвинявшимися в воровстве денег из банка. Следователь «с мясничьею рожею и взорами целовальника» требовал у Винского признания, никаких доводов не принимал, никаким резонам не верил, и в конце концов, несмотря на то, что Винский вину категорически отрицал, велел писцу записать: «На очной ставке уличен и

признался», а на протесты подследственного сказал: «Молчи, ни слова; здесь Петра и Павла, надо говорить правда. Пошел к месту». Большинство участников этого дела, преображенцев, выручил Потемкин, шеф этого полка. Винского лишили дворянства и сослали «на вечное житье» в Оренбург.

Сравнение этих двух характеров и судеб, казалось бы, всегда не в пользу Винского, и все же в ходе сравнения все отчетливее проступает его превосходство. Да, драчун и забулдыга, и все же его внутренний мир богаче, чувства тоньше, впечатления ярче.

Андрей Тимофеевич неизменно прав. Над своими поступками, далеко не всегда безупречными, он не задумывается, и конечный итог его — совершенное довольство собой. Винский весь в самоанализе, в рефлексии, в раскаянии. Природа богато его одарила, а страдания, выпавшие на его долю, сильно усложнили его и обострили его восприимчивость к жизни и людям. Там, где Болотов «стал в пень» («стал в пень» — и большего вы от него не добьетесь), там Винский сумел разглядеть свое душевное состояние, понять его и запомнить настолько, чтобы через несколько лет подробно и точно описать. Оттого-то и язык Винского, куда более гибкий и менее архаичный, чем у Болотова, может выразить тонкие переживания души — отрывок из его воспоминаний приведен в начале настоящей книги, именно тот, где описана река, огненная в час заката, сороки, летящие в лес ночевать, и та невнятная самому автору грусть, которая его охватила. Раздвоенная, разорванная и как бы обожженная душа оказалась духовно богаче и тоньше, чем цельная и уравновешенная (правило, которое потом так блестяще подтвердит Достоевский). Ни в чем, пожалуй, это не сказалось так отчетливо, как в истории женитьбы того и другого.

Болотов женился потому, что ему «стало отяготительным» быть без «подруги и товарища»; потому, что ему пошел двадцать шестой год «и жениться было уже высочайшее и лучшее время». Требования его к будущей жене были минимальны: «пришла б только по мысли и не была бы совсем бедна», а поскольку, пишет он, «лишался я надежды найтить по желанию моему, в скорости и рад был уж и такой, которая бы, хотя не во всех частях, а сколько-нибудь уже с мыслями и желаниями моими сообразовалась». Но Андрею Тимофеевичу вряд ли удалось узнать, сообразовалась ли хоть сколько-нибудь с его желаниями и мыслями та тринадцатилетняя соседка, к которой он посватался через сваху Ивановну: на смотринах, сидя против невесты, он «рассматривал ее наивнимательнейшим образом. Однако сколько ни старался и даже сколько ни желал я в ее образе найтить что-нибудь для себя в особливости пленительное, но не мог никак ничего найтить тому подобного: великая ее молодость была тому причиною...» Впрочем, он не находил в ней ничего «для себя противного и отвратительного».

А что привлекало Болотова в невесте? Ну, конечно, и то обстоятельство, что владение ее, как ни было мало, располагалось неподалеку от болотовского; что была она единственная дочь и что ее мать могла бы жить с ними и вести хозяйство.

Не лучше ему было и на церемонии сговора. «Все достальное время сего дня и до самого ужина должен я был сидеть в помянутом углу и как на огне пряжиться... Я знал, что мне надлежало тогда разговаривать что-нибудь с моей невестою и ласкаться к оной всячески, но для меня составляло самое сие наивеличайшую и труднейшую комиссию... и как ни старался, но не мог и придумать, чтоб такое и о чем бы мне говорить тогда с такою молодою невестою, какова была моя... Как скоро все, что было у меня заблаговременно в уме приготовлено, я ей пересказал и все переговорил, то стал я, наконец, в пень и не знал более, что и пикнуть».

Юная жена его казалась спящей, она и в самом деле жила, как во сне, — так за

всю свою жизнь и не проснулась. Все, что составляло смысл жизни Болотова, его радость — книги, сады, наука, и все, что ни есть на свете любопытного,— все это для его жены в течение всей их совместной жизни было чуждо совершенно.

Зато, пишет Андрей Тимофеевич, «много из того, чего искал я и желал в жене своей, находил я в моей теще» (ей в пору женитьбы было около тридцати.— *О. Ч.*), она была умна, с ней можно было разговаривать «обо всяких материях», обсудить новую книгу, которую и она прочла, показать собственное сочинение и получить дельный отзыв.

Как видите, и тут все обошлось наилучшим образом. Жена, юная и здоровая, нужна была для продолжения рода — детей своих Болотов очень любил. А для интеллектуальных занятий, для понимания, для сочувствия и совета рядом была умная, близкая по духу государыня-теща, которая была старше зятя года на три. Семья в конце концов получилась гармоничная, и хотя немного сетовал Андрей Тимофеевич, что не было в его жизни нежной женской любви, главное для него было не в этом. Разумная душа его просила прежде всего покоя и свободы, необходимых для всех тех многочисленных дел, которые ему предстояли и которым он был предан уже действительно со страстью.

А теперь посмотрим, как складывались семейные дела Григория Винского. Он, веселый и злой гуляка, новый, 1778 год встречал, разумеется, в трактире и на этот раз пил с неким разорившимся немцем-ювелиром Фрондингом, который пригласил его ночевать. Наутро они сели играть в карты, как «вдруг,— пишет Винский,— является между нами молоденькая немочка, которая, сделавши весьма проворно два книксена», заговорила с хозяином по-немецки. «В продолжение сего разговора я, сложа карты, рассматривал гостью. Пятнадцатилетняя, беленькая, как фарфор, с голубыми глазками девочка, по малому росту довольно стройная, по взорам и всем движениям истинная невинность, по беленькому англинскому с зеленым тафтяным передником платьицу, весьма опрятно одетая, резвая и веселая по ответам на братнины шуточки».

Портрета болотовской жены, хотя бы самого смутного, мы в продолжение всех его толстых томов так и не дождались (только и знаем, что сонная была). Превосходный портрет Лорхен мы получили в первую же минуту ее появления на сцене. Да и самого Винского, который, сложив карты, разглядывает девочку, мы отлично себе представляем. Более того, мы вместе с ним слышим, как сжимается его сердце. Отметим также, что портрет Лорхен, написанный Винским с изяществом, уже содержит в себе яркие цветовые пятна — белое платье, зеленый передничек (опять «передник из тафты» — мода 70-х годов, когда Левицкий писал «смолянок»).

Новый, 1778 год пошел, как и предыдущий, «в совершенной праздности и ничтожестве», но все же наш герой «нечувствительно отставал от трактиров» и никогда уже больше не бывал у продажных девок. Когда он еще раз встретился с «любезной Лорхин», та села возле него «без чинов» и пыталась завести разговор, но, «по незнанию ею русского, а мною немецкого языка, беседование шло более на пантомиме... Простосердечная живость и любезность собеседницы моей занимали меня весьма приятно, чему особенно помоществовали неправильно выговариваемые ею русские, а мною немецкие речения».

Но ходил в дом Фрондинга молодой офицер, немец Бауман, влюбленный в Лорхен и имевший то преимущество, что мог свободно говорить с ней на родном языке. Именно этот Бауман упросил Винского быть его сватом. Григорий Степанович добросовестно выполнил поручение, не упуская случая всячески при девушке расхваливать Баумана, и, наконец, прямо заговорил с ней о супружестве. «Я витийствовал о сем довольно долго, сидя на канапе,— рассказывает Винский,— она

предо мною стояла, не прерывая меня ни единым словом, и, когда я был в самом жару разглагольствования, вдруг вижу, она бросается ко мне и, обхватя крепко мою шею своими ручонками, удушаемая рыданиями, с нуждою выговаривает: «Ах! Я думала, вы меня себе берете!» Более сего она не могла и слова вымолвить; и я, пораженный сими милыми речениями, как заклинанием, онемел, оставшись в совершенном бесчувствии на несколько минут. Видя ее неутешно плачущую, я приложил все мои старания ее успокоить, но тщетно; самое мое обещание не говорить более о Баумане нисколько не помогало: она плакала и молчала, с чем я ее и оставил».

Таким языком (не могу удержаться, чтобы не напомнить снова) в России ни роман, ни повесть разговаривать еще не научились. Даже в одном из самых драматичных и правдивых произведений XVIII века — «Бедной Лизе» Карамзина не найдем мы такой силы и такой сдержанности. В прекрасной карамзинской повести все-таки много придуманного, много искусственно приподнятого и даже выспренного. «Ах, Лиза! Как все хорошо у господа Бога! <...> Не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается», — говорит старая крестьянка, Лизина мать. «Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен», — говорит крестьянка Лиза. «Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где твоя невинность?» — это уже говорит сам Карамзин. Бесконечные «Ах!», которыми сентиментализм взбадривал свою речь, совсем не похожи на простое «Ах! Я думала, вы меня себе берете!», такое беспомощное и простодушное — и никаких монологов, высокопарных и чувствительных, не произносит Лорхен, она плачет и молчит. Это ее молчание действует на Винского (и на нас) сильнее всяких слов — и делает честь его писательскому умению и вкусу.

И начались для нашего героя часы горьких мучений.

«Вышедши из дому, хотя был уже десятый час ночи, и бродя по улицам, я чувствовал страшную и никогда еще мною не испытанную внутреннюю борьбу: голова моя, сколько ни была пуста, умела, однако, себе довольно ясно представить всю несообразность для меня супружества; сердце же, при всем своем разврате, весьма сильно заступалось за любезную... Пробродивши за полночь, казалось, удалая взяла верх; и положивши, как бы умненько отделаться, я пошел спать к себе на квартиру».

Но наутро он почувствовал, что «удалая слабеет» и что свое намерение — не быть у нее, по меньшей мере, три дня — «поутру нашлось почти совершенно из мозгу вытесненным». И он пошел к своей Лорхен.

«Страдалицу нашел я точно в жалком положении: она приготовилась ехать к матери и осталась, по ее словам, только для того, чтобы меня увидеть. Признаюсь, что любви к ней такой, как описывают ее в книгах или как выдают в людях, я точно не имел... но видеть ее, скорбящую, плачущую, сие выталкивало меня из моего обыкновенного положения, и я искренно готов был тогда всем жертвовать, чтобы только утешить страждущую, особенно же не быть виною ее страданий». Наконец, «не властен будучи удержать движение моего сердца, прижав ее к моей груди, сказал: ,,Будь, Лорхин, покойна; я обещаюсь быть вечно твоим“».

Порыв благородный, но безрассудный: Винский был не только нищ, его образ жизни, его безделье и пьянство трудно было совместить с семейной жизнью. Тем не менее так и получилось, что женитьба, «составленная без всяких видов и цели», мало изменила образ его жизни.

Итак, Григория Степановича, лишенного чинов и дворянства, отправляют на вечное житье в Оренбург.

«Я сказал выше, — пишет он, — что для перевезения меня в Оренбург даны мне

две повозки, каждая с парою коней, и три телохранителя. При суматошном отправлении самого важного не удалось мне сделать, именно проститься с милою женою. Я знал, что она в гостях у больной своей сестры на (реке) Руке».

И он уговорил «своего унтера» его отпустить. «Как изобразить отчаяние моей бедной Лорхин, когда она узнала, что я осужден в вечную неволю и зашел только с нею проститься? Бросившись ко мне на шею, она рыдала, не могучи ни слова вымолвить. Мать ее сидела полумертвая; средняя сестра обливалась слезами, тогда как старшая и зять изрыгали на меня все клятвы и осыпали меня самыми обиднейшими ругательствами. Преожесточенный всем сим, я вырвался из милых объятий с насилием и побежал к моей повозке стремглав, заглушая чувства, раздиравшие мою душу.

Лишь только усевшись и скрепя сердце хотел я молвить: «Пошел!» — услышал голос с правой руки: «Постойте, постойте!» Унтер говорит: «Две женщины бегут, видно, проститься». Слышу шаги и вижу, что одна, прыгнувши ко мне в сани и схватя меня весьма крепко обеими руками за шею, кричит: «Нет, я с тобою, мой друг, не расстанусь; вели ехать; ступай, пошел!» <...> Сани летят; слышу еще в воздухе: «Schwesterchen! Bruder!» — и мы за Рукою. Опомнившись несколько, спрашиваю, как она решилась на сей поступок? — «Ах! Они меня вчера и третьего дня непрестанно уговаривали, чтоб я тебя оставила; хотели меня услать в Выборг; на отказ мой грозились меня от себя не отпускать; я им божилась умереть, нежели с тобой расстаться. Они, верно, знали, что тебя посылают сего дня, ибо весь день меня из горницы не выпущали и платье, и шубу мою спрятали; сестра надо мною сжалилась, дала мне свою мантилию и проводила меня сюда». — «Да ты, моя милая, замерзнешь?» — «Нет, нет; мне подле тебя будет тепло». — Конечно, неимоверный по нынешним временам поступок; но оный точно произведен в действие 16-летнею иностранкою, вырвавшеюся из рук родных, в домашнем платье и в одной мантилии, решившеюся с мужем ехать в изгнание за 2500 верст. До Славянки я был почти в несомненном надеянии, что нас догонят и Лорхин мою отнимут; но, против чаяния, не только не было за нами погони, но и ночь в сем месте мы провели довольно покойно».

Труден был путь, труден и приезд. Когда вдали показался, наконец, Оренбург, место ссылки, чьи стены, «одеянные камнем и от времени почерневшие (и может быть, носившие еще на себе следы пугачевской осады. — *О. Ч.*), казались в белизне снега весьма страшными». «Вот твое жилище и гроб», — сказал себе Винский.

В Оренбурге им отвели какую-то комнатушку.

«Оставшись один с женою и чувствуя себя после 18-месячной неволи впервые без надзору, я ощутил было сначала некоторую приятность; но взглянувши на брошенные в угол наши бедные пожитки, видя мою несчастную Лорхин в задумчивости, сообразив бегло, где я и что я, грусть мгновенно сжала мое сердце. Жена, приметив мое уныние, подошла ко мне и своим ангельским взором и нежнейшими ласками разогнала весь мрак моея души. «О чем, мой друг, тужишь? Теперь мы, слава богу, вместе; никто не помешает нам быть неразлучными; мы станем работать, будем веселы и счастливы». — «Работать? — отвечал я, смеючися, — но я ничего не умею, а ты не сможешь». — «Научимся, мой друг, научимся». И после сих слов принялась улаживать наше житье, чем и меня заохотивши себе помогать, гореванье мое весьма облегчила. О, в сих единственно случаях, т. е. в порядочном несчастии, можно только узнать — что есть добрая, нежная жена».

А потом они случайно нашли завалившуюся в чемодане пару туринских чулок (остатки былой жизни, навсегда потерянной), продали их, выручив три рубля восемьдесят копеек, сумму, давно ими не виданную, и устроили пир. А потом Григорий Степанович действительно нашел себе работу, сперва учителем, потом чиновником

(ввиду чего в короткое время достиг «безбедного содержания»). А потом, когда жизнь мелкого чиновника стала ему невмоготу,— снова стал учителем.

Между тем жизнь в провинции, говорит Винский,— и это его свидетельство нам очень важно,— стала более живой и интересной. В связи с открытием наместничества в столицу его стали съезжаться люди с более высокими запросами и уровнем культуры. Еще до открытия наместничества в Уфе Екатерина послала в Оренбург с инспекцией генерал-поручика Якоби, «сей чиновник, будучи умен, обходителен и в делах сведущ, при первом своем приезде в Оренбург имел с собой много людей с дарованиями, приятного обхождения, словом, людей весьма от оренбургских каторжных жителей отличных. Открытие же в Уфе наместничества еще более доставило сему краю людей весьма порядочных, так что грубость и скотство, прежде здесь господствовавшие, тотчас принуждены были уступить место людскости, вежливости и другим качествам, свойственным благоустроенным обществам». Приезд дворян вызвал потребность в учителях (образование тогда было в основном домашнее), в частности французского языка, который и стал преподавать Винский в семьях сперва оренбургского, а потом уфимского дворянства.

И вот произошло чудо — а может быть, и не чудо, а результат тех страданий, через которые он прошел, и того нравственного урока, который дала ему его юная жена,— словом, впервые в жизни Григорий Степанович почувствовал ответственность за бывшее у него в руках дело.

Как человек умный, он понимал всю сложность стоявших перед ним педагогических задач и стал искать новые методы преподавания. «Я положил для себя обет: недостающее во мне для звания учителя, порядочного учителя, пополнить прилежностию и истинным усердием во исполнении сия должности. Могу похвалиться, что в продолжение во всех домах моего учительства я точно не только не пропускал дней и часов, определенных для учения, но от времени узнав легчайшие и вернейшие способы к преподаванию наук, я употреблял их охотно, даже жертвуя собственными моими часами и занятиями». Он уже не мог примириться с «ничтожным способом домашнего учения, обыкновенно применяемого», когда ребенок изнывал от скуки непрестанной зубрежки, и придумал новый метод обучения языку — через перевод.

Но прежде чем перейти к главному — тому душевному перелому, который произошел в душе Винского, посмотрим, как жилось его Лорхен. Теперь, когда ее муж остепенился и не таскался больше по кабакам, а жили они в относительном достатке, молодой женщине стало куда легче и было бы совсем хорошо (тем более что у нее родились две девочки), если бы не ревность. Но со временем «Елеонора Карловна освободилась совершенно от гибельной ревности; ласки ее ко мне и нежность возвратились с прежнею или еще сильнейшею горячностью; я сам, кажется, почувствовал новый жар к моей милой подруге; все приемы первоначальныя любви, со всеми теми же прелестями, наполняли наши души. Старания быть чаще наедине, попечение взаимно делать друг другу приятное, сердечные излияния, неутомимость в наслаждениях, словом, все делало нас счастливыми, а двое милых детей, из которых Кирюша по пятому году, милая, резвая лепетушка, и Катенька по третьему, любезная, веселая, как ангел, углубляли наши радости». Они были недолгими. В 1792 году Лорхен простудилась и умерла на 29 году жизни.

А теперь вернемся к нашему главному сюжету. Итак, Винский, «игрок, стрелок, весельчак», как говорили о нем друзья (пьяница и дебошир, прибавим мы), стал убежденным педагогом, добившимся немалых результатов, обучая дворянскую молодежь языкам и разным наукам. «Скажу, не хвастаясь,— пишет он об одной из своих учениц, пятнадцатилетней девочке,— что Наталья Сергеевна через два года понимала

столько французский язык, что труднейших авторов, каковы Гельвеций, Мерсье, Руссо, Мабли, переводила без словаря; письма писала со всею исправностию правописания; историю древнюю и новую, географию и мифологию знала также достаточно».

Но главное — сам он стал читать. «По счастью, у г. губернатора имелась богатая библиотека, и он благоволил дать мне позволение ею пользоваться. Первый Вольтер заохотил меня читать и рассуждать. Занимательный слог, важность вещесловия, смелые истины, тотчас мною переведены и сообщены знакомым, как новость. Похвалы, благодарность более и более заставили упражняться в переводах, а сим самым приобреталась нравственность, ибо писать и бражничать — сладить было никак нельзя». А тут один образованный человек подсказал ему, что нынче европейские авторы, особенно французские, начали «выдавать свои сочинения под названиями странными и что любопытнейшее по большей части можно находить в таких книгах». После этого он уже был настороже по отношению к книгам со странными (то есть зашифрованными, иносказательными) названиями и, увидев в каталоге книгу под названием «Год 2400», тотчас ее выписал. И навеки влюбился в ее автора Мерсье, «сего смелого сочинителя, твердого поборника истины и неустрашимого защитника прав человечества. С сего времени сей знаменитый писатель и ему соответствующие сделались моими любимейшими авторами. Им одним обязан я благодарностию вечною за небольшое количество знаний, мною приобретенных, особенно за возвращение на путь чистыя нравственности, от которого я был уже столь удален». Григорий Степанович стал переводить и пропагандировать авторов Просвещения и был счастлив, когда его переводы возвращались к нему же самому в качестве новинок, побывав уже в других городах, в Симбирске, например, или в Казани.

Винский читал всегда, и на уроках, пока дети были заняты переводами, и в часы собственных занятий. Он читал и убеждался, что «книгами не всегда можно шутить: они часто или тихонько закрадываются, или насильно втискиваются в человеческое сердце, разумеется, однако, человеческое».

Но для чего читало это человеческое сердце, как соотносило с жизнью все то, что вычитало у лучших умов своего времени? Ведь не мог же Винский, читая и переводя, не замечать текущей рядом жизни?

Да, он ее, конечно, видел. Так, живя в дворянском доме учителем, он имел возможность видеть участь дворовых слуг, крепостных. «Закон, запрещающий дворянским людям ни в каком случае не иметь голоса против своих господ, делает их истинными безответными скотами, покорность коих посему дальше всякие вероятности, как и зверство их властелинов. Надобно быть допущену во внутренность домов дворянских и самому не быть посему русским, дабы видеть все своевольства ежедневно в сих вертепах. Я начал свое ознакомливание с домами точно не в худшем, а по совести не могу сказать, чтобы я, где ни жил, видел тиранства, творимые у Михаила Васильевича Матютина и его сестриц; но с чистосердечием должен написать, что и в сем доме за малейшие проступки часто по одному своенравию госпожи лилась кровь несчастных. Помещенный в главном корпусе дома так, что одни только узенькие сени отделяли меня от комнат хозяйки, я невольно должен был видеть или слышать экзекуции, всегда отправляемые в сенях в присутствии госпожи». Вот нам случай еще раз убедиться в том, как отражалось в жизни законодательство Екатерины. Все ее усилия, направленные на установление новых справедливых законов, отчетливо свелись к нулю (ни в чем не повинный Винский, сидящий в мокром подвале в полной темноте, а потом после комедии суда и следствия сосланный в Сибирь), зато подлый указ, запрещающий крепостным жаловаться центральной власти на зверства помещиков, работал вовсю.

Но Винский, который все это видел, Винский, при его уме, тонкости, обостренности чувств и несомненном литературном таланте, он-то должен был, ну, если и не стать Радищевым (не всякому дано такое высокое ощущение социальной несправедливости и беды, такое пламенное сочувствие людям — да и такое мужество), то во всяком случае хотя бы наедине с собой, в своих записках, хотя бы в мыслях должен был он искать выхода, ломать голову над тем, как быть и что будет.

Он, конечно, думал над социальными проблемами и обсуждал их с друзьями; так, вспоминая о любимом друге, встреченном им в Уфе, где вообще ему «посчастливилось познакомиться с весьма добрыми и умными людьми», друге, уже умершем, Винский пишет: «С какою горестию воспоминаю наши беседования о происшествиях, начавшихся в наших глазах, от которых надеялись мы спасения, счастья человеческому роду, но, увы, все сие, по отшествии твоем, восприяло новый вид или лучше: древнейшие рода человеческого враги, самовластие и суеверие, переменив только одеяние и речь, возложили снова чрез безумных честолюбцев оковы рабствования, еще тягчайшие прежних, на выи глупой черни». Конечно, он продвинулся дальше Болотова, он неравнодушен к положению крепостных (которые для него, однако, как и для Болотова, всего лишь «глупая чернь»), он прямо связывает положение крепостных с екатерининским указом. Но все же дальше нескольких абзацев, описывающих произвол господ, в общем-то по духу не превышающих пафос Болотова, когда тот обличал отдельных жестоких помещиков, и Винский не идет.

В том-то и дело, что в конце концов пути Винского и Болотова, людей, в которых мы до сих пор отмечали полную противоположность характеров и жизненных установок, странным образом сошлись.

Представьте себе, наш мечущийся, страдающий, протестующий Винский стал успокаиваться. «Четырехлетнее мое в губернском городе пребывание,— пишет он,— сделало великую перемену не только в моем житье, но и в образе мыслей. Уничтожаемое положение и необходимость быть знакому с порядочными людьми принудили меня жить благоразумно. С сего самого времени я поставил себе правило: быть всевозможно с полициею в миру, и могу похвалиться, что, исполнявши оное всегда старательно, я был всегда спокоен и лучшими людьми любим.

Чтение, переводы и беседования с знающими людьми, которых на сей раз в Уфе находилось довольно, оживили семена нравственности малороссийской (то есть вложенной в него с детства в родном Почепе.— *О. Ч.*). Мне не великого труда стоило перемениться, ибо я природою был добр, человеколюбив, бескорыстен... Сродная, однако, мне неуступчивость не только не уменьшилась, но от времени делалась сильнейшею, чему виной было внутреннее чувство, подстрекаемое уже несколько смелыми авторами, и что от меня требовали несправедливого. С сего точно времени начало во мне раскрываться мое природное свойство. Сколько я в юношеских летах любил, почитал и слушался людей умных, знающих, добрых, столько же и теперь прилеплялся к ним и искал их благосклонности с такою ревностию, что ее можно было назвать пристрастием; за то невежи и злонравные были сердечно мною ненавидимы. Несчастие есть лучший учитель, я точно на себе испытал. Принужденный по моему униженному положению (еще бы, он уже не был больше дворянином! — *О. Ч.*) быть в обществе более зрителем, нежели действователем, я неприметно сделался физиономистом. Определенный всякое дело, особенно суждения других, разбирать и определять в одном себе, я нечувствительно навыкал заводить собственный свой суд. Подкрепляемый чтением книг, я немного затруднялся беседою моих соотечественников, открывая в ней с нескольких слов всю сущность и мысли беседующих. Мораль и политика были мои любимейшие занятия; метафизика же возбуждала во мне

непреодолимое отвращение. Поставивши непременным правилом говорить только о том, что было известно и справедливо, никогда я от оного не отступал: и в сих-то случаях неуступчивость моя выходила, может быть, за пределы».

Итак, с одной стороны, возвращение к тем свойствам, которые, как он думал, заложила в него природа, и к тем нравственным устоям, которые были с детства вложены в его душу. С другой — восприятие всего того, что почерпнуто из «лучших книг» и притом именно «смелых авторов»; из бесед с умными людьми на темы политики и морали (но не философии); приверженность отвлеченной правде и справедливости. Но ведь точно так же и Болотов жадно искал беседы умных людей, так же страстно гонялся за новыми книгами (только авторы у него были не столь смелы), так же и он не склонен к теоретизированию и «метафизике», тоже (как в том религиозном споре) бывает неуступчив.

Словом, Винский пришел к душевному равновесию. Бурное море его внутреннего мира успокоилось, стало почти столь же ровным, что и озерная гладь болотовской души.

Однажды, это было в марте 1845 года, в петербургской гостиной Вяземских собрались гости, среди них Тютчев и А. О. Россет-Смирнова, из ее записок и взят нижеследующий разговор.

Он, как это нередко бывает, переходил от сюжета к сюжету.

Зашла речь о смерти царевича Алексея Петровича, Тютчев сказал, что она была «ужасной необходимостью». «Князь Павел Гагарин очень справедливо заметил, что такое преступление ничем не оправдывается и что кроме преступления Петр сделал фальшивый расчет. Царевич был шефом оппозиции нововведениям; он бы мог после смерти отца только приостановить ход преобразований, что, может быть, и не повредило бы; но первое движение, данное гениальным Петром, было уже так сильно, что непременно его партия позже восторжествовала бы, несмотря на все старания царевича». Мы, как мне думается, можем вместе с Россет-Смирновой присоединиться к точке зрения Гагарина (и как не отметить тут интереснейшую мысль Гагарина о том, что замедлить ход петровских преобразований, может быть, «и не повредило бы»). Позиция Екатерины (пусть она правила в иное время и в иных условиях) доказала, что можно обходиться и без таких крайностей. Ей в голову не пришло бы, что можно казнить родного сына, хотя б она и знала, что Павел ее ненавидит, и легко могла предположить, что после ее смерти попытается уничтожить все ею сделанное (не исключено, что, зная характер Павла, она предвидела, чем может кончиться его правление). Но можно предположить и другое: ее поддерживала уверенность, что сделанное при ней уничтожить уже нельзя.

Разговор в гостиной Вяземского шел и другими путями. Говорили о Талейране, Гизо, «княгине Ливен, о всех фальшивых интересах высшего круга, который забрался в западню своим французским языком... и не знает, как выйти оттуда». Вот это направление беседы нам важно.

Речь шла о великой трагедии не только узкого слоя высшей знати, но и более широких кругов дворянства, которые отгородились от народа чужим языком. Русский знали плохо, говорили на нем с ошибками и с сильным иностранным акцентом. Когда Никита Муравьев, будущий декабрист — это рассказывает в своих воспоминаниях А. П. Керн, — мальчишкой бежал под Москву во время Отечественной войны 1812 года в действующую армию, его задержали крестьяне, у которых он вызвал подозрение именно тем, что плохо говорил по-русски. Любопытно, что правительство считало нужным бороться с этим незнанием, так, например, Николай I обязывал придворных,

к их великому неудовольствию, говорить по-русски (а сам писал, например, так: «Можид и здесь... учится»). Дело действительно доходило до трагедии, когда людям одной страны не на чем было друг с другом разговаривать (и как тут не вспомнить опять благодетельной роли в русской культуре крепостных нянек). Кажется, возникала даже некая ситуация безъязыкости. Поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий, человек очень остроумный, однажды, уже старичком, на вопрос, умна ли такая-то дама, ответил: «Не знаю, я говорил с ней только по-французски». Это шутливое замечание на самом деле серьезно и глубоко, и недаром сделал его в XIX веке человек, принадлежащий XVIII, когда дворянство, в том числе и знать, говорили на великолепном (мы не раз могли в этом убедиться) русском языке. Тогда, кстати, многие представители аристократии только-только выделились из мелкопоместной среды, тесно связанной с непосредственно окружающей ее средой народной.

Однажды, рассказывает в своем дневнике статс-секретарь Екатерины Храповицкий, императрица велела разыскать для нее веселую народную сказку о Фуфлыге, которую когда-то рассказывал ей Орлов. Дело, конечно, не в Фуфлыге, а в тех корневых связях, которые соединяли русское дворянство с миром народной культуры — и с фольклором, и с песней, и с языком.

Они были еще тесно связаны с народной культурой (и многие из них к ней сознательно и сильно тянулись), но они были отделены от народа социальной системой, своим положением господ в стране крепостного рабства, все отделены, всем сословием. И владелец многих тысяч душ, и обладатель одной единственной — каждый был хозяином судьбы и жизни другого человека (и еще неизвестно, кто был хуже, вельможа, живущий в далеком Петербурге, или Простакова, из своей деревни не выезжавшая и тут же самолично расправлявшаяся).

Страна была полна жизненных сил — страна была больна. Она рвалась вперед — рывку мешали пудовые кандалы крепостничества.

Как ощущали себя в столь противоестественной ситуации думающие люди страны?

Никак особенно.

Тут нам необходимо напрячь наше историческое воображение, заставить его идти не от нашего времени назад, как оно обычно делает, но наоборот: от допетровских, предположим, времен вперед к екатерининским. Только тогда сможем мы примерно понять социальное самоощущение русского дворянства (и крупного и мелкого). Надо помнить, что он родился в данной социальной среде, что не только с ней сроднился, но иной себе и не мыслил, она, сложившаяся веками, была для него естественной. У него не было сомнений в его праве владеть крестьянами, покупать их и продавать, карать или миловать.

На свою страну он не мог беспристрастно взглянуть со стороны; ему это более или менее удавалось, когда он возвращался из-за границы, да и тут далеко не всегда — стоит почитать письма, которые писал из-за рубежа Денис Иванович Фонвизин. Как презирает он с высоты своего российского величия устройство и обычаи Франции или Италии, как возмущен демократизмом, как оскорблено его дворянское достоинство, когда в театре солдат, стоявший на часах у их ложи, вошел, присел посмотреть спектакль — и его начальник не только не выгнал невежу, но и не сделал ему замечания! Если даже Фонвизин, создатель «Недоросля», считал российские порядки естественными, что можем мы тогда спрашивать с госпожи Простаковой?

Когда жизненная система русского дворянина пришла в столкновение с новым направлением мыслей, принесенных веком Просвещения с его культом свободы,

равенства, естественного права, к услугам дворянина была целая, опять-таки веками слагавшаяся система обоснований и доводов. Тут была, еще от средневековья идущая, теория справедливого, свыше установленного разделения общественных обязанностей, когда одни молятся за всех (духовенство), другие всех защищают (дворянство), а третьи (крестьянство) всех кормят, у каждого свои обязанности, свои добродетели; добродетель крестьянина — трудолюбие и покорность.

Точка зрения на крестьян, как на помещичьих детей, была распространена не только среди дворянства — даже в воззваниях пугачевского полковника И. Грязнова говорится, что помещик должен содержать крестьян, «как детей». За своих крепостных дворянин отвечает перед богом и государством, заботится об их пропитании, следит за их нравственностью; поскольку они, как всякие дети, бывают неразумны, то и наказывает; а поскольку общество, прибавим, не умело еще обучать и воспитывать без страха наказания, применять телесные наказания как бы вменялось в обязанность и отцу, и педагогу, и помещику.

Вот что пишет по этому поводу Болотов; он узнал, что в одной деревне, несмотря на его предупреждения, продолжается воровство. «Господи! как было мне тогда досадно, когда начали доходить до меня о том частые слухи. Будучи от природы совсем не жестокосердым, а, напротив того, такого душевного расположения, что не хотел бы никого оскорбить и словом, а не только делом, и не находя в наказаниях никогда ни малейшей для себя утехи и видев тогда сущую необходимость оказывать жестокость и с сими бездельниками для унятия их от злодейств драться, терзался я от того досадою и неудовольствием. Но нечего было делать. Необходимо надлежало их от воровства и всех шалостей отваживать и унимать».

Весь вопрос сводился лишь к тому, каковы личные качества помещика: если он человек добродетельный и кроткий, если, еще лучше, он относится к своим крестьянам, как Строганов к своему крепостному Воронихину, тогда никаких тревог и вообще-то нет.

Можно не сомневаться, что тот же А. С. Строганов, умирая и подводя жизненные итоги, не ощущал никакого раскаяния, напротив, вместе с окружающими его был уверен, что прожил жизнь добродетельно. Его, просвещенного, ни в коей мере не тревожило то обстоятельство, что он был владельцем человеческих душ, хозяином их жизней. Он не только не видел ничего противоестественного в крепостном праве, но даже отстаивал его необходимость; во всяком случае Екатерина, жалуясь на то, что ее попытки выступить против крепостнических порядков натолкнулись на сопротивление ближайших к ней вельмож, говорит, что в числе их был и Строганов, хотя он и добрейший в мире человек.

Да и какая в том беда, если крестьянин перейдет от одного помещика (хорошего) к другому (тоже хорошему). Факт продажи человека человеком отнюдь не заставлял вздрагивать дворян XVIII столетия. Мы не станем говорить о зубрах-реакционерах, о ярых адептах крепостничества, нет, речь идет о передовых людях эпохи. Известно, что Новиков продал свою деревню. В своих «Записных книжках» П. А. Вяземский рассказывает следующий невероятный эпизод: «Д. П. Бутурлин рассказывал мне, что его отец был по деревне своей соседом Новикова. Когда Новиков по восшествии Павла на престол возвратился из ссылки в свою деревню, созвал он соседей на обед, чтобы праздновать свое освобождение. Перед обедом просил он позволение у гостей посадить за стол крепостного человека, который добровольно с 16-летнего возраста заперся с ним в крепости. Гости приняли предложение с удовольствием. Через несколько времени Бутурлину сказывают, что Новиков продает своего товарища. При свидании своем с ним спрашивает его: "Правда ли это?" "Да, — отвечает Новиков, — дела мои

расстроились, и мне нужны деньги. Я продаю его за 2000"». Эпизод мало правдоподобен, да ему и нет объективных доказательств; важен не он, важен тот комментарий, который дает ему Вяземский, один из умнейших людей своего времени, который стоял очень близко к XVIII веку (в нем и родился), хорошо его знал. «Поступок Новикова покажется чудовищным, а потому и невероятным нынешним поколениям... В свое время подобная расправа была и законна, и очень просто вкладывалась в раму тогдашних порядков и обычаев».

И уж во всяком случае никто из дворян XVIII века не желал быстрых социальных преобразований. В этом отношении интересен спор княгини Дашковой — образованнейшей, просвещеннейшей, президента двух академий, собеседницы и поклонницы французских энциклопедистов — с одним из них, Дидро. Говоря об освобождении крестьян, она прибегает к такого рода аргументу-аллегории. «Мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы, окруженной со всех сторон пропастью; лишенный зрения, он не знал опасности своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними. (Видите, как все хорошо и бестревожно.— *О. Ч.*). Приходит незадачливый глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из его ужасного положения. И вот — наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен: не спит, не ест и не поет больше; его пугает окружающая его пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов он умирает в цвете лет от страха и отчаяния.

Дидро вскочил при этих словах со своего стула, будто подброшенный невидимой пружиной. Он заходил по комнате большими шагами и, сердито плюнув на землю, воскликнул: «Какая вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целых двадцать лет».

Так русская просвещенная княгиня теоретизирует и пытается уверить читателя, будто Дидро был повержен в прах ее замечательной аргументацией. Что же касается практики, то Дашкова убеждает собеседника, будто благодаря ее управлению ее крепостные богаты и счастливы (поют, пляшут, добавим мы, едят кур, как и те, о которых пишет Екатерина в своих письмах Вольтеру).

Если мы хотим изучить эпоху, у нас нет иного пути, как попытаться понять ее точку зрения и аргументацию. Другое дело, что от этой точки зрения нас прошибает озноб. Русского дворянина XVIII века озноб не прошибал.

Конечно, жили в этом XVIII столетии и люди с обостренной совестью, они смириться не могли. Пылкое, ранимое, благородное сердце Радищева как раз не могло смириться (его знаменитое: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала» — выстрадано глубочайшим образом), и он вступил в борьбу, поразив своей смелостью и современников, и ближних потомков (Пушкин), и дальних — нас. Не смог смириться Федор Кречетов, ставший на путь неустанной и горячей проповеди, обличавшей социальную несправедливость; вел свою борьбу Еленский, автор «Благовести», но это уже люди почти деклассированные.

Ярославский помещик Опочинин в 1793 году покончил с собой, в предсмертной записке очень ясно объяснив причины своего рокового шага. «Отвращение к нашей русской жизни,— писал он,— есть то самое побуждение, принудившее меня самовольно решить свою судьбу». По завещанию он отпустил две семьи дворовых людей, велел раздать крестьянам барский хлеб, но крестьян своих на волю не отпустил, так как было еще неясно (замечает В. О. Ключевский), имел ли тогда право помещик отпускать на волю своих крестьян (только при Александре I, после указа о вольных хлебопашцах стало ясно, что может). В завещании Опочинина есть любопытный пункт, касающийся его библиотеки: «Книги, мои любезные книги! Не знаю, кому

завещать их: я уверен, в здешней стране они никому не надобны» — и просит наследников их сжечь. Несправедливые слова, неразумный поступок — это уже знак предельного отчаяния, потеря всякой надежды: убить себя и предать казни любимые книги.

Но это исключение, передовые дворяне эпохи в борьбу не кидались и самоубийством не кончали, потому что в существующем положении дел непоправимой трагедии не видели и в общем с существующим порядком вещей мирились. Поучительно вспомнить тут и Сиверса, нашего романтического губернатора с его явной симпатией к народу и, как нам казалось, уважением к нему. Мы видели, сколько сделал он не только для губернии, которой управлял, но и для всей страны, мы знакомились с теми планами и предложениями, которыми он бомбил царицу. Но если присмотреться к иным из этих предложений, тоже становится как-то не по себе.

Сиверса очень возмущало одно обстоятельство, связанное с рекрутским набором. Еще с елизаветинских времен помещики получили право ссылать неугодных им крестьян в Сибирь, причем за каждого ссыльного они получали «рекрутскую квитанцию», иначе говоря, каждый сосланный засчитывался им, как если бы они сдали в армию рекрута. Сиверс заметил, что в связи с этим помещики перед рекрутским набором начинают ссылать крестьян, в основном больных, старых и слабых, ненужных в хозяйстве (если учесть, что сосланные шли в Сибирь пешком и в зиму, в мороз, и летом, в жару, прикованные к железному пруту, к каждому по нескольку человек, куда входили и мужчины, и женщины, и дети, — эта практика уже вызывает ощущение дурного сна). Сиверс был глубоко возмущен поступками помещиков и предлагал отменить их право получать «рекрутские квитанции» — право помещика ссылать крестьян в Сибирь он не оспаривает. Не менее странно (чтобы не сказать — страшно) звучит его предложение, связанное с поимкой беглых, переходящих государственную границу. Сиверс, равно как и Екатерина, отлично понимает причины крестьянских побегов (и прямо говорит об этом), но интересы государства для него превыше всего, он предлагает выдавать денежную премию пограничникам и жителям пограничных областей за выдачу каждого беглого — эта мера, совершенно безнравственная, чисто «плантационная», новгородскому губернатору кажется естественной. Было у него сочувствие к народу, жил в душе его гнев против помещиков, налагавших на крестьян неподъемное бремя поборов и работ, протестовал он и против жестокости наказаний, — но ощущения равенства людей, их общего человеческого достоинства у Сиверса не было, крестьяне в его представлении вряд ли были полноценными человеческими существами; знаменитое открытие Карамзина — «и крестьянки любить умеют» — тогда еще сделано не было. Гуманный (как сказали бы в XVIII веке — добродушный) новгородский губернатор видел в крестьянах в лучшем случае объект опеки и забот, но все-таки не людей или не совсем людей.

Передовой дворянин XVIII века, исходя из нравственных норм своего общества, считал себя отцом своих крестьян (даже будучи мальчишкой, считал себя отцом!), а их соответственно детьми, которые ввиду этой своей детскости, всякого рода «невежеств», то есть некой социальной неполноценности, нуждаются не только в заботе, но и в надзоре — так помещица, строго следя за поведением своих девок, была твердо убеждена, что тем самым выполняет свой общественный долг. Да и всему дворянству как бы вменялось в обязанность присматривать за крестьянами, недаром в передовых журналах поры их расцвета слышатся упреки помещикам именно за то, что они не обращают внимания на нравственность своих крестьян и оставляют их коснеть в невежестве.

Сопротивление крестьян помещичьему произволу и гнету, их побеги и мятежи,

которым мы сегодня так сочувствуем, в те времена только подтверждали убеждение в социальной неполноценности мужика: по темноте, невежеству, склонности к порокам он нарушает свою священную обязанность — повиновение.

Пугачевщина всколыхнула помещичий слой до самых его глубин и научила дворян некоторому уму-разуму, может быть, единственным доступным и действенным в ту пору способом — страхом; теперь помещик отлично знал, что в случае нового мятежа своего доброго барина крестьяне на расправу, может быть, и не выдадут, зато уж злого выдадут непременно.

Взволнованное до глубины души, перепуганное до обморока, русское дворянство вместе с тем успокоилось довольно быстро, убежденное, и не без оснований, что государыня и ее генералы примут меры и больше подобного не допустят.

Но социальной совести дворянина крестьянская война не разбудила.

Даже те, кто, как Екатерина, Сиверс или Бибиков, понимали, что крестьянство восстало в ответ на непосильный гнет и дикую жестокость помещиков (Бибиков в письме к Фонвизину, оно приведено Пушкиным в его «Истории Пугачева»: «Пугачев не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее негодование» — негодование, чувство справедливого возмущения и гнева), даже они не почувствовали какой бы то ни было солидарной социальной вины. «Дело, по всей вероятности, кончится виселицами»,— пишет Сиверсу Екатерина, для которой виселицы были прежде всего национальным позором. А Бибиков, сочувствующий «общему негодованию», отправился подавлять пугачевщину (и делал это добросовестно, но без энтузиазма: «Дела мои, богу благодарение! идут час от часу лучше; войска продвигаются к гнезду злодеев. Что мною довольны (в Петербурге.— *О. Ч.*), то я изо всех писем вижу, только спросили бы у гуся: не зябнут ли ноги?»); а Сиверс, не раз напоминавший императрице о тяжком положении крестьян, следит за настроением народа у себя в губернии и принуждает его к молчанию (какими средствами, этого он не говорит). Ну, а уж те, кто видел в восставших крестьянах вырвавшихся на волю диких зверей (Болотов, Мертваго и, конечно, великое множество других), те чувствовали лишь ненависть, страх — да глубокое удовлетворение оттого, что злодеи обезврежены (Болотов у эшафота). Впрочем, удовлетворение дворянства было всеобщим.

В том-то и дело, что социально-психологическая система дворянского общества неуклонно стремилась к равновесию и легко его достигала. Это относится и ко всему дворянскому обществу в целом, и к каждой отдельно взятой дворянской душе.

Тяжкие противоречия эпохи, острая борьба старого и нового, полная невозможность хотя бы как-то согласовать идеи Просвещения, притягивавшие своей ясностью, справедливостью и благородством, с тем, что происходит в действительности,— это ужасное несоответствие, казалось бы, должно было неизбежно привести дворянскую душу к трагической раздвоенности. А душа не раздваивалась.

Жизнь испытывала русского дворянина на разрыв — а он не разрывался.

Я думаю, что происходило это совсем не потому, что он неглубоко и не очень всерьез (в чем обычно и упрекают «русское вольтерьянство») воспринимал новые идеи, напротив, новая культура как раз через него-то и шла, сильно и, как правило, благотворно его трансформируя. Просто не пришло еще время.

Итак, век рождал натуры упругие, цельные, веселые (Екатерина!) — такие были ему нужны. Еще не настала пора душевной тревоги и раздвоенности, благодетельных для русской культуры и породивших великую литературу. Еще не родились и те мрачные и мятежные натуры, которые так сильно жаждали бури, как будто в буре

есть покой. Людям XVIII века хотелось просто самого покоя, они считали его высшим жизненным благополучием.

Помните разговор в лесу, на поляне, который старший Мертваго вел с младшим, когда кругом уже пылала пугачевщина. В этом последнем предсмертном разговоре старший говорил младшему о том, что считал самым важным в жизни. Он говорил, «что спокойствие человека составляет его блаженство и что оно зависит от согласия поступков с его совестью, что, нарушив это согласие для каких бы то ни было выгод, потрясает он то драгоценное спокойствие, которого ничто заменить не может». Высшее благо!

Но ведь и Пугачев в своих великолепных воззваниях к народу тоже как высшее благо желает мужику «спокойной в свете жизни».

И поэзия не устает твердить о том же — высшее человеческое счастье состоит в душевном спокойствии. Даже мятежный Державин:

Одно лишь в нас добро прямое,
А прочее все в свете тлен:
Почиет чья душа в покое,
Поистине тот есть блажен.

В послании Львову, своему близкому другу, центру притяжения их великолепного кружка, Державин дает как бы его нравственный портрет, портрет человека, чья жизнь безупречна. Вот почему

Ему благоухают травы,
Древесны помовают ветви
И свищет громко соловей.

За ним раскаяние не ходит
Ни между нив, ни по садам,
Ни по холмам, покрытых стадом,
Ни меж озер и кущ приятных:
Но всюду радость и восторг.

Труды крепят его здоровье,
Как воздух, кровь его легка;
Поутру, как зефир, летает
Веселы обозреть работы,
А завтракать спешит в свой дом.

Потому и «кровь его легка», что «за ним раскаяние не ходит».

Чтобы достичь идеала эпохи — спокойствия души, — нужно одно непременное условие: чистая совесть.

Социальная совесть крестьянина была чиста, это нам понятно: он нес на плечах все тяготы государства, кормил страну и одерживал победы в ее тяжких и кровавых войнах.

Но в том-то и дело, что совесть русского дворянства, указом о вольности освобожденного от каких бы то ни было обязанностей по отношению к государству и обществу, удивительным образом тоже оказалась чиста.

Ведь и в самом деле это странно. Мы, знающие историю русской интеллигенции, помним, как остро в XIX и начале XX века ощущала она свою вину перед теми сословиями, которых гнула, унижала и истязала современная им социальная система, и

потому ждем от дворян XVIII века (по крайней мере, от передовых его дворян) той же боли, тех же сильных, бескорыстных и благородных чувств.

Мы ждем напрасно: для подобных чувств пора еще не наступила.

В середине XIX века, в предреформенную пору, в одном из своих стихотворений Тютчев высказал мысли, общие для людей тонкой душевной организации и чуткой социальной совести. Я сознательно беру поэта консервативных взглядов, не принявшего не только современного его зрелым годам демократического направления, но и декабристов. Правда, его известное стихотворение о декабризме направлено столько же против него, сколько и против самодержавия, и если поэт произносит восставшим приговор как бы именем народа и даже потомков («Народ, чуждаясь вероломства, / Поносит ваши имена. / И ваша память от потомства, / Как труп, в земле схоронена»), то заключительный щемящий образ — бедной мятежной крови, которая, «едва дымясь... сверкнула на вековой громаде льда» и погибла под дыханием «железной» зимы,— говорит о глубоком сочувствии и понимании проблемы. Так писал молодой Тютчев в 1826 году, но вот его стихотворение, написанное через тридцать лет.

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..
Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет,—
Кто их излечит, кто прикроет?..

Трагическое восприятие страны.

Интеллигент XVIII века ощущал ее по-другому, сколько бы ни обличал он взяточничество чиновников, подкупность судей и другие социальные беды, все это не было для него трагедией. Конечно, он видел и раны, только не считал их такими уж «гнилыми» и безнадежными; видел он и растленье душ, но, ввиду оптимистического взгляда на человеческую природу вообще, считал и тут дело поправимым — вот почему социальные язвы эти не «глодали» его ум, от них у него сердце не ныло. «Глодало ум» Радищева, терзало его сердце, что же до большинства, то они, об этом отчетливо говорят нам мемуары, отчаянию не предавались.

Многие из них были набожны и на жгучий вопрос Тютчева — «кто их излечит, кто прикроет?» — могли бы ответить вместе с поэтом:

Ты, риза чистая Христа...

Нетрудно заметить, как трагически и болезненно звучит в стихотворении Тютчева вопрос — и как слаб ответ; насколько могуч обличающий образ — гнилые раны, рубцы насилий, растление душ, и как сомнительна целительная способность «ризы», как беспомощно звучит это «кто прикроет». Тютчевский Христос в «рабском виде» ходил по России, страдая вместе с народом, едва ли не столь же беспомощный, как и сам народ. Интеллигенты XVIII века верили в другого бога, более рационального, могущественного и надежного, властно вмешивающегося в людские судьбы.

Глубокая надежда на бога владела многими интеллигентными душами. Жизнь Болотова, например, и его близких прочно базировалась на такой надежде. Во дворце

Строгановых в торжественной раме хранилось наставление Александра Сергеевича (того самого, которого мы видели вольнодумцем и весельчаком) сыну Павлу, а в нем горячий призыв: доверься богу, он твоя главная, незыблемая жизненная опора. Другие не менее свято, чем в бога, верили в благость природы, в здравость человеческой натуры, в силу разума. Все эти надежды могли сливаться в одну. Таким образом, душевное равновесие достигалось не только поверхностными словесными оправданиями (не нами, мол, заведено, не мы придумали систему жизни, в которой оказались) — в общественном сознании работали могучие, успокаивающие факторы.

Странно было бы думать, что людям XVIII века были неведомы сомнения, нравственные искания, критическое отношение к себе — пристальный анализ и суд своих поступков найдем мы во многих воспоминаниях эпохи. И муки совести они знали. Суворов — человек, кстати, куда более глубокий, чем представляли современники, а порой представляют также историки нашего времени, он любил скрываться за «арлекинадой», и лишь те, кого он удостаивал серьезным разговором (как, например, Екатерину наедине), догадывались о глубине его натуры — он знал (да и как ему не знать), что такое муки совести. Вот его обращение к художнику, писавшему его портрет. «Ваша кисть изобразит черты лица моего — они видны; но внутреннее человечество мое скрыто. Итак, скажу вам, что я проливал кровь ручьями. Содрогаюсь». Это замечательное суворовское «содрогаюсь» вполне соответствует его сильной душе. Но оно не социально, да и за ним следует успокоение и примиренность. «Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего; во всю жизнь мою никого не сделал несчастным; ни одного приговора на смертную казнь не подписывал; ни одно насекомое не погибло от руки моей. Был мал, был велик; при приливе и отливе счастья уповал на бога и был непоколебим».

Содрогались и другие, причем их страдания уже носили явный характер социальности, но — содрогались и успокаивались. Уж как метался и страдал Винский, как переживал несправедливости системы, но и он перешел на болотовскую позицию полного душевного равновесия и совершенно успокоился, найдя пищу уму (французские просветители), работу душе (учительство, перевод, то есть собственное посильное просветительство). Бедному Опочинину мало было его любимых книг, ни им, ни себе он не нашел применения в жизни — Винский нашел.

Но в том-то и дело, что душевный покой нужен был XVIII веку не для того, чтобы благодушествовать и веселиться (хотя он и веселился и благодушествовал вовсю), но для того, чтобы работать.

А работу он себе выбирал по силам.

В пушкинском стихотворении «К вельможе», посвященном князю Н. Б. Юсупову, XVIII век (его поэт живо чувствовал) изображен сжато, точно и ярко, а Юсупов представлен как бы его воплощением. Путь Юсупова и в самом деле характерен для знати той поры. Как и Демидов, как и Строганов и многие другие молодые вельможи, он долго живет за границей, учится — и внимает «за чашей медленной афею иль деисту, как любопытный скиф афинскому софисту».

«Как любопытный скиф»! — поразительное понимание века.

И вот теперь, в конце жизни, старый князь в своем Архангельском.

…Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородной.

Но почему праздность, которая всегда, а в XVIII веке особенно, считалась пороком, вдруг стала благородной? Потому что Юсупов стар? Да, он стар и многое на своем веку видал — и предреволюционную Францию (Вольтера, Гольбаха, Дидро, «энциклопедии скептический причет») и революционную («вихорь бури, / Падение всего, союз ума и фурий, / Свободой грозною воздвигнутый закон, / Под гильотиною Версаль и Трианон»), на волнения нынешней жизни глядит «насмешливо в окно» и, умудренный опытом, видит «оборот во всем кругообразный» — и не видит никакого основания в него вмешиваться. Отчасти потому, что стар. Но праздность Юсупова — это не пустая праздность. В свое время она нужна была для духовной работы, дала возможность духовным накоплениям и в старости позволяет жить жизнью поэзии. Впрочем, она всегда была полна, его долгая жизнь.

…Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного…

Вот это «искал возможного» кажется мне ключом к пониманию дворянской интеллигенции XVIII века. В сущности, все люди, прошедшие здесь перед нами, все они, большие и малые просветители, и Винский, и Болотов, и Строганов, и Бецкой, все искали возможного. И Екатерина, конечно. Она была бы рада избавиться от такого всесветного позорища, как крепостное право, да это оказалось невозможным, потому что натолкнулось на сопротивление того же Болотова, того же Строганова. Ну что же, нельзя? — значит, надо делать то, что можно. Общество не готово к преобразованиям? — «извольте его приуготовить». XVIII век и выполнял эту программу — «приуготовления» умов к будущим грандиозным преобразованиям.

Надо начинать с себя — тут теоретически сходились все, и умеренные и крайние. Об этом со свойственной ей сухой горячностью твердила Екатерина в своих журнальных выступлениях. Об этом со свойственной ему трагической страстностью и глубиной говорил Радищев — уже не теоретически, а доказав собственной жизнью.

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала» — эти знаменитые слова приводятся всюду. Но за ними следуют другие: «Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом <…> Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодействии себе подобных». И написал свою великую книгу.

Начните с себя — вот XVIII век и начал. Его главной задаче — возможно более глубокому проникновению во внутренний мир человека — служили и философско-нравственные трактаты, и лирика, и комедия, но, как мне думается, прежде всего те источники, которыми пользуемся мы с вами, — мемуары и портрет (нужды нет, что одни лежали в столе у автора, а другой висел на стенке в помещичьем доме).

Пора подводить итог и теме портрета. До сих пор мы рассматривали его скорее в историко-культурной связи, как свидетеля эпохи. Попробуем понять его собственный язык, хотя бы примерно представить себе направление развития — и ответить, наконец, на вопрос, который мы так часто ставили в этой книге.

ГЛАВА VIII
А ТЕПЕРЬ — ПОРТРЕТЫ XVIII ВЕКА

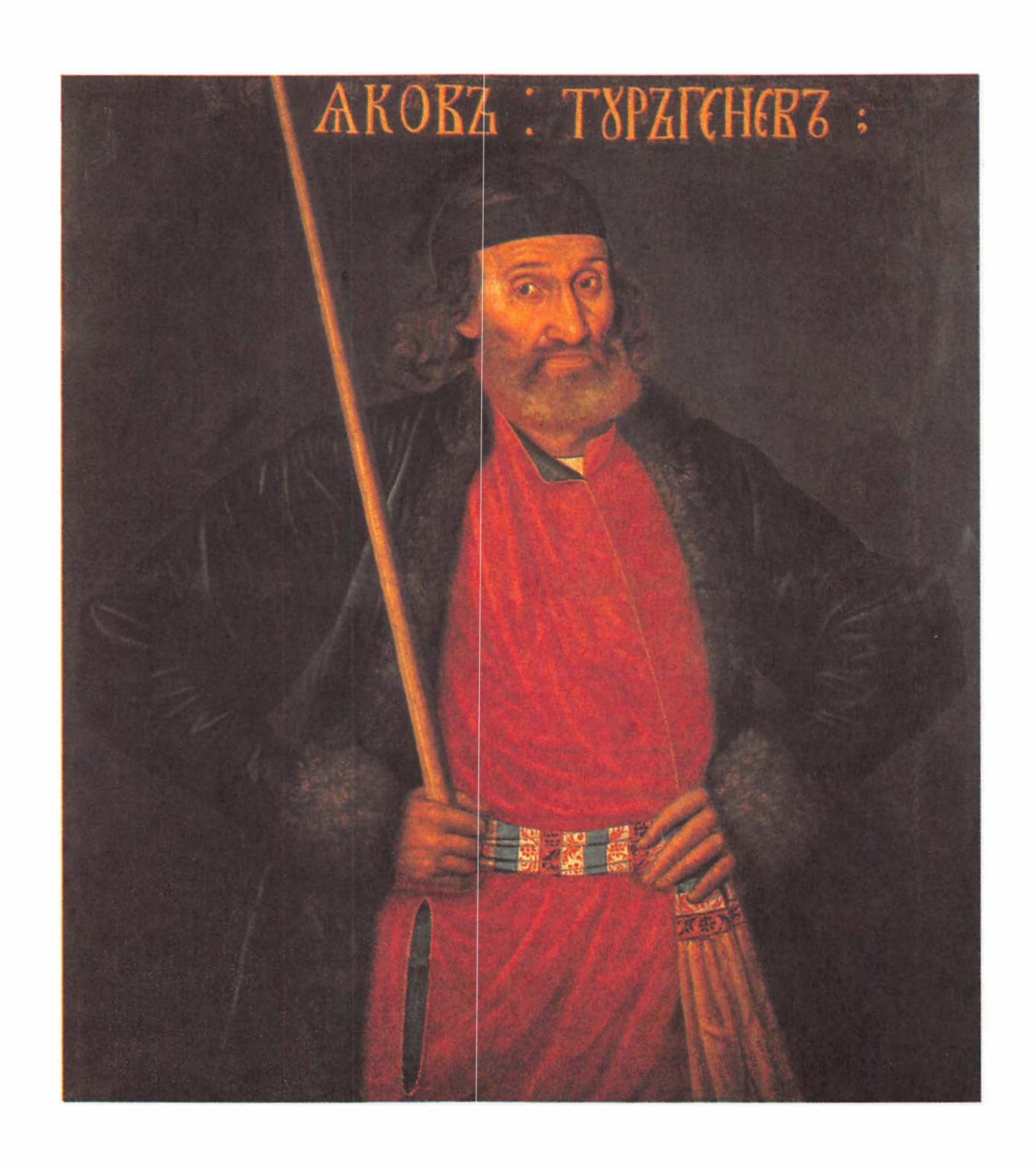
Мемуары XVIII века мало живописны, они словно бы выполнены в черно-белой манере, как, впрочем, бескрасочна и классицистическая поэзия. Ей хватает перечислительного описания: если это, предположим, пейзаж, то — леса и рощи, зефиры и бореи, снега и льды, цветы и птицы; у Сумарокова: «О прекрасные долины и зеленые луга, / Воды чистых сих потоков и крутые берега» (в основном только с Державина пейзаж становится живописен и многоцветен). Нет в мемуарах и портрета. Правда, с течением времени в них начинают появляться портретные зарисовки, подчас довольно яркие; особенно одарен в этом отношении Гаврила Добрынин. Вот как он рисует портрет того самого губернского секретаря Алеевцева, у ворот которого стоял солдат Данилка. «Он был лет тридцати, роста среднего, по природе чистотел, белокур, в лице нежный румянец и несколько скудоволос, волосы бело-рыжеватые или точно такого цвета, какого бывает малороссийское пшено». Это еще не живопись, это скорее хорошо раскрашенные паспортные «особые приметы».

В записках Добрынина то и дело мелькают беглые, но живые зарисовки — то это помещик Сафонов (тот самый, кто хотел затравить архиерея собаками): «Он был лет двадцати двух, роста среднего, круглолиц, полон, бел, нежен, хорош собою и жирен»; то рогачевский прокурор князь Горчаков: «Волосы у него были закачены в пучок с полфунтом пудры, лет и росту средних, хорошо раскормленного, лица белокурого и не сухого и собою *кра́сика.* Он поклонился несколько меховато и с нерадением».

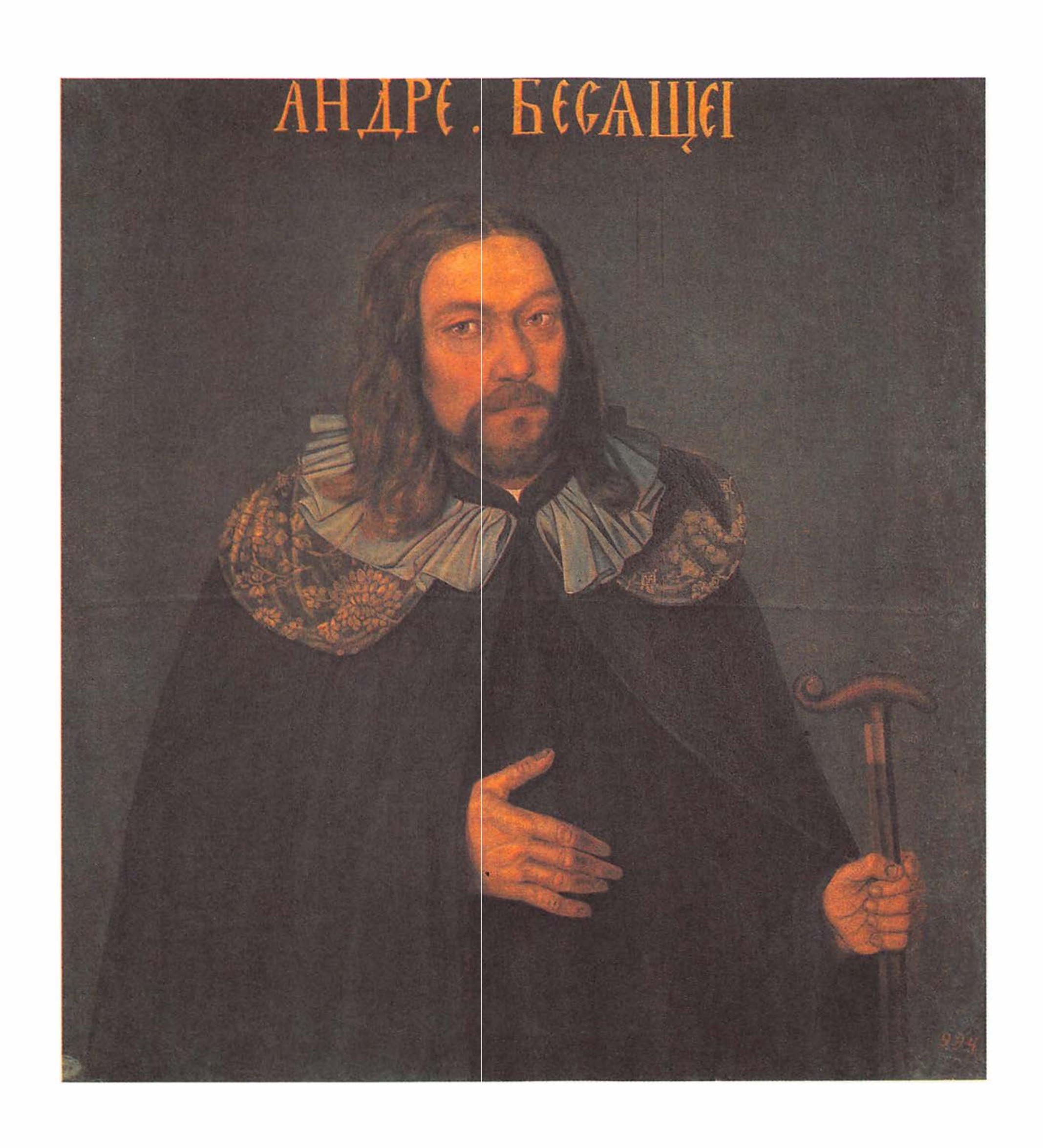
Портрет выразителен, но он, как видите, ироничен, и это вряд ли случайно: с позиций иронии, как видно, легче всего ухватить характер человека, недаром же не аналитическая и не лирическая проза выступила первой в русской реалистической литературе, но именно ироническая и уже прямо комическая. Именно комедийные характеры у Фонвизина, те персонажи, которые он ненавидит и бичует, наиболее выразительны (и, прибавим, — страшны), что же касается до любимых его положительных героев, то они, сколько бы ни самовыражались, привлекают нас в основном фабульно, интересны идейно, но живых чувств они, как правило, не вызывают.

Живописным портретам XVIII века ирония почти совсем чужда, художники говорят языком лирики и психологического анализа. Кажется, что где-то, в своем начальном развитии, они уже прошли ироническую стадию и сразу вышли на свет во всеоружии понимания, в настроении глубокой серьезности. Но на картинах великих художников второй половины XVIII века мы не встретим ни госпожи Простаковой, ни тех архиереев, о которых рассказывал Добрынин (ни тем более привратника Данилки, который так и не пустил вице-губернатора к губернскому секретарю).

Портрет второй половины XVIII века изображал, как правило, людей спокойных и уравновешенных, на чьих лицах вы не найдете ни страдания, ни сострадания, ни раздражения, ни тем более порока (так велел и художественный канон, который предлагал «токмо выгодные лица и хорошие моменты», впрочем, он сильно к тому времени устарел). Но почему? Неужели художники второй половины XVIII века утратили мастерство, которым так великолепно владели живописцы конца XVII? Ведь когда портрет только-только начал отделяться от парсуны, на нем стали проступать



Неизвестный художник
Яков Тургенев
Не позднее 1695 г.



Неизвестный художник
А. М. Апраксин (Андрей Бесящий)
1690-е гг.

лица такой выразительности и живости, что кажется, будто они написаны со всей резкостью психологических характеристик сегодняшнего дня.

В Русском музее рядом висят два портрета из удивительной серии участников петровского «Всепьянейшего сумасброднейшего собора всешутейшего папы». Портрет Якова Тургенева (написан не позднее 1695 г.) во многом неумел: плоская фигура, распластанная на темном, сплошном фоне, лишенном воздуха, выглядит так, словно ей тесно в раме и оттого руки ее неестественно вывернуты в локтях. Но зато лицо...

Это уродливое, жесткое лицо, продувное; сообразительные глаза конокрада, в них совершенное неверие (ни в сон, ни в чох), вскинутые брови, от движения которых весь лоб пошел замысловатыми складками, подчеркивают этот разъедающий скепсис (чтоб не сказать — цинизм). Крепкий старик, умный, прожженный, низкий в помыслах.

Портрет Андрея Апраксина («Андрея Бесящего»), брата царицы Марфы (жены Федора II). Его фигура также скована и распластана на темном фоне, но в лице еще более непокоя: оно тревожно и болезненно, это лицо, а в глазах и вовсе что-то блажное и дикое. В обоих — и в Тургеневе и в Апраксине — злая жизнь гоголевского портрета: кажется, накрой их холстом, и ночью сквозь него начнут проступать их страшные глаза.

Оба они участники разгульных пиров «всешутейшего, всепьянейшего собора». На портретах эти всешутейшие и всепьянейшие словно бы протрезвели и оба спрашивают, как им быть? Тургенев — предвидя, что ответ безнадежен и ничего не выйдет. Апраксин — с отчаянием и, может быть, с надеждой. Их души раздвоены, их лица опалены, это два несчастных беса, два тяжких грешника — и нам в самом деле трудно отделаться от впечатления, будто оба они схвачены кистью современного нам художника, который уже прошел через три века бурного общественного развития сложными и трудными психологическими путями (и даже темными подвалами души).

С конца XVII века пройдет 50—70 лет, художники научатся писать объемы и воздух, станут все свободнее разворачивать фигуры, достигнут виртуозности, изображая взгляд, нежность кожи, тонкую фактуру шелка или бархата, проникнут в тайны соотношения света и цвета.

И выступят перед нами в ряд на их полотнах одни праведники — ни сомнений, ни сожалений, ни страха, ни раскаяния (ни угрюмых пороков, как на лице Тургенева). Они будут спокойны и любезны по отношению к зрителю, красивы и нарядны (почти все). Конечно, уже по эскизу Антропова, изобразившего Петра III, мы видели, что здесь некая внешняя приукрашенность (убраны, к примеру, следы оспы) не мешает выявить нечто, куда более компрометирующее — нелепость и мутный ум. Но все же общее впечатление от портретов этого времени — спокойствие, красота и мягкость.

Не только в литературе, но и в портретах XVIII века, особенно его середины, есть еще много традиционно скованного. Если развесить их в ряд, рама к раме, возникает впечатление некой воинской команды, парада манекенов, так одинаково все они повернулись вполоборота вправо (или влево), все, как один, разом выпрямившись и по принятому эстетическому уставу выставив вперед грудь (кстати, они действительно зачастую писаны с манекенов, все эти торсы, или заимствованы с какой-нибудь другой картины вместе с ее антуражем, «задником», мебелью, платьем, вместе с чьими-то руками, которые держат книгу (веер, подзорную трубу моряка, шпагу дворянина, маршальский жезл) или указывают на какую-нибудь достопримечательность). Даже для художников, которые уже умели и любили писать тело в живом его повороте, самым и, быть может, единственно важным оставалось лицо — на нем сосредоточена вся художественная энергия, все внимание мастера. Тут были открыты такие живописные возможности, найдены такие психологические глубины, что невольно



В. Серов
О. К. Орлова
1911

хочется возблагодарить сковывающую традицию, которая не дала этому вниманию отвлечься от главного, уйти от высокодуховных задач в красоту антуража или подробности быта.

В своем трактате «Понятие о современном живописце» Архип Иванов дает художникам совет исправлять «недостатки натуры» и «угождать госпожам и кавалерам»; совет этот кажется нам грубым и нелепым, но общее для портретистики XVIII века стремление писать красоту и благородство характера никак нельзя назвать нелепостью. Видимо, прошла пора, когда художников тянула к себе характерность (а подчас и уродливость). Но и не пришла еще пора интересоваться сложными натурами, трудными характерами, вскрывать темные их глубины. Искусство вернется к характерности позже, на основе высоких достижений предшествующих веков. Беглого сопоставления портретов второй половины XVIII века с портретами второй половины XIX — начала XX достаточно, чтобы увидеть их основное отличие. Стоит взглянуть, например, на портрет княгини О. К. Орловой, написанной Валентином Серовым в 1911 году, чтобы убедиться, что тут принципиально иное отношение к модели. Орлова интересна художнику именно как тип, может быть, как тип социальный; портретисты XVIII века, казалось бы, пристально-внимательные к общественному положению модели, на самом деле социальностью ее интересуются мало. Они не типическое ищут в человеке, а внутреннюю красоту (кстати, художники типического часто тяготеют к ярко уродливому, корявому — так, Веласкесу были бесконечно интересны «карлы» при дворе Филиппа IV, а нашим художникам XVII века — всепьянейшие шуты). Порою изображение типа тянет к утрированию или карикатурности — далеко не всегда, конечно.

Портреты XIX и XX веков бесконечно много рассказали нам о внутренней красоте человека — но портретистика времен и уровня Левицкого, повторяю, утрировки и карикатуры не знает совсем.

Орлова, написанная Серовым, одновременно и живой человек, и гротеск, она демонстративна и преувеличена с ее гигантской шляпой и жеманной позой, с ее вычурным мехом, слишком большим, с её лакированным ботинком, слишком длинным. С ее несчастным и пустым лицом. В свое время Серова упрекали в том, что нога графини плохо нарисована, на самом деле у этой женщины тела словно бы и вовсе нет, и не потому, что оно не интересует художника (его здесь интересует все), а потому, что оно словно бы истлело — это истлевшая нога определяет контур платья, это истлевшие руки придерживают меховой палантин и крутят жемчуга. Взгляд художника беспощадно холоден, он вынес своей модели жесткий приговор. Мысль об обреченности придворного аристократического круга приходит в голову сама собой, без всякого нажима. Это фигура fin de siecle' а.

А у нас с вами — эпоха зари, когда русское дворянство еще полно сил (когда, кстати, и Орловы только еще бурно поднимаются), когда в среде его лучших представителей идет великая духовная работа, давшая стране ее интеллигенцию. В этом процессе участвовали, конечно, не одно дворянство, но и купечество, и разночинцы, и представители податных сословий, в том числе и обученная, образованная часть крепостных,— словом, все те, кто создавал блестящую культуру XVIII века. Шел могучий процесс культурного развития всех сословий, в котором, повторим, лидировала просвещенная часть дворянства.

Портретист той поры брался за кисть не только с великим уважением к своему труду (кстати, многолетнее обучение художника требовало от него времени и усердия, подчас подвижничества, потому они и владели мастерством в таком совершенстве), но и к модели, он вглядывался в нее не столько с любопытством, сколько с

доброжелательностью, а часто и прямо с любовью. Именно этому вниманию, этой доброжелательности обязаны мы шедеврами портретной живописи.

Чем более мы узнаем о портрете XVIII века, тем яснее видим его народные корни. Сейчас странно было бы слышать упреки, так страстно и шумно высказанные когда-то В. В. Стасовым, который утверждал, будто искусство XVIII века (и в частности, его портреты) «служило не народу, а только аристократии и воспевало ее», что художники, когда «писали фрейлин и княжон.., поднимающих в придворном балете юбочки и ножки перед напудренными пастушками камер-юнкерами», потворствовали тем самым «высокомерному чванству своих моделей». Неистовый критик имел тут в виду созданную Левицким серию «смолянок». Это действительно дворянские девушки, они действительно «поднимают юбочки и ножки» (а их кавалеры, которых на картинах нет, действительно были в пудреных прическах), но эти портреты являют собой, конечно, образцы искусства глубоко народного.

А впрочем, какие у нас основания исключать из числа народа самих этих девушек — они выросли в России, их качали русские няньки (на риторический вопрос Толстого в знаменитой сцене пляски Наташи Ростовой — как могла «эта графинечка», выросшая с гувернантками-француженками, понять душу русской пляски,— ответ напрашивается сам собой: Ростова росла в России), они жили в мире русской сказки, русской песни. Они еще говорили по-русски — 70-е годы (в это время их писал Левицкий) были временем, когда высшее общество еще говорило по-русски, на том отличном, сильном и простом языке, который потом, в XIX веке, упорядочившись, стал гибче, чище, легче, но, может быть, что-то потерял в своей силе и яркости.

Да и вообще, какие у нас основания исключать из состава нации целое сословие — невольно вспомнишь насмешливые строки А. К. Толстого, когда его Поток-богатырь в ответ на заявление некоего оратора: «Знай, что только в народе спасенье» резонно отвечает: «Я ведь тоже народ, почему ж для меня исключенье?». И действительно, разве не странно было бы изымать из состава русского народа творца великих народных трагедий «Смерть Иоанна Грозного» или «Царя Федора» — равно, как и самою дворянскую интеллигенцию?

Но ведь неинтеллигентное дворянство, всех этих Скотининых и Простаковых (а их было великое множество, целый социальный слой, весьма живучий, это, кстати, они в середине XIX века, в период подготовки крестьянской реформы, выступали за крепостное право с такими гремящими речами, что их прозвали «крепостниками-гарибальдийцами») — их ведь тоже некуда деть, они свои, отечественные (в их семьях, кстати, правда по закону противоположности,—и Тургеневы тоже вырастали), нельзя же их исключить из нации лишь на том основании, что они были темными, невежественными и развращенными. Нация была сложна, расколота на два класса — крепостников и крепостных, меж ними существовало колоссальное напряжение, давшее мощный разряд пугачевщины, но их соединяют многие, порой невидимые, а подчас и очевидные связи (тем более тесные, что дворянское сословие в России не было замкнутым, в него все время шел приток из других социальных слоев), эти связи давние, ’они ясно обозначились в XVIII веке и с течением времени крепли. Из общего культурного процесса нельзя исключить ни одно из существовавших тогда сословий, независимо от того, «плохое» оно или «хорошее». Привычное противопоставление дворянства и крепостных, справедливое, когда речь идет о борьбе тех, кто был под прессом, против тех, кто этот пресс жал, в вопросах культурного развития так же странно, как странно было бы нам отказывать Левицкому в наименовании народного художника и гордости русской культуры лишь потому, что он писал дворян, владевших крепостными, и у него самого во владении были крепостные.

Кстати, именно во второй половине XVIII века дворянская интеллигенция (та самая, что владела крепостными) обращается к национальным корням, горячо пропагандирует русскую культуру, собирает народные песни, как Львов (и, как он, мечтает, чтобы «Эрот бы *Лелю* место дал, / Иль *Ладе* строгая Юнона»), разыскивает, изучает, издает древнерусские рукописи, как А. И. Мусин-Пушкин; коллекционирует их, как Демидов. Сама Екатерина, по распоряжению которой такие рукописи разыскивались по монастырям, очень интересуется русской историей, древнерусскими рукописями, всячески поддерживает интерес к русской культуре.

Но и русский крепостной, он ведь не только бунтовал и пускался в бега (в чем мы ему, конечно, искренне сочувствуем), он работал. Огромная армия художников, каменщиков, столяров, краснодеревщиков, позолотчиков, всех тех, кто своими руками создавал то необыкновенное изящество, ту красоту дворцов, церквей, мебели, фарфора, которая и сегодня нас безмерно радует,— эти крепостные работали вместе с дворянством и часто под его руководством. В великом духовном подъеме страны принимали участие и счастливые, и несчастные.

Народные корни нетрудно проследить самым непосредственным образом у того же Левицкого, в тех же самых «смолянках», на которых в свое время так сердился Стасов. Возьмем двойной портрет Давыдовой и Ржевской, а из двух этих девочек опять выберем младшую.

Художники «Мира искусства» склонны были видеть в чуде Левицкого результат западных влияний (которые, впрочем, странно было бы отрицать, крупные художники всегда впитывают и перенимают все лучшее в искусстве своей эпохи). Может быть, и можно найти в западном искусстве аналог маленькой Давыдовой, но мне при взгляде на нее неизменно вспоминается картина, далеко уступающая по уровню живописи, но замечательная по своему настроению.

В куполе Андреевской церкви, стоящей в Киеве на высоком берегу Днепра (ее при Елизавете построили по проекту Растрелли и расписывали русские мастера), можно разглядеть клеймо с изображением архангела Рафаила, который несет в руке небесную сферу (обычный атрибут архангела). Но занят Рафаил совсем не небесной сферой, он смотрит на маленького мальчика в красной рубахе, которого ведет за руку. А мальчик тащит на веревке рыбу и, подняв лицо, глядит на Рафаила. Это общение старшего брата с младшим, это радость взаимопонимания, взаимопритяжения. С тем же ласковым доверием глядит вверх, общаясь неизвестно с кем, маленькая Давыдова. Сходство этих душевных движений несомненно, а главное, наши собственные чувства и к тому, и к другому ребенку чуть ли не совпадают. Между тем Андреевская церковь — это юность Левицкого, это одно из самых ярких художественных впечатлений его молодости, которое легко могло всплыть в его воображении, когда он писал маленькую «смолянку». Если клеймо с Рафаилом никак нельзя сравнить с работой Левицкого по уровню мастерства, то его вполне можно сравнить по уровню влюбленности в модель. А за самим архангелом Рафаилом, как за всей церковной живописью, лежат такие глубокие пласты русской национальной культуры, что вряд ли можно представить себе русского художника (сколь бы ни был он переимчив по отношению к приемам западной живописи), который не испытал бы на себе ее влияния и власти. Тихое и глубокое проникновение во внутренний мир человека, свойственное портрету второй половины XVIII столетия, идет оттуда, издалека, из глубины веков.

В рамках традиции художники отлично умели передать и глубину, и разнообразие человеческих характеров.

И. Антропов много рисовал старых женщин, может быть, и не случайно: старухи XVIII века отличались яркими характерами; во всяком случае те из них, кто дожил до



А. Антропов
М. А. Румянцева
1764



А. Антропов
А. В. Бутурлина
1763

последующего столетия, поражали новое поколение своей самобытностью, оригинальностью и живостью. Недаром Пушкин так любил разговаривать со старой екатерининской фрейлиной Загряжской (и записывал ее рассказы). Герцен, встретившись с Ольгой Александровной Жеребцовой (сестрой Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины, известной своими невероятными любовными похождениями и роковым участием в заговоре против Павла), был поражен независимостью, силой и оригинальностью ее характера. Мария Дмитриевна Ахросимова в «Войне и мире», имеющая реальный жизненный прототип, тоже одна из замечательных старух XVIII столетия.

В Русском музее хранится портрет М. А. Румянцевой, яркой представительницы этого столетия. В молодости она знала Петра I, ходили слухи, что была с ним в связи, во всяком случае она сама любила об этом рассказывать; пережила все последующие царствования вплоть до Екатерины, была матерью знаменитого полководца П. А. Румянцева-Задунайского. Современники говорят о ней, как о женщине интересной, живой, отличной собеседнице. Она изображена Антроповым по пояс, тела у нее нет, вместо тела — некая задрапированная шелком, жесткая подставка, единственное назначение которой — нести на себе усыпанный бриллиантами портрет императрицы. Энергичное, сильное, полнокровное лицо Румянцевой, правда, уже отяжелело двойным подбородком, но как бы озарено живостью характера; глаза сверкают и расширены, а рот насмешлив и тверд. Великолепному характеру Румянцевой соответствует великолепный колорит ее костюма, серые шелка, синие ленты, серебро и алмазы на груди. Но она с ее волей и сдержанностью, кажется, раскрыла себя художнику лишь в той мере, в какой разрешило ему это сделать ее своеволие.

Зато Анна Васильевна Бутурлина все о себе выболтала — от беспокойства, от непрестанной внутренней тревоги. В отличие от Румянцевой, которая предстает перед нами хозяйкой своей судьбы, Анна Васильевна совершенно не понимает, что с ней делается и что ждет впереди: высоко взлетевшие брови выражают полную растерянность перед жизнью, а глаза в мягких веках тусклы, блики у зрачков имеют жемчужный, катарактный отлив (нечастый случай в творчестве Антропова, когда глаза тусклы и не стали живописным и смысловым центром картины). В общем сине-зеленом колорите поражает цвет накидки, стянутой у горла,— цвет морской волны, да и сама ткань со своими взбитыми, взбаламученными складками похожа на море, странно освещенное не то лунным светом, не то отблеском молний. И когда взгляд зрителя от этого воплощенного волнения возвращается к лицу, бледно-желтому (словно с него разом сбежал румянец), то видно, что все-таки именно оно является центром картины, средоточием тревоги.

Поразительна экспрессия этой недвижной фигуры, неповторима индивидуальность модели (уж не гоголевская ли Коробочка?), общее смятение и страх перед будущим. Ничем тут художник себе не помог — ни бытовой подробностью, ни разъясняющим интерьером, ни каким-нибудь экспрессивным поворотом или выразительным движением руки — нет: темно-зеленый, чуть с просветом фон, тело, наглухо закрытое накидкой, тусклые старческие глаза. И колорит, конечно, это сочетание мертвенно-желтого с мощным и жестким сине-зеленым внятно рассказывает о внутренней жизни модели. Недвижные фигуры ранних русских портретов могут быть не только живы, но и резко выразительны.

Итак, художник XVIII века подходил к своей модели не с позиций обличения, насмешки или гнева, но с глубоким вниманием, а потому живопись умела несравненно больше, чем слово, которое пока еще схватывало поступки человека или некоторые его черты, уже могло бегло нарисовать иронический портрет, но лирического, глубокого еще не могло.

А впрочем, из этого правила есть исключение — дневник, автор которого написал портрет, удивительный по яркости и лиризму. На нем мы должны задержаться.

Семен Порошин, сын генерал-поручика, родился в 1741 году, воспитывался в сухопутном шляхетском корпусе, вышел из него человеком образованным, знал математику и языки. В век энергичного самообразования он продолжал развивать свой ум, накапливать знания, сам писал и переводил. Однажды во дворце за столом увидел он маленького мальчика — великого князя Павла Петровича, и сразу стал думать, как бы поближе с ним познакомиться. Что привлекло молодого офицера в этом ребенке? Хотел ли он приблизиться к возможному наследнику престола, или у него были какие-то иные замыслы? Знаменитые записки Порошина ответят нам на этот вопрос.

В 1762 году с воцарением Петра III Порошин стал его адъютантом — должность опасная ввиду предстоящих событий, но Екатерина, как мы знаем, приверженцев мужа обычно не преследовала и, напротив, старалась привлечь их на свою сторону. Тут-то осуществилась мечта Семена Андреевича: он стал одним из постоянных кавалеров при Павле, его учителем математики и фактически основным его воспитателем. С 20 сентября 1764 года по 31 декабря 1765 Порошин вел дневник (к величайшему сожалению историков, прерванный, в 1766 году сделано лишь несколько заметок с 1 по 13 января).

Странный мир окружал маленького Павла, нелюбимого сына Екатерины. Воспитание мальчика было поручено Никите Ивановичу Панину — человеку, бывшему главой целого оппозиционного направления, «дворянской фронды», враждебной екатерининскому режиму, имевшей собственную политическую программу, свою идею конституционного аристократического устройства (Панин был послом в Швеции, считал образцом шведское государство и хотел бы привить его порядки в России).

При маленьком великом князе собирался круг людей, который должен был способствовать разностороннему развитию мальчика. Каждый день к обеду к нему приходили интересные люди — П. А. Румянцев, еще не фельдмаршал (до турецких войн еще далеко), но уже знаменитый полководец; А. С. Строганов, меценат, знаток искусства; А. И. Бибиков, которого мы видели маршалом Уложенной комиссии; И. И. Бецкой, замечательный педагог; А. П. Сумароков; В. И. Баженов, вернувшись из-за границы, был тотчас сюда приглашен. Словом, историки дорого бы дали, чтобы присутствовать при беседах, которые велись за столом у великого князя. Порошин многое нам передал, кое-что мы можем прочесть между строк.

О чем только тут не говорили — о науках физике и астрономии, о Лейбнице и Левенгуке, об энциклопедистах, о литературе. Постоянно касались тем исторических. Так, например, однажды Панин рассказал «о настоящей причине смерти Петра I». «О настоящей», значит, не такой, какую сообщили официально?

Говорили о Волынском — в свое время, в 1765 году, Екатерина затребовала к себе дело о казни его и его друзей, убедилась в совершенной невиновности казненных и громко о том заявила.

Существует любопытный документ — собственноручное «Наставление» Екатерины, где она советует сыну и потомкам изучать дело Волынского, считает его безвинно казненным — он, напротив, заботился о пользе государства — и пользуется случаем еще раз выступить против пытки. «Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше, утвердительнее верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодной кровью; всякий пытанный в горячке и сам уже не знает, что говорит».

Волынский был горд, продолжает царица, и дерзостен в поступках, но своей стране не изменял. «И хотя бы он и заподлинно произносил те слова в нарекании

Ф. Рокотов
Великий князь Павел Петрович
Не позднее 1758 г.



Ф. Рокотов
Великий князь Павел Петрович
Не позднее 1758 г.

особы Императрицы Анны, о которых в деле упомянуто, то б она, быв Государыня целомудрая (то есть если бы она была умна.— *О. Ч.*), имела случай показать, сколь должно уничтожить (то есть презирать.— *О. Ч.*) подобные малости, которые у нее не отнимали ни на вершка величества и не убивали ни в чем ее персональные качества. Всякий государь имеет неисчисленные кроткие способы к удержанию в почтении своих подданных <...> Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены; изволь мериться по сей аршин; а если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожением, так ему более в свете, и особливо в российском, счастье желать, нежели пророчествовать можно. Екатерина».

Она как в воду глядела со своими пророчествами: если бы Павел, став императором, отнесся без «уничтожения» к советам своей умной матери, может быть, судьба его сложилась по-другому? Но сейчас он мал, сидит за столом, слушает разговоры о деле Волынского и содрогается от описания его зверской казни.

Люди, собравшиеся за столом цесаревича, подчас едва ли даже и помнили о маленьком хозяине дома, во всяком случае их мало заботило, посильно ли его воображению то, что они при нем рассказывают.

Иногда затрагивали опасные темы настоящего — говорили, например, о Мировиче, нищем подпоручике, который решился в одиночку освободить из Шлиссельбурга Иоанна Антоновича. Вряд ли на обеде у маленького великого князя стали бы повторять слухи о том, будто это Екатерина подстроила покушение Мировича, зато о нем самом здесь отзывались с сочувствием, во всяком случае А. С. Строганов рассказывал, «с какой твердостью и с каким благоговением злодей сей приступал к смерти». Казнь Мировича вообще произвела на общество очень тяжелое впечатление — за время правления Елизаветы люди отвыкли от безобразных кровавых спектаклей — это была первая публичная казнь, и все были убеждены, что в последнюю минуту Мирович будет помилован. Но голова молодого офицера скатилась с плахи — и общество было потрясено.

Опасные, мрачные разговоры бродили вокруг мальчика, да и самому ему уже пришлось немало пережить. Однажды, «обуваючись», он рассказал Порошину о своем горе, о смерти Елизаветы Петровны, «им почти боготворимой бабки».

Он был странным мальчиком, Павел. Вот он бродит, «повеся головушку», ничего не говорит, поглядывает на часы — вы думаете, ждет какого-нибудь развлечения? Нет, считает минуты, когда можно будет лечь спать (наверно, единственный мальчик на свете, который смотрит на часы в надежде, что его отпустят спать). Не хочет в комедию (одно из самых ярких развлечений тех лет), а если и идет туда, потом плачет — поздно, пропущен заветный час, когда можно было идти в постель (он даже завидовал купцам и работникам именно потому, что те рано ложатся). И не от душевной вялости это происходит, нет, ребенок очень живой, пытливый, умный, просто у него явно не хватает сил для целого дня. Он слаб, его часто схватывают недомогания, в свои десять лет он уже большой специалист по головной боли, знает четыре ее вида: круглая (когда болит затылок), плоская (когда лоб), простая (несильная) — и ломовая. Богатый опыт.

У него вообще уже большой жизненный опыт. В скрытой и бешеной борьбе, которая шла вокруг престола, ни мать, ни отец его не замечали (Петр III в своем манифесте восшествия на престол Павла, равно как и Екатерину, даже не упомянул). Ему было семь, когда его мать совершила переворот, он должен был помнить эти дни. Ночью с 28 на 29 июня 1762 года гвардейцы пожелали видеть Екатерину с сыном (прошел слух, что их убили) и потребовали, чтобы императрица к ним вышла (в те дни они, возведшие ее на престол, могли требовать), императрица вышла на балкон с

Ф. Рокотов



Ф. Рокотов
Екатерина II
Конец 1770-х гг.

Павлом на руках — это значит, его разбудили и вынесли к толпе. Что запомнил он о той ночи, что тогда чувствовал? А что знал он о событиях в Ропше — не шепнул ли ему кто-нибудь во дворце, как умер его отец? Однажды Порошин рассказывал ему про давние страшные дела — о «слове и деле государевом», о доносах, пытках, Тайной канцелярии. «А где она теперь?» — спросил Павел. «Отменена»,— ответил Порошин. «Кем?» — спросил Павел. «Государем Петром III»,— ответил Порошин. «Покойный государь очень хорошее дело сделал, что отменил ее»,— заметил Павел и тут же стал просить Порошина, чтобы тот рассказал ему про дело Мировича (а Порошин предпочел не рассказывать). Вот уж разговор (как мы бы сейчас сказали) весь на подтексте. Нетрудно понять, как шли мысли мальчика: отец сделал великое дело — уничтожил застенок, систему доноса и пытки. А что сделала мать? Устроила публичную казнь? И что стояло за этой казнью?

Порошин не стал рассказывать Павлу о Мировиче, надо думать, из осторожности, но была у него и еще одна серьезная причина: он знал, что всякое впечатление «весьма трогает» мальчика. Так, после казни Мировича Павел «опочивал ночью весьма худо».

На него вообще часто нападала тревога. Его тревожил ветер. «Потом рассматривал Его Высочество в окно, какой сего дня ветер и куды тучи идут. Сие наблюдение почти всякое утро регулярно он делать изволит. Когда большие и темные тучи, тогда часто осведомляется он, скоро ли пройдут и нет ли опасности. Всегда страшный суд на ум приходит». Вечером, «севши в желтой комнате, изволил Его Высочество вслушиваться, как дует ветер».

Действительно странный мальчик. Вокруг него множество людей и развлечений, а он сидит один и слушает, как воет ветер. Ему бы нужна внимательная мать, а матери рядом нет никогда. Болен ли он (а он болеет часто и порой серьезно), его укладывает в постель дежурный кавалер, подносит лекарство, очень осторожно и мягко намекая при этом, что наследнику престола не следовало бы так часто болеть — как бы не вызвать злых наветов и ненужных толков. Политика!

Панин, которому Павел всецело подчинен,— человек образованный, прогрессивно мыслящий, но он сух и черств, к тому же всегда помнит, что воспитывает будущего императора, которому предстоит вечно быть на людях и держаться сообразно сану. А болит ли у будущего императора голова, не страшно ли ему по ночам, это воспитателя нимало не волнует.

Мальчик видит мать только на куртаге, на каком-нибудь празднике, сопровождает ее на параде или морских маневрах (у него чин генерал-адмирала, начальника всех морских сил, к нему приносят на подпись бумаги, приезжают представляться вновь назначенные офицеры флота); Екатерина скажет ему два-три слова, может быть, даже ласково скажет («мой батюшка») — и все. Однажды она тихо подозвала сына и спросила его, почему Панин так невесел, если это из-за него, Павла, то она очень просит его больше не огорчать наставника — и мальчик был тронут. Все очень мило, очень мягко, но сын к матери обратиться с просьбой почему-то не может — просит других.

А ведь бывали случаи, когда он ее ждал. Вот она в Царском Селе, и сын не может дождаться ее приезда (чего он ждет — внимания, участия, доброго слова?). Она приехала и тотчас села играть в карты, а он, постояв около и поиграв потом в биллиард, «стал выказывать нетерпение, чтобы идти к себе», за что его потом долго ругал Панин и в наказание даже приказал задержать ужин, отчего великий князь «стал уже и поплакивать», а на следующий день пожаловался Порошину, «какой вчерась вечер был несносный». Но по большей части мальчик уже ничего от вечерних встреч с

матерью не ждет, а однажды, узнав, что она уехала в Царское Село, обрадовался, «что хлопот убыло».

А сколько бывало разочарований, когда вечному затворнику дворца (он почти никогда не гуляет) доводилось ее сопровождать на смотрах, которые он любил до безумия. Для него это праздник, радость несказанная, но вот после смотра императрица со своей свитой отправляется в шлюпках по реке (ему бы с ней!), «а наш генерал-адмирал,— пишет Порошин,—до дому». Невеселая шутка.

То и дело видим мы его на «куртаге», сперва он вроде бы весел (и фрейлины любят играть с «любезным Пунюшкою»), потом начинает проситься к себе, но Панин ему отказывает: нельзя, еще не ушла императрица. «Зачал великий князь с ножки на ножку переступать, помигивать и смотреть на плафон, чтобы скрыть свое нетерпение», за что уж после в его покоях последовал ему жесточайший нагоняй, с позором, со снятием шпаги, с запрещением кому бы то ни было с ним разговаривать. Павел стоял один у печки, а неподалеку Порошин мучился и ничего не мог поделать.

Непрестанная тревога пронизывала жизнь мальчика, мысли о времени, о вечности приходили в голову — и о смерти. Однажды они с Порошиным говорили о беспредельности времени, Павел «изволил сказывать, что прежде сего плакивал, воображая себе такое времени пространство, и что наконец умереть должно». Вот о чем думал он под вой ветра, этот печальный наследник престола, король Матеуш Первый; я не случайно вспомнила корчаковского Матеуша — представьте, маленький Павел мечтал о том, чтобы создать государство детей! Однажды, когда он обувался, а Семен Андреевич говорил с ним о республике Платона и «Утопии» Мора, мальчик в ответ («во время чесания волос») рассказал своему учителю, что мечтает создать собственную республику, которая «должна состоять из малолетних» — вечная мечта одинокого ребенка в жестком мире взрослых.

Порошин следил за развитием Павла с тревогой, нежностью и вниманием старшего брата. Он тоже отлично помнил, что воспитывает мальчика, которому предстоит стать самодержавным правителем огромной Российской империи, но куда глубже Панина сознавал свою ответственность; не боясь впасть в преувеличения, можно сказать — ответственность перед страной. Кстати, понятие отечества он переживал очень глубоко, его ранит то легкомысленное отношение ко всему русскому, национальному, которое порой чувствовалось в застольной беседе вельмож. Он полагает, что ребенку до поры до времени не следует слышать о недостатках своего народа, сам со временем узнает, нужно сперва вложить в душу ребенка «любовь и горячность к народу», тогда и слабости этого народа будут по-другому глядеться — мысль, выдающая, конечно, настоящего педагога.

Сознательно и планомерно воспитывает Семен Андреевич в наследнике престола чувство ответственности перед страной, не устает твердить, что жизнь государя должна быть составлена «из беспрерывных трудов и подвигов к пользе и прославлению любезного отечества». Очевидно, речи Порошина были убедительны, потому что Павел слушал с большим вниманием и говорил: «Подлинно, братец, вить это правда».

Все теснее становится связь между учителем и учеником. Только Порошину мальчик может признаться, что в покоях матери ему «несносно». Только Порошин видит, как великий князь, которому предстоит трудный экзамен по богословию (торжественный, в присутствии матери и вельмож!), говорит, «из угла в угол попрыгиваючи: ,,Ой, трушу, трушу“». Именно в комнату Порошина прибегает он по утрам — поцеловаться, пошептаться, поведать «свои таинства». Им было хорошо друг с другом, педагогика Порошина была мягка, он никогда не устраивал нагоняя и не наказывал, напротив, когда бедный «Пунюшка» хорошо вел себя на балу, то есть не

плакал и не просился к себе, «пришедши восвояси,— пишет Порошин,— расхвалил и расцеловал я его за это».

Случалось им ссориться и серьезно. Вот Павел, который, как видно, наслушался чьих-то злых наветов, дуется и не разговаривает. Не разговаривает и Порошин. Павла хватает ненадолго, на следующий день, пишет Порошин, он «старался заигрывать со мной и изволил приласкиваться». Но Порошин, обидевшись той легкости, с какой его друг поверил наветам, «не входил ни в какие шутки». Павел стал томиться, все время «забегать изволил», чтобы примириться,— Порошин оставался тверд. Дела шли своим чередом, занятия, уроки — а они все еще не разговаривали друг с другом. Наконец посреди каких-то занятий Павел не выдержал и спросил: «Долго ли нам так жить, пора помириться», на что Порошин сухо ответил, что его обида велика. А наутро мальчик сам прибежал в его комнату, бросился ему на шею и, целуя, говорил: «„Прости меня, голубчик, я перед тобой виноват; вперед никогда уже ссориться не будем, вот тебе моя рука“. Я расцеловал руку Его Высочества, и по некоторых разъяснениях постановивши твердый мир, пошел за ним чай пить».

Порошин недаром был в этой истории так тверд — злобная зависть придворных пылала вокруг и грозила бедой им обоим.

Мы сейчас в последний раз увидим их вдвоем. По Невскому мчат санки,— такие можно себе представить по описанию в мемуарах Гаврилы Добрынина: «Это маленькие санки на двоих, третий на запятках. И они так уютны, что кажутся очень малы, и столь легки, что впору для одного бегуна. По светло-зеленой краске покрыты лаком и по приличным местам выложены бронзою. Выбивка, подушки и на медведях покрывало из лутчего расноцветного рытого трипа». Санки цесаревича, конечно, убраны еще богаче — вместо трипа, надо думать, бархат, вместо медведя — соболя или черно-бурые лисы, вместо бронзы — золото — сидит в них счастливый мальчик, вечный узник дворца, вырвавшийся на свободу; Порошин стоит на запятках.

Доехали до слонового двора, где еще недавно жил подаренный когда-то Анне Иоанновне слон. Здесь Павел увидел мужиков, пивших теплое сусло, ему захотелось попробовать, остановились — мальчик выпил, а собравшийся народ, так пишет Порошин, смотрел на него «с великим удовольствием». И снова полетели санки по снежным улицам Санкт-Петербурга. Великий князь «был очень весел. Оборачиваясь ко мне, изволил со мною разговаривать и хвалил сусло. Его Высочество сим катанием несказанно был доволен. На улице из саней ко мне оборачивался, хотел меня поцеловать в своей радости. Но я сказал, чтобы изволил сидеть починнее, что мы уже домой приехавши поцелуемся».

Хоть Порошин и чувствовал, что беда надвигается, обрушилась она неожиданно. Панин узнал, что Порошин ведет дневник, пожелал его прочесть, и вот однажды Семену Андреевичу было сказано, что он назначен на Украину, в Ахтырку, командовать полком. Проститься с мальчиком ему не дали, больше они не виделись никогда.

В дневнике Порошина написан первоклассный лирический портрет — печатная проза писать такие еще научится нескоро. А уж если речь идет о ребенке, то писателям XVIII века и не снилось такое мастерство и тонкость в изображении его внутреннего мира, да и есть ли что-нибудь подобное в XIX? Пушкинский Петруша Гринев, хоть и написан очень мягко, но все же иронически (с некоторым — правда, очень легким, оттенком Митрофанушки — чего стоит один мочальный хвост, приделанный к Мысу Доброй Надежды!). Ни Багров внук, ни дети Ростовы (даже Петя!), ни даже Сережа Каренин не разработаны так тонко и не вызывают у нас такого щемящего чувства — разве что дети Достоевского?

Разлучив сына (по собственной воле или по навету Панина) с его любимым наставником, Екатерина не только порвала тончайшие нити, их соединяющие, она сбила Павла с того пути, на который его неуклонно направлял Порошин. Трудно сказать, удалось бы педагогу противостоять тлетворному влиянию двора и целиком руководить наследником престола, но влияние его на мальчика было огромно, а внимание — всегда настороженным.

От этого внимания, конечно, не ускользнула страсть мальчика ко всему военному — парадам, знаменам, артикулам, регалиям (страсть, столько бед принесшая русскому народу, поскольку от Павла передалась его сыновьям). Педагог видел, как горело лицо мальчика, когда тот смотрел на проходившие полки. На параде, который принимала Екатерина (верхом, в мужском костюме, в мундире конной гвардии), когда при ее появлении раздалась команда: «Палаши вон!», Павел тоже в восторге выхватил свой палаш. Порошин и сам любил военное дело, читал своему воспитаннику военные книги (в частности, историю Мальтийского ордена — не тогда ли запала в душу цесаревича мальтийская романтика?), но был достаточно умен и прозорлив, чтобы серьезно тревожиться военными увлечениями своего питомца.

Однажды, когда у великого князя за столом заговорили о маленьких немецких княжествах, где принцев заставляют служить в армии «с таким повиновением и подробностями, как и всех остальных», Порошин подхватил тему: у немецких принцев, сказал он, с их маленькими владениями, разжигается «славолюбие», а куда же ему обратиться, «как на Марсово поле», своего войска у них нет, они стараются сами отличиться в военных подвигах, причем «таковы старания иногда до самых излишних малостей распространяются». Порошин уже тогда разглядел ту страсть, которая таким дурным цветом расцветает в душе Павла. Указал он и источник влияния, идущего из маленьких немецких княжеств, влияния тем более постоянного, что именно отсюда, начиная с петровских времен, дом Романовых брал невест для великих князей. Семен Андреевич пытался стать на пути этой страсти. Пристало ли наследнику великой империи, говорил он, забывая о великих целях и делах, пускаться «в офицерские мелкости». Он словно предвидел опасность того, что эти «мелкости» овладеют воображением Павла.

Заметил Порошин и другую павловскую черту, опасную для правителя,— нетерпеливость. Семен Андреевич внушает своему ученику великую политическую мысль: государственные предприятия и преобразования требуют времени и терпения. «Его Высочество, слушав, изволил покивать тут головушкою и сказать: ,,А как терпения-та нет; где же ево взять“».

Между тем ему пришлось запастись терпением еще на тридцать лет. Целых тридцать лет предстоит ему не только ждать престола, который он считал своим, ему придется видеть, как слабеет материнское правление — да еще в то самое время, когда сам он молод, полон энергии и сил,— как раскрадывают страну вельможи, как истекает кровью народ в бесконечных войнах, как наглеют большие и маленькие временщики. Придется видеть все это, знать, что ничего сделать не может (а мог бы, а должен бы!),— и терпеть. «А как терпения-та нет; где же ево взять?»

Душа Павла перегорала и перегорела в эти долгие годы. Та тонкая, нервная и, по-видимому, уже несколько сдвинутая душевная структура, которую мы видели у маленького великого князя, не вынесши напряжения, стала разрушаться. И когда наступил день смерти Екатерины (потрясший Павла и горем и радостью), на престол взошел человек, едва ли не полубезумный.

О нелепости диких выходок Павла написано немало. Он предстает в литературе фигурой трагикомической, а его режим носит оттенок зловещего фарса. На самом деле



С. Щукин
Павел I
1796

Ф. Шубин



Ф. Шубин
Павел I, бронза
1798

Павел — фигура чисто трагическая (недаром Лев Толстой в одной из своих записей сказал, что это — его герой). Те черты, которые мы видели в маленьком великом князе, его деликатность, душевная тонкость, жажда привязанности, доброта — все это, смешавшись с обожженным самолюбием, диким властолюбием (не меньшим, чем у Екатерины), сумасшедшим «пруссачеством», дало острую, горькую и взрывчатую смесь. Он пришел к власти со своей программой благих преобразований, но для того, чтобы ее осуществить, у него уже не было сил. От него ждали многого, особенно ввиду первых его шагов и той энергии, с какой взялся он за наведение в державе порядка,—все это вызвало большие и серьезные надежды страны. Но несчастный Павел уже ничего из задуманного, выношенного за долгие годы ожидания, осуществить не мог. Да ему и не дали.

Живопись с удивительной силой раскрывает нам этот удивительный характер и трагическую судьбу.

Павел отлично знал, что некрасив. Если в детстве еще могли быть какие-то иллюзии (и он, увидев собственный мраморный бюст, рассмеялся и сказал: «Какой фурсик сделан»), то с возрастом безобразие наследника становится все очевидней и окружающим и ему самому. Саблуков, выдвинувшийся как раз при Павле, часто бывал при дворе, хорошо знал императора и в своих мемуарах оставил о нем много интересных рассказов. В частности, он рассказал, что в Гатчине напротив окна офицерской караульной комнаты рос старый дуб, весь в наростах; один из них, покрытый маленькими ветками, был так похож на Павла с его косичкой, что молодой Саблуков «не мог удержаться от того, чтобы тотчас его срисовать». Рисунок понравился офицерам — и Саблуков без устали рисовал и раздавал изображение. При господствовавшей в Гатчине системе доносов Павлу, разумеется, об этом сообщили. Однажды, когда Саблуков срисовывал стоявшие во дворце бюсты великих людей, Павел подошел к нему и спросил, делал ли он когда-нибудь его портрет. «Много раз»,— ответил Саблуков. Павел «расхохотался, взглянул на себя в зеркало и сказал: "Хорош для портрета"».

Тем не менее, вступив на престол, он пожелал тотчас же иметь свой парадный официальный портрет. Его заказали Степану Щукину. Художник представил два эскиза — на одном Павел был изображен верхом, на другом просто стоял с тростью в руке. Павел (к его чести) выбрал последний — этот эскиз, или «оригинальный проект», находится в Третьяковской галерее.

Портрет предельно прост — никаких занавесей, корон и скипетров. В пустом пространстве стоит одинокая фигура в форме полковника Преображенского полка. Но эта предельная композиционная простота насыщена и колористически, и духовно. Не устаешь любоваться темным мерцанием красок, поражает тонкость и сложность понимания царственной модели и такая редкость характеристики, что остается лишь удивляться художнику, который осмелился быть так независим в изображении монарха.

Нелепая коротконогая фигура предстает перед нами, нелепый, заносчивый характер — и эта рука, так далеко отставленная с тростью (аффектация!), и этот выдвинутый вперед ботфорт, и эта треуголка, надвинутая только что не на нос! Художник остановился на грани гротеска — но отнюдь ее не перешел. В самой важности сорокалетнего императора есть что-то детское, простодушное, неустойчивое, а на курносом (очень курносом, нос почти переломлен) лице его доброжелательность, открытая любезность, веселость; кажется, он сам над собой слегка подсмеивается — есть в нем что-то от простоты и душевности порошинского воспитанника. Но вместе с тем есть в этом портрете и своя программа. Перед нами несомненно тот самый Павел,

от которого Россия ждала обновления, облегчения — а она ждала, уже давно наследник престола был ее надеждой, уже давно, и притом в разных социальных слоях, с нетерпением ждали его прихода к власти. И казалось, что первые его шаги (отмена рекрутского набора, попытки привести в порядок государственные дела и т. д.) как будто эти надежды оправдывали. Трагически восприняло резкую перемену климата, жесткость (и нелепость) дисциплины непосредственное окружение Екатерины — но страна ждала от нового царствования добра. Болотов, записывавший все те разговоры, анекдоты, новости, которые переполняли провинцию особенно ввиду смены правления, приводит великое множество рассказов об уме, энергии и доброте нового императора. Измученная, разворованная страна ждала от него спасения — щукинский эскиз, думается мне, представляет нам Павла как раз времен этих общественных надежд. Любопытно все-таки, что сам Павел утвердил в качестве официального портрета именно этот — значит, отвечал его образ требованиям императора, значит, именно таким хотел он себя видеть? А если вспомнить его самоиронию («Хорош для портрета»), то, может быть, и забавную сторону портрета, написанного Щукиным, Павел оценил — от такого странного человека всего можно ожидать.

Щукин написал Павла с любопытством и симпатией, но вместе с тем глаз художника приметил и нечто несерьезное в этой фигуре, нечто от бравады, от желания кому-то что-то раздоказать, оттенок той нелепости, которая отметит многие шаги Павла и сведет на нет его многие добрые начинания. Щукин с удивительной точностью передает неустойчивое душевное состояние своей модели.

«Оригинальный проект», утвержденный Павлом, лег в основу его официальных портретов, которые были уже другими. Впрочем, большой портрет, который тоже находится в Третьяковской галерее, еще очень близок к эскизу по характеру модели — хоть Павел здесь уже много благообразней (и уже почти не курнос) и однозначней, перед нами то же самое живое лицо, любезное, да к тому же еще полное любопытства к собеседнику.

Лирический портрет Павла-мальчика, созданный Порошиным, можно впрямую сопоставить с шедевром Рокотова — портретом маленького великого князя.

Это вещь небольшая по размеру и веселая по характеру. Павел заключен в овальную рисованную раму, за которую очень живо выскочил край горностаевой мантии (знак княжеского достоинства). Цвета здесь детски-радостные — светло-красный бархат, пересеченный голубой лентой, белые пудреные волосы. Сам маленький Павел Петрович тоже приветлив и весел, но, если вглядеться, заметно странное противоречие между сияющим взглядом и крепко сомкнутыми губами, словно он боится выболтать что-то, о чем болтать не следует. Впрочем, губы эти готовы улыбнуться. Это, конечно, он, «любезный Пунюшка», и тут же слышен нам его голос: «Что же вы, чижички, не купаетесь?» или ввиду экзамена: «Ой, трушу, трушу!»

Но есть тут секрет: в его доверчивом взгляде, если к нему присмотреться еще внимательней, можно заметить некое вопросительное выражение, словно бы даже некую растерянность, нечто похожее на тревогу (эффект несомненен в оригинале, репродукция вряд ли его передаст). Это он «плакивал», воображая себе «такое времени пространство и что наконец умереть должно», это он, один в комнате, сидел и слушал, как воет непогода.

Мальчик схвачен с удивительной проницательностью и притом как раз в главном: в сочетании веселости, простодушия, печали и тревоги. И таким беззащитным кажется он нам в своем мундирчике с орденской лентой и взбитыми височками. Эту беззащитность, по-видимому, и разглядел Порошин, когда увидел его впервые.

В том же зале Русского музея неподалеку от портрета Павла находится портрет

его матери, тоже написанный Рокотовым. Вот когда становится ясно, что у крупного художника для каждой модели может быть своя живопись; возникает впечатление, что эти портреты писала разная рука: матовая, воздушная, легкая живопись павловского портрета — и яркая, четкая, сверкающая до глянца в портрете императрицы. Она здесь в мехах, в драгоценностях, в назойливом блеске атласа; она пышет здоровьем, до краев полна самоуверенностью, самодовольством, торжеством — а взор у нее голубой и холодный. Нам сейчас, после чтения порошинского дневника, она представляется злодейкой.

Злодейкой эта женщина не была. Просто природа, богато ее одарившая, забыла дать ей дар материнской любви — у нее был сын от безмерно ею любимого Григория Орлова (была впоследствии и дочь от Потемкина — Елизавета Темкина), но и этот мальчик воспитывался не ею, а от ее писем к нему, уже взрослому, благожелательных материнских писем, веет ледяным холодом.

Может быть, Рокотов потому и написал Екатерину так отчужденно (чтобы не сказать — враждебно), что он до этого писал маленького Павла, может быть, потому ее портрет так легко сопоставляется с тем, какой написан в дневнике Семена Андреевича, что художник тоже воспринимал мать через сына?

Но ведь из записок Порошина возникает и его собственный портрет — человека умного, мягкого, с совершенной внутренней независимостью.

Восемнадцатый век второй половины с его подъемом, расцветом и бурной энергией неодолимо тянуло к юности. Если у Антропова мы встречаем замечательные портреты старух, то у Рокотова, Левицкого, Боровиковского их очень мало. Старик священник у Левицкого, старуха Жданова у Рокотова, если говорить о глубокой старости, кажутся одинокими среди множества молодых лиц. Зато таких детских портретов, какие дал нам русский XVIII век, не дала, как мне кажется, ни одна эпоха.

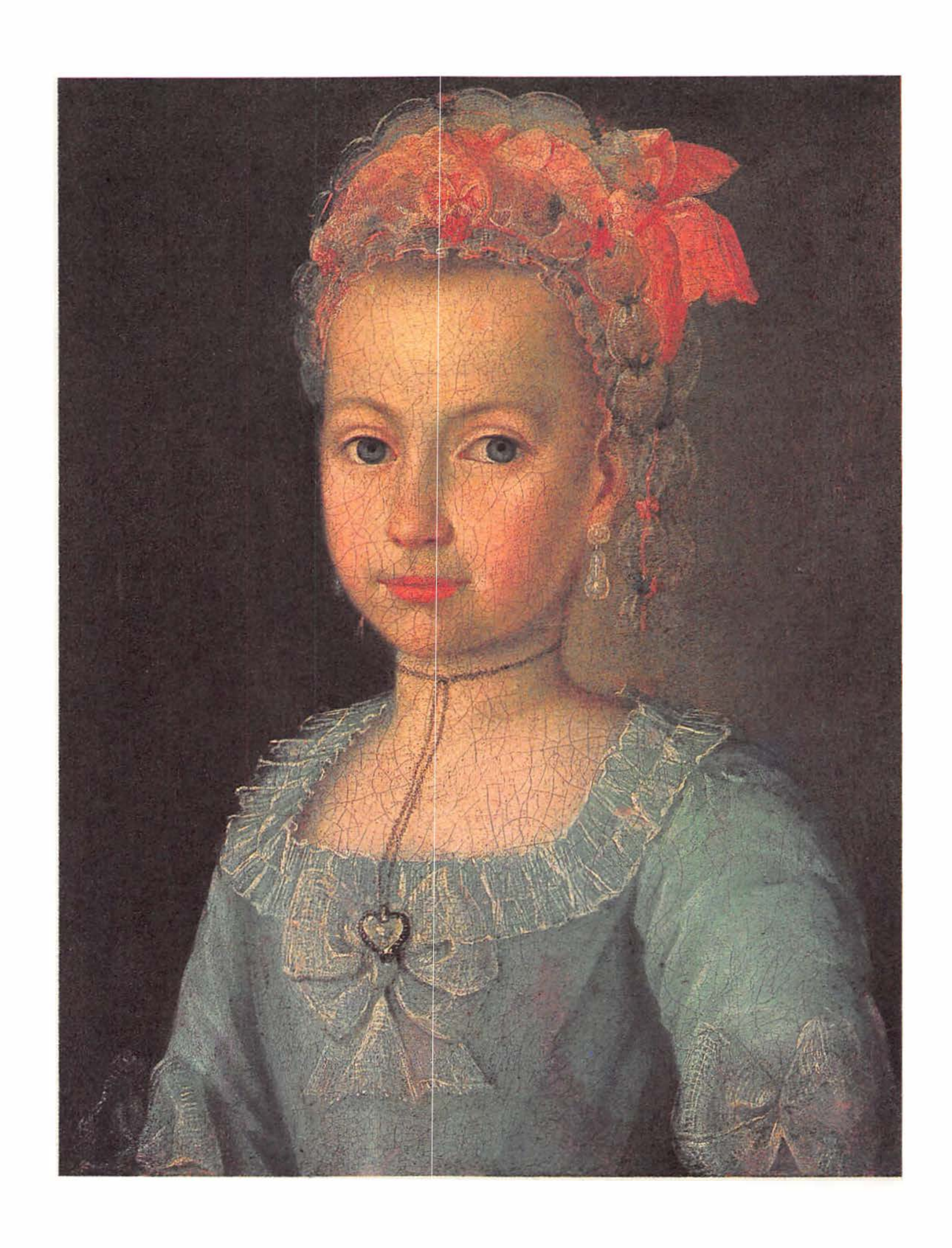
Перед нами прошла целая их галерея — вишняковская Сарра Фермор, эта потайная живость, закованная в серебряное платье; «смолянка» младшего, «кофейного» возраста Давыдова (Левицкий); рокотовский Павел Петрович, мальчик, чьи глаза в печали и тревоге спрашивают вас о чем-то, а сомкнутые губы готовы не то улыбнуться, не то проговориться; сюда можно было бы прибавить и девочку Юсупову его же, маленькую столичную даму-красавицу; или маленькую провинциалку Лермонтову (Григория Островского) с ее быстрым, цепким взглядом.

Только особая жизненная мудрость могла так разглядеть детскую душу. И мы не можем не вспомнить, что шел век, когда педагогика, несмотря на все педагогические, философские и воспитательные трактаты и романы, была темной и дикой в ее совершенном непонимании душевной и физической природы ребенка с ее системой зверских наказаний. Никто, повторим, еще не рассказал о детях с такой деликатностью и любовью. Наслаждаясь прелестью и свежестью этих портретов, не стоит забывать и об их (подсобной) просветительской работе.

Много было споров о живописном искусстве второй половины XVIII века. Одни считали, что в развитии его произошел перелом, когда религиозный сюжет уступил место светскому, а иконопись — живописи, и что перелом этот совершился под влиянием западного искусства, которому подражали русские художники. Другие, как, например, Н. Н. Пунин, полагали, что «исконно русская традиция не была ни потеряна, ни забыта», что не было перелома. В настоящее время искусствоведение справедливо видит в портретной живописи второй половины XVIII века результат



Ф. Рокотов
Е. Б. Юсупова
Конец 1750-х — начало 1760-х гг.



Г. Островский
А. С. Лермонтова
1775



Д. Левицкий
Е. А. Воронцова в детстве
Конец 1780-х гг.

могучего расцвета, который соединил в себе древнерусскую живописную традицию, все то лучшее, чему русские художники обучились у западных, и их собственный опыт людей, накопивших огромный духовный потенциал и готовых к созданию великой культуры. Портреты второй половины XVIII столетия наряду с современной им архитектурой и скульптурой были первыми представителями этой новой культуры. Они, да и самый их век, в разные времена понимались по-разному. Для «мирискусников» самая эпоха была фантомом: люди XVIII века придумали себя и свою жизнь (век пудры и вздохов, воркующих голубков, пастушков и пастушек и т. д.). Вот почему для Н. Врангеля их искусство отражает «сон о жизни, грезу о действительности, квинтэссенцию мечтательного желания». Когда сравнишь то, что было, с тем, что сказано, пишет автор, «еще яснее становится тот красивый дурман, которым так легко и умело опьяняли себя люди времен Елизаветы, Екатерины и Павла». Неестественная жизнь, которая при всей своей красоте несет в себе нечто нелепое, «превратилась в театральную декорацию, и все разыгрывали роли актеров и актрис, не замечая, как иногда грубо сшиты их платья, как картонны декорации и как путает суфлер». Дворяне XVIII века «создали себе замок грез, полный нежной, ласковой, мечтательной поэзии. И, как дети, они стали играть своими разряженными куклами, воображая, что это настоящие, живые люди». Но ведь искусствоведы и художники «Мира искусства», несмотря на их тонкое понимание XVIII века, отчасти сами все-таки играли в него, как в драгоценную игрушку.

Поскольку «порвалась связь времен», истинную жизнь эпохи в общественном сознании надолго подменили прелестные ретроспекции. XVIII век представлялся некой сценой, где разыгрывался спектакль, или площадью, где шел непрестанный карнавал. Таким представлениям способствовала его нарядность, тщеславный парад его портретов, шелк, бархат, парики, алмазы и на женщинах, и на мужчинах. На самом деле дворяне тех времен так одевались в жизни, эпоха любила яркие краски, пышность шелков и кружев — такова была мода. Подчас она является несколько странной: нетрудно, например, заметить, что мужчины на портретах, даже юные, даже мальчики, все с большими животами. На портретах известных красавцев, чья стройность и статность прямо засвидетельствована современниками — Григория Орлова и Александра Ланского,— оба предстают перед нами толстобрюхими и узкоплечими, тогдашнему глазу это казалось красивым и элегантным. На женских портретах Антропова краски лица нестерпимо грубы, потому что женщины елизаветинской поры безбожно раскрашивались, густо белили лица, густо румянили щеки, густо сурмили брови, это казалось красивым при Елизавете и стало невозможно в екатерининские времена; в эпоху романтизма, как известно, войдет в моду томная бледность.

Любуясь рокотовскими портретами, «мирискусники», уж конечно, не задавали им никаких вопросов и не предъявляли никакого счета. Счет им был предъявлен в 30-е годы нашего века (не менее строгий, чем тот, который в свое время предъявил В. В. Стасов «смолянкам» Левицкого). В одной из работ той поры утверждалось, что Рокотов «создал красивую легенду о Екатерине и аристократах второй половины XVIII века» — казалось бы, почти врангелевская концепция, но есть тут существенное различие: если у Врангеля художник мечтает, то у автора 30-х годов он лжет; только в некоторых портретах (каковы портреты В. Майкова и старухи Ждановой) Рокотов был самим собой, в остальных обманывал. «Притворство, театральность, манерность, любование собой при недостатке культурности и наличии всякого рода пороков — вот характерные черты аристократии», которую писал художник; будь он талантливей и культурней, это спасло бы его от «чрезмерной угодливости и лести» по отношению к его моделям. Так, изящная концепция «замка грез» и мастера, который красиво о нем

рассказал, трансформировалась в грубую схему, где подобострастный и льстивый художник лгал своим искусством: злых, грубых, порочных крепостников писал добрыми, красивыми и ласковыми. Конечно, автор не мог не чувствовать прелести рокотовских портретов, «его живопись,— говорит он,—напоминает нежную музыку, действующую успокоительно и вызывающую в слушателе особо мечтательное настроение», но впасть в подобное настроение себе не позволил. Он подозревает Рокотова в том, что тот угодничал перед заказчиком, руководствуясь «холодным расчетом»,— даже так.

Все это прошлогодний снег. Современному искусствоведению подобный уровень разговора немыслим, оно старается возможно глубже проникнуть в психологию эпохи, понять природу самого художественного видения, по возможности стать на точку зрения художника, по возможности его глазами взглянуть на современную ему жизнь. Подобно тому, как в обществе были строгие нормы поведения, манера себя держать и переступить их было нельзя, говорит искусствовед И. Кузнецова, так и в портрете художник руководствовался правилами, выйти за рамки которых не мог «прежде всего в силу своих собственных представлений о той же художественной правде. Портрет эпохи Людовика XIV, который не был бы помпезным, был бы фальшивым» — это уже иной уровень понимания.

Для нас общество XVIII века — не «замок грез» и не театр, а люди его — не актеры, не ряженые и не притворщики, скрывающие свои пороки под красивыми масками. Если прошлое ввиду нашей позиции издалека всегда нам видится немного сценой, то это сцена, где режиссировала сама жизнь и где суфлер никогда ничего не путал.

Создание портрета — сложнейший, тончайший творческий акт, обусловленный сплетением многих влияющих факторов. Живописец и его модель — эта проблема совсем не сводится к тем требованиям, которые ставил художнику заказчик (размеры портрета, поза, костюм, антураж и т. д.), дело обстоит много сложнее. «То, как осуществляется преображение людей на холсте,— пишет Г. В. Ельшевская, автор книги «Модель и образ»,— зачастую не вполне открыто для самого портретиста: в динамике творчества сознательные установки дополняются множеством интуитивных импульсов. Художник смотрит на модель, оценивает ее психологически и эстетически, ищет «главную идею», ядро характера и живописные возможности для их выражения. Так рождается будущая концепция образа — то, как художник видит оригинал. Но общение художника и модели есть взаимопонимание и взаимопроникновение, часто борьба, где портретист неизбежно втягивается в орбиту портретируемого. Информация о модели, полученная художником в процессе этого общения — в процессе совместного творчества, порой может изменить первоначальный замысел и образную концепцию произведения».

Но существует еще и проблема: живописец и время. «Каждая эпоха,— продолжает тот же автор,— обладает своим представлением о герое времени — в плане идеальном и реальном; это представление есть представление эпохи о самой себе <...>. Концепция личности в портрете находится в сложнейшей зависимости от мировоззрения, эстетических и социальных идеалов, от стиля своего времени. Взаимоотношение художника и портретируемого не есть постоянная величина — динамика формирования образа для каждого исторического периода имеет свои особенности. За портретом и моделью в том или ином виде стоит самосознание их эпохи. Проблема «портрет и время» — это проблема социальной психологии в портрете. Это общее самосознание неизбежно преломляется в портретах конкретных людей

независимо от установки художника. Поэтому портрет — своего рода летопись времени». Может быть, добавим мы, и сознательная установка эпохи, которую и художник выражает сознательно.

Именно сознательная установка модели — сохранить для потомства и прославить себя, свой род, свою «профессию», запечатлеть какие-то важные события собственной жизни — и определила репрезентативные портреты XVIII века с их торжественными позами, орденскими лентами и звездами (с подзорной трубой адмирала, с московским Воспитательным домом Демидова, с чертежами и циркулем архитектора; а на портрете знаменитого глазного врача он изображен со стеклянным глазом в руке). Что же касается интимного портрета (я пользуюсь терминами «репрезентативный» и «интимный», сознавая всю их условность; портреты, написанные великими мастерами, не ложатся под эту классификацию — так, портрет архитектора Кокоринова кисти Левицкого, репрезентативный по всем признакам, носит вместе с тем несомненный лирический характер), то и он имеет свою, четко выраженную общественную программу. И несет свою общественную функцию. Г. Г. Поспелов в работе, посвященной русским интимным портретам XVIII века, отмечает их противостояние, оппозицию показному светскому тону с его холодными внешними эффектами — ту же самую оппозицию выспренности и ложной торжественности официальной литературе видели мы и в русской мемуаристике этого времени, имеющей несомненную тенденцию снижать пафос и говорить о жизни просто. «Портретистами руководило ощущение,— пишет Г. Г. Поспелов,— что глубокие достоинства человеческой жизни заключены в душевном мире человека и что они обнаруживаются тем полней, чем дальше он стоит от официальных и светских сфер с их показным богатством и роскошью, с их суетным и ложным блеском». Автор прав: «Мысль о необходимости сторониться суеты и роскоши жизни была одним из самых распространенных мотивов мировоззрения и литературы XVIII и начала XIX столетия <...> Этот мотив интенсивно разрабатывается писателями разных направлений, принимая с годами все новые истолкования и так же, как в интимном портрете, становясь основой непрерывной идейной преемственности. В разработке этих мыслей писателями XVIII века нетрудно распознать несколько разных оттенков. Нередко распространявшемуся в столице «разврату» и «вольнодумству» противопоставляется исконная крепость дедовских нравов (мы видели это и в мемуарах — Болотова, Лабзиной, отчасти Пишчевича.— *О. Ч.*); но чаще избавление от светской суеты находили в спокойном и разумном существовании, в завоевании человеком простоты и внутренней независимости. Зачастую это спокойное существование отождествлялось с привольной жизнью в поместье, как это мы видим, например, в «Жизни Званской» Державина. Но и у Державина, и у других поэтов эта жизнь осмысляется как необходимое условие для душевного освобождения человека, для осознания им ценности богатой и искренней нравственной жизни. Это новое отношение художника к жизни и к модели должно было перестроить и восприятие зрителя <...> Образы интимных портретов требовали поэтому от зрителя более близкого и пристального взгляда, более внимательного и чуткого постижения, зритель должен был распознать в изображенном на первый взгляд неприметные глубокие его качества, различить за сокровенной сдержанностью или внешней скромностью человека богатство его внутренней жизни <...> Герои интимных портретов были более ярко, чем персонажи других изображений XVIII века, освещены лучами нравственных идеалов своей эпохи; и в самих полотнах этих воплощались проникновенно-бережное отношение портретистов к изображенным людям, любовное внимание к их переживаниям».

Русский интимный портрет становится все лиричнее и глубже, это хорошо прослеживается в творчестве Рокотова, художника, который с трудом поддается

определениям, общие дефиниции и рассуждения о нем идут зачастую по касательной к нему, его не задевая. Разделение творчества Рокотова на два периода — петербургский (ранний) и московский перелом 70-х годов, когда и в композиции и в цвете рокотовских портретов произошли существенные изменения, когда от прежнего треугольника он перешел к овалу, от погрудного изображения — к поясному, когда светлей и холоднее стал колорит, а излюбленными цветами — зеленоватые и пепельно-серые,—все это полезно нам знать, но подобное знание не приближает нас к пониманию художника. Не больше (а иногда и меньше) дают нам концептуальные построения. Портретное искусство второй половины XVIII века — дитя Просвещения, говорят нам специалисты, оно рождено стремлением представить свойственный просветителям взгляд на человека с его достоинством, благородством и гуманными устремлениями; портреты XVIII века потому так и красивы, что они — идеал. Это относится и к творчеству Рокотова. Если в свой первый период он стремился к «наиболее полной передаче индивидуальных черт своей модели», пишет автор монографии о нем Н. Лапшина, то на рубеже 60—70-х годов, в период расцвета, он вкладывает «в портретные образы свое представление о достоинстве человека, близкое идеалам передовых кругов дворянской интеллигенции того времени. Именно в этом, а не только в общности живописных приемов, думается нам, заключается главная причина того сходства его образов друг с другом, которое неоднократно отмечали исследователи творчества художника. Отличительной особенностью творческих поисков Рокотова в рассматриваемый период является стремление к созданию, так сказать, положительного образа современника». В другом месте автор прямо говорит, что Рокотов писал не столько живых людей, сколько мечту об идеальном человеке (точка зрения, по существу, опять же близкая Н. Врангелю, с той даже разницей, что у него художник больший «реалист»: он отражает ту фантастическую, маскарадную жизнь, которой жили люди XVIII века).

Да, конечно, в рокотовских работах субъективное начало играет огромную роль, сходство его женщин тем и объясняется, что он вносит в их портреты мягкую, немного пасмурную погоду своей души, тот живущий в ней туман, который смягчает краски и размывает контуры. Но не верится как-то, что эта субъективность так рациональна и рождена желанием дать идеал современника. Если бы Рокотов писал «мечту», его искусство быстро бы иссякло (у мечты, хотя, казалось бы, она безбрежна, на самом деле совсем не так много возможностей), если бы он изображал все один и тот же программно-идеальный тип, вряд ли новый (московский) период творчества стал бы его расцветом, а люди, им изображенные, при такой, сознательной или бессознательной, но равно безжизненной, установке вряд ли были бы живыми. И почему идеал передовых кругов дворянской интеллигенции той поры так неясно-печален? И наконец: так туманен и таинствен самый рационализм?

Конечно, Просвещение твердо верило в разум и твердо на него надеялось. Но духовную культуру XVIII века никак нельзя свести к одному Просвещению, в простой реальной жизни рационализма было не так уж много. Напротив, в своем непосредственном течении и в том, как ее понимали люди, жизнь была скорей иррациональна, трудно объяснима, трудно примирима в своих противоречиях. Художники писали эту жизнь, увиденную в свете общего миропонимания эпохи, куда идеи Просвещения входили (если входили) частью; в свете собственных жизненных задач, какими они их понимали. Русская живопись обогнала Просвещение с его рационализмом, продвинувшись куда глубже в область понимания человеческой души. Иррациональность рокотовских портретов естественна.

Те искусствоведы, которые пристально вглядываются в рокотовскую живопись,

Ф. Рокотов
Неизвестная в розовом платье
Конец 1770-х гг.



Ф. Рокотов
Неизвестная в розовом платье
Конец 1770-х гг.

погружаются в ее богатство и сложность (до дна, хотела бы я сказать, если бы она не была бездонна), стараясь понять ее интуитивно, постигнуть сердцем, достигают куда большего успеха, если, конечно, обладают даром адекватных слов. «Впечатление одухотворенной хрупкости образов тесно связано в этих портретах с неповторимой затаенностью душевных переживаний,— пишет Г. Г. Поспелов.— Мастер избегал передачи какого-либо определенного переживания, когда одно открыто выявленное чувство исключает проявление других. Его увлекала скорее сама изменчивая и зыбкая основа духовной жизни, питающая различные грани переживаний, нерасчлененные и невыявленные, но тем более обаятельные в своем душевном богатстве. Этого ощущения недосказанности образов художник достигал с огромным мастерством. Выявляя светом наиболее важные детали лица и уборов, он окружал глубокой полутенью неясно светящиеся глаза и меркнущие краски причесок и платьев. Иные из его портретов (например, «Неизвестная в розовом платье» или «Струйская») кажутся отражением в старинном тусклом зеркале, которое удлиняет фигуры, неясно скрадывает их очертания и затуманивает изображение лежащим на поверхности стекла колеблющимся матовым налетом».

Работа Г. Г. Поспелова о портретах второй половины XVIII века представляется мне большой удачей, и мне хотелось бы вместе с ним, через его восприятие рассмотреть иные рокотовские портреты — он принадлежит именно к тем авторам, которые сочетают тонкое понимание живописного мастерства, чувство живописной красоты с умением найти для них точные слова.

Портрет неизвестной в розовом платье — один из самых трудноуловимых. Первое, что бросается в глаза в этом портрете, пишет Г. Г. Поспелов,— «необычайная хрупкость выступающей из мрака женской фигуры <...> Художник словно сплющивает изображение с боков. Фигура молодой женщины кажется особенно выпрямленной, ее изображение строится как бы ярусами, охватывая которые взгляд зрителя переходит от узкого корпуса к стройной голове и далее к взнесенному над высокой прической розовому банту. Еще более утончает фигуру поток неясного, но интенсивного света, мерцающего на лице и розовом платье. Этот свет не охватывает всего изображения, но вызывает из мрака лишь освещенную сторону лица и шеи и выдвинутое навстречу зрителю плечо; неосвещенная сторона лица, так же как и темные волосы и фон, как бы остается у Рокотова в глубине картины, почти без переходов поглощаясь темнотой. Так же передает художник и детали изображения. Не выписывая рисунки кружев и складок шелка, как он это делал в работах раннего периода, он жидкими мазками белил и розовой краски, струящимися по тепло-серой основе, создает лишь впечатление кружев, шелка, вспыхивающей во мраке сережки. На полотне возникает под его кистью мерцающий в полутьме драгоценный убор, столь выгодно обрамляющий красоту изображенной женщины <...> Тихо мерцает в полумраке выделенное светом ласковое и робкое лицо молодой женщины, как будто светится затаенным блеском ее устремленный на зрителя мягкий взгляд».

«Неизвестный в треуголке» справедливо признается одним из самых вдохновенных произведений рокотовской кисти. Но с этим портретом дела обстоят странно. Исследование И. М. Сахаровой, подтвержденное рентгеновскими снимками, показывает, что портрет молодого человека написан поверх портрета женского, причем у обоих почти тот же овал лица, а рисунок глаз и блики на них совпадают. Изменения коснулись только позы и костюма (раньше модель располагалась в фас, а теперь — поворот три четверти влево). «Пышную прическу прикрыла треуголка с пряжкой, а платье с глубоким вырезом, украшенное кружевом и бантом,— маскарадное домино. Исчезли украшения: кружевная горжетка и грушевидные жемчужные серьги».



Ф. Рокотов
Неизвестный в треуголке
Начало 1770-х гг.

Модель, представленная нам, живет в глубоком, двойном маскараде,— может быть, атмосфера тайны, которая чувствуется во многих портретах Рокотова, здесь ощущается особенно сильно? «И еще более выразительной становится здесь одухотворяющая сила рокотовской живописи. Художник каждым движением руки как бы заново украшает свою модель. С каким горделивым изяществом ложится на плечи прозрачная ткань домино, вьется на груди прихотливый кружевной узор, сверкают на черной треуголке блестки аграфа. Это изящество поражает и в необыкновенной уверенности кисти мастера. В ее артистичном и легком скольжении живописный образ как бы сам собой проступает на поверхности холста. Можно без конца любоваться, как изумляющими своей свободой, «плавкими» мазками белил намечает Рокотов платок на шее, как несколькими гибкими касаниями жидкой, стекающей краски наносит прихотливый рисунок кружева, с каким живописным благородством набрасывает крупный узор по нанесенной темными лассировками и светящейся изнутри черной ткани домино. Это одухотворяющее значение живописи — выразительность подвижного мазка, свечение нижних световых слоев сквозь верхние — объединяло большинство интимных портретов Рокотова конца 60-х — начала 70-х годов». Только эта удивительная живопись и смогла воссоздать «обаяние цветущей юности, не сознающей себя».

Но в понимании более поздних портретов — Новосильцевой и Санти — Г. Г. Поспелов, как мне кажется, менее точен. Правда, он признает в них «затаенную и полную душевную жизнь», но любезная улыбка или настороженно внимательный взгляд, которые создают преграду между моделью и зрителем, выражение высокомерия и превосходства, красивые овалы, из которых глядят эти женщины, их нарядные платья (банты, кружева) — все это, по мнению Г. Поспелова, делает портреты более эффектными, в них нарастают «демонстративные черты, усиливаются репрезентативные качества, которых не было не только в рассматриваемых выше интимных портретах, но и в ранних произведениях». Мне эти работы Рокотова видятся по-другому. Портрет Е. Н. Орловой, написанный совсем в иной, несравненно более графической манере, кажется мне чудом (и о нем речь впереди). Что касается портретов Новосильцевой и Санти, то в них мне, напротив, видится глубокая внутренняя сосредоточенность и ни тени репрезентативности. Санти, Новосильцева, Дмитриева-Мамонова — странные сестры, странные птицы (говорили мы в начале этой книги), севшие в ряд вне времени и неизвестно на чьей территории; они сдержаны и замкнуты, а самое замечательное в том, что, отталкивая от себя, они в то же время с необыкновенной силой влекут к себе и притягивают. В их глазах действительно «пугающее всеведение», та самая загадка, о которой столько написано и которую непременно надо разгадать. Нам важно не то, что думает каждая из них в отдельности,— нет, свойственное всем им и многим другим рокотовским персонажам понимание жизни, вот что важно понять. Или, иначе говоря, понять, каково было отношение художника к его моделям, а равно и взгляд его на людей. Ведь очень может быть, что, исследуя человеческую душу, Рокотов ощутил, что она «потемки» (ведь она и сейчас для нас потемки, и своя и чужая,— сейчас, когда человечество вместе с великой литературой прошло серьезный путь самопознания, а современной психологии удалось далеко продвинуться в глубь сознания и даже заглянуть в подсознательное). Может быть, в этой непознаваемости и состоит схожесть рокотовских моделей? Важно, что он ощущает и пишет эту непознаваемость не как пустоту, нищету, а как полноту, богатство. И нам остается лишь изумление перед художником, который взял кисти, краски и написал тайну человеческого духовного мира. Уж если ему удалась задача такой сложности, то несравненно более простая — изобразить видимое и уловимое, то, что предшествует тайне. Да он и доказал, что может писать



В. Боровиковский
М. И. Лопухина
1797

ясные, простые характеры (молодой Орлов), что может написать и характерность (старуха Жданова), но всего интересней было ему проникнуть возможно ближе к непознаваемому и ловить его отсвет.

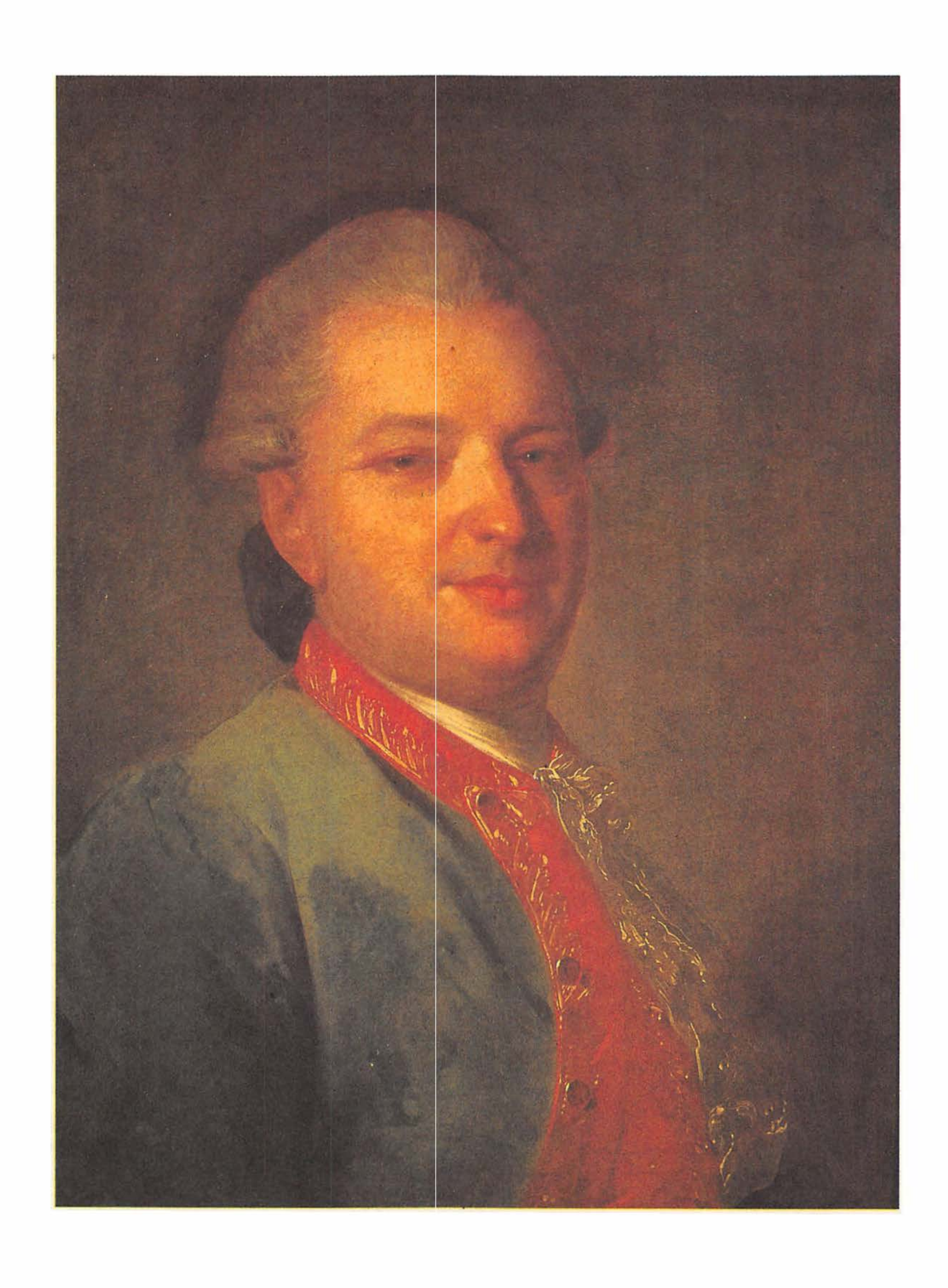
Но и у Боровиковского есть таинственная вещь — портрет М. И. Лопухиной, бесспорно самая лучшая его работа, его шедевр. Прежде всего поражает свет, которым залита фигура женщины, он, как точно заметила Т. Алексеева, «поглощает яркость цвета», и цветовые пятна (воспользуемся ее же замечанием, относящимся, правда, к другому портрету Боровиковского) возникают «как бы из глубины воздушного фона». В этот воздушный поток погружена Лопухина. Как всегда у Боровиковского, она в белом платье и цветном шарфе, как всегда немного отодвинута вправо, чтобы мы могли видеть пейзаж. Она чуть кокетлива в повороте, крайне независима и суверенна, смотрит с некоторым вызовом. Но этот свет, скользящий по юному лицу, эти летучие кудри, эти губы, так нежно очерченные (только что не вздрагивают),— все в этом пленительном лице полно мягкости и лиризма — сама доверчивость, вызывающая совершенное доверие. Но ощущение легкости, лиризма и доверчивости исчезает разом, стоит лишь заглянуть в ее глаза — в них твердая зелень виноградины. Нет, даже больше: в них отчужденность, чуть ли не враждебность. Во всяком случае преграда и даже более отчетливая и резкая, чем у моделей Рокотова. Уж с каким реалистическим мастерством выписано лицо Лопухиной, и все же высшей реальностью оказывается неведомое глубинное переживание, о котором мы догадываемся (которое, точнее, пытаемся разгадать). Как бы ни были различны оба художника, даже полярны, в манере письма, в стиле, в отношении к модели, в мироощущении — все же своей лучшей вещью Боровиковский сближается с Рокотовым, и общей почвой для сближения оказывается близость к непознаваемому и ощущение завесы.

Рокотов не сразу пришел к такому видению модели. Если вернуться к его портрету Григория Орлова, нетрудно заметить, что в нем нет ни туманов, ни загадок, ни сложных («грязноватых») смешений цветов — в нем все настолько ярко и ясно, что долгое время сомневались, рокотовская ли это вещь (ведь по музеям немало висело тогда, как сказал И. Грабарь, «рокотоидов»).

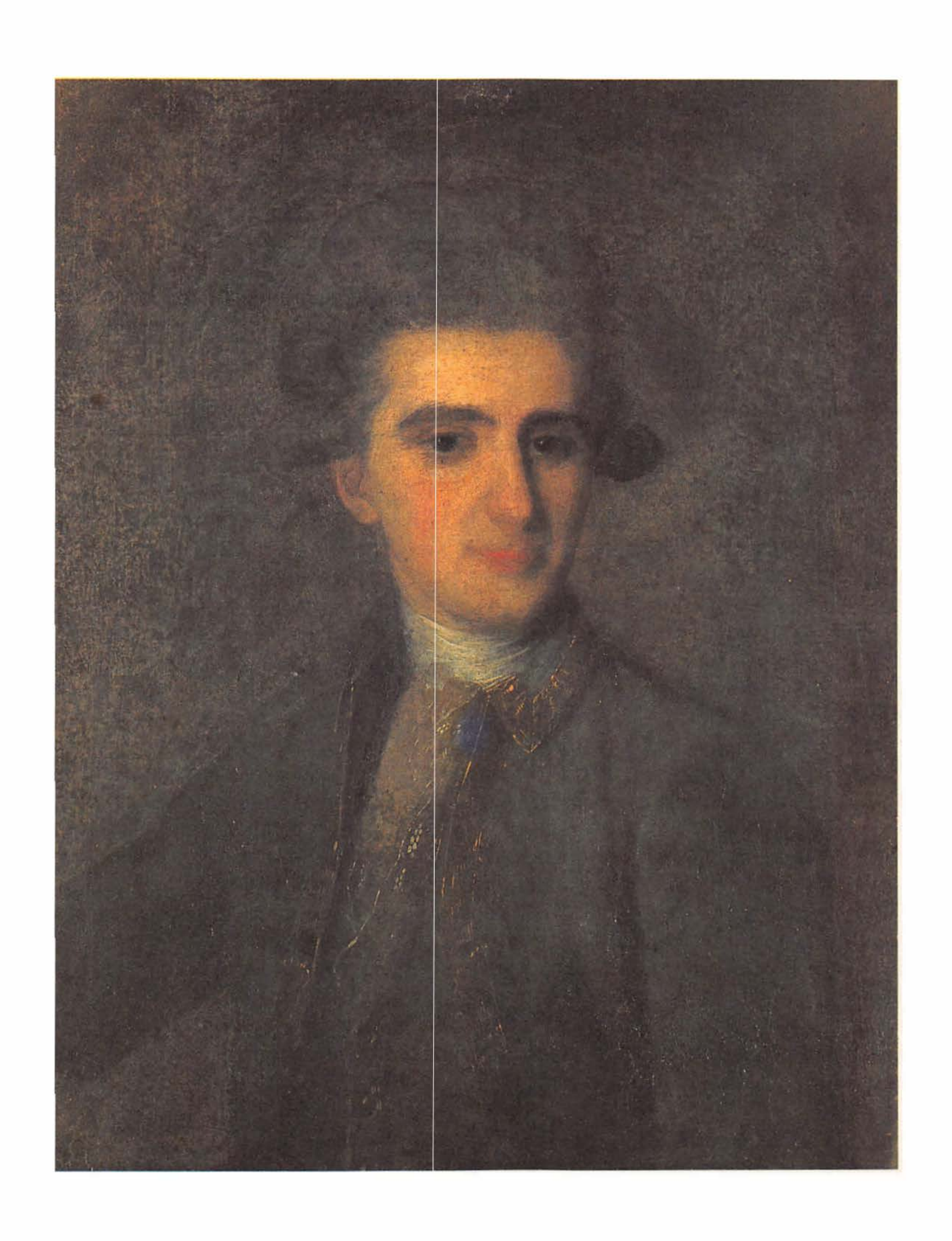
Казалось бы, задачи портрета совсем не психологические, тут изображен скорее счастливый взлет судьбы: простой парень, теперь уже вельможа в орденах, знаках своего могущества и удачи. Но вместе с тем перед нами сильный характер, он и в живости взгляда, и особенно в крепко сжатых твердых губах. Его нетрудно представить себе в бою, и не только потому, что он в латах (на портретах XVIII века латы обычно выглядят бутафорией), а потому, что он может, это видно по лицу, мгновенно принять решение и не отступит. И сила в нем есть, и веселая энергия, он таков, каким его увидел в Кенигсберге Болотов, но гораздо ярче и куда интересней.

К ранним рокотовским портретам принадлежит и портрет поэта В. И. Майкова, здесь на взгляд все просто и уж во всяком случае точно соответствует литературной деятельности и репутации модели. Майков, писавший чуть ли не во всех литературных жанрах той поры, прославился своими героико-комическими поэмами, вот начальные строки одной из них, они отлично согласуются с тем весельем, что царит в портрете, с его светлыми живыми красками, соответствуют румянцу и улыбке портретируемого, его насмешливо прищуренным глазам.

Пою стаканов звук, пою того героя,
Который, во хмелю беды ужасны строя,
В угодность Вакхову, средь многих кабаков,
Бивал и опивал ярыг и чумаков;



Ф. Рокотов
В. И. Майков
1775



Ф. Рокотов
Н. Е. Струйский
1772

Ломал котлы, ковши, крючки, бутылки, плошки,
Терпели ту же часть кабацкие окошки,
От крепости его ужасныя руки...

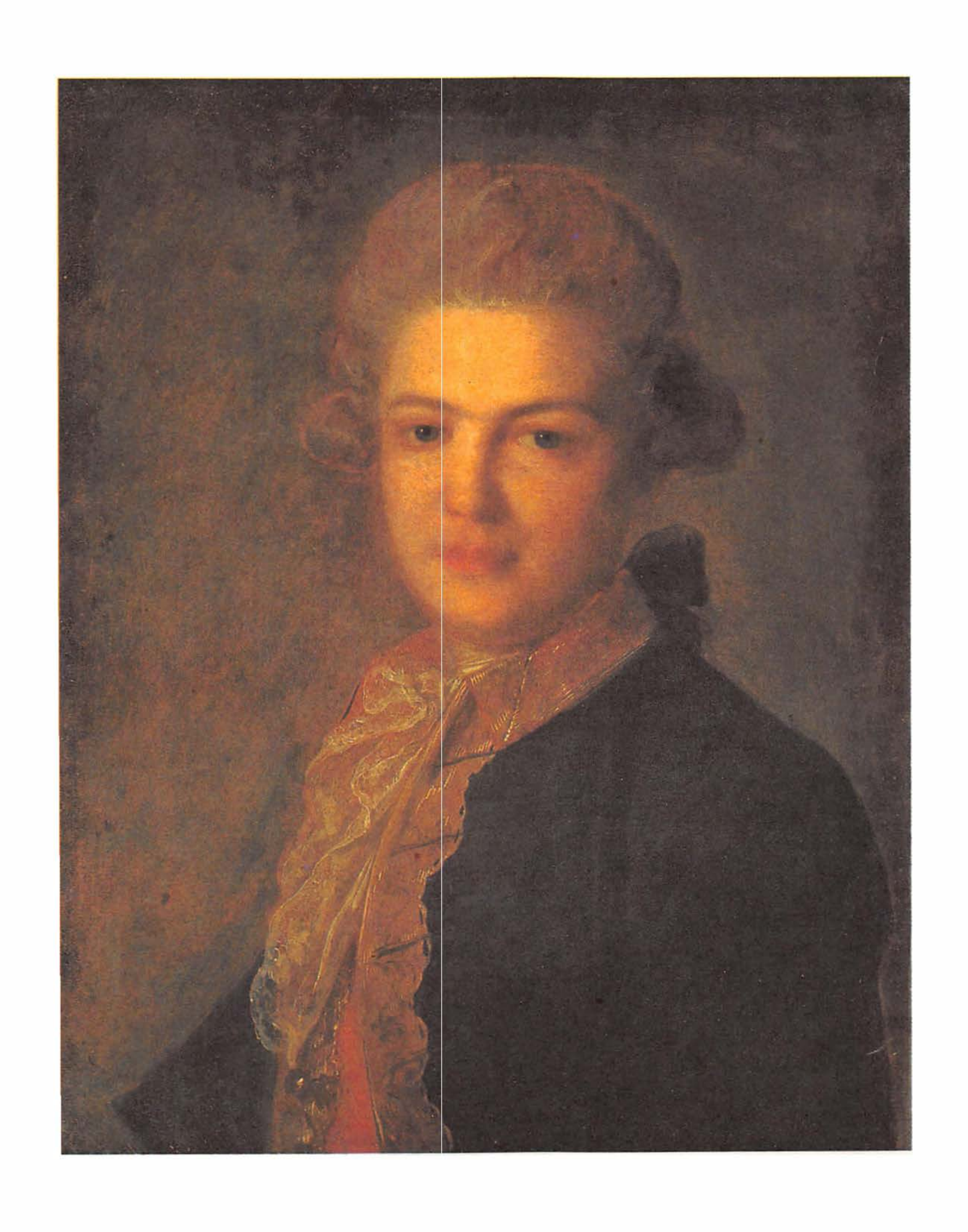
Но на этом портрете не просто жуир и весельчак: уже и тут появляется если и не двусмысленное, то сложное, трудно определимое — рокотовское. Совсем не так прост, а может быть, и не так весел этот румяный толстяк, может быть, как раз не веселье, а скепсис в его глазах. Кто знает?

Когда входишь в зал Третьяковской галереи, где висят портреты Рокотова, сразу начинается это: раскрытие и замыкание, притяжение и отталкивание. Но зато приходит в голову мысль: а правы ли мы, говоря о сходстве его моделей? — совсем разные, в конце концов, люди смотрят на нас со стены. Женщина в розовом (серо-грязно-розовом) платье, рядом с ней, размытой, почти размазанной, великолепная Орлова кажется графически строгой, в благородной сосредоточенности тонов, гранатово-красное, голубое, серое оттеняют золотистое лицо с его легким, точно очерченным изящным овалом. Новосильцева, освещенная неведомо каким светом, не солнечным и не лунным (а платье — голубой поток с голубым бантом в его середине), она самодовольно улыбается, и улыбка ее ничуть не похожа на потайную улыбку женщины в розовом. Портрет Струйского сильно попорчен, что, впрочем, даже как-то способствует (это уже отмечалось в литературе) его выразительности. Да и сам Струйский был фигурой диковинной даже для XVIII века. Богатый помещик, он создал в своем пензенском имении типографию, выпускавшую роскошные издания; тут же он печатал и собственные стихи, вызывающие великий смех современников. Сам же автор, рассказывает И. М. Долгоруков, был от своих сочинений в таком упоении, что, читая их очередному гостю, до синяков щипал несчастного. Впрочем, ходили о Струйском и скверные слухи: будто у себя дома этот маньяк, вообразивший себя не только поэтом, но и великим юристом, ведет судебные расследования по отношению к собственным крестьянам, применяя пытки, орудия которых находятся в том же доме, где поселилась нелепая муза хозяина. На портрете кисти Рокотова, которого Струйский боготворил, предстает странная, гофмановская фигура.

Рядом с Барятинским, тонким, внимательным, чуть худосочным мальчиком, красавец в треуголке, один из самых романтических портретов Рокотова. Это романтизм без романтических аксессуаров, нет тут ни разметанных бурей кудрей, ни вздымающихся на заднем плане облаков,— романтичен колорит и самая атмосфера вещи. Из глубокой темноты выступает прекрасное розово-смуглое лицо, чернобархатная в серебре треуголка надвинута на бровь, глаза, длинные, немного выпуклые, драгоценно, таинственно мерцают.

У Левицкого нет никаких тайн (если не считать, разумеется, тайны его собственного поразительного мастерства и таланта), у него все ясно. В своей книге о портретах XVIII века А. А. Сидоров как бы противопоставляет Рокотова, поэта, который в некоторых своих работах «очень явную ведь говорит поэзию» (то есть, по мнению автора, по-видимому, в ней как бы нарочит), Левицкому как «чудесному прозаику». Левицкий действительно отличный прозаик, но проза его исполнена поэзии, это та самая проза, о которой сказал Державин: «И в прозе глас слышен соловьин».

Левицкий сильный и ясный прозаик. Если женские портреты Рокотова все-таки как бы накрыты общей сетью, если они, разные, все же под единой туманной пеленой и порой все же начинает казаться, будто Рокотов рассказывает все одну и ту же историю, данную в оттенках индивидуальных судеб, то модели Левицкого ярко и



Ф. Рокотов
А. И. Воронцов
Конец 1760-х гг.



Д. Левицкий
Урсула Мнишек
1782

выпукло индивидуальны, у каждого неповторимый характер, неповторима и судьба. Здесь время не стоит на месте, человек, написанный в другой период своей жизни, уже не тот, что был раньше.

Если Рокотов пишет человека как тайну, то Левицкий старается раскрыть эту тайну до возможных, глубинных пределов.

Портрет Урсулы Мнишек красоты необыкновенной и вместе с тем яркой и острой характеристики. Она в элегантнейшем овале, в сверкании шуршащих, топорщащихся шелков; седая копна волос, седые локоны, лицо горит извне наложенным жаром, косметическим, от которого идут отсветы на пудреный парик. Бравурная женщина. В книге Н. Молевой о Левицком сказано, что Урсула Мнишек совсем не была той пустой светской львицей, какой ее обыкновенно изображают, говоря о ее портрете; она женщина образованная, автор интересных мемуаров. Пусть так, но в лице этой интеллектуалки есть явно нечто двусмысленное, а взгляд ее не только уклончив — именно не таинственен, как у женщин Рокотова, а уклончив,— но, может быть, даже и лжив. И при всем этом нельзя ею не любоваться.

Мы видели, какие возможности открылись мемуаристике, каких высот психологизма она достигала, и казалось нам, что искусство портрета так высоко еще не поднималось. Это неверно. Авторы мемуаров уже умели заглянуть в самих себя, но внутренний мир другого был им еще недоступен — именно в этот мир портретисты и проникали.

И. М. Долгоруков, к чьим запискам мы так часто обращались, изображен в мемуарах И. И. Дмитриева и на портрете Левицкого. Вот Долгоруков глазами Дмитриева: «Князь Иван в молодости был резов до безумия. Бывало, придешь к нему, он скачет по стульям, по столам, уйдешь от него, не добившись слова благоразумного»; он «странно одевался, ходил по улицам в одежде полуполковой и полуактерской...» Дмитриев ничего не мог разглядеть в молодом Долгорукове, кроме того, что тот прыгал, скакал и странно одевался. Левицкий увидел молодого человека глазами художника и рассказал о нем не только много, но и главное. Неустойчивость натуры и облика, тревожные глаза олененка с их любопытством к жизни. Художник почти совсем убрал знаменитый долгоруковский подбородок — «балкон», но некрасивость характерного лица изобразил честно, ухватив самое существенное в этой натуре — обаяние (то самое, которое заставляло женщин забывать о его безобразии, а зрителей — бурно аплодировать), искренность, которая сделала знаменитыми его стихи.

Чтобы почувствовать, с какой тонкостью проникал Левицкий в характер своих моделей, можно сопоставить два портрета Н. А. Львова 80-х годов (как полагают иные искусствоведы, написанных даже в одном и том же году), один из них — в Русском музее, другой — в Третьяковской галерее. На первый взгляд они друг друга повторяют, но если вглядеться, нетрудно заметить, что в портрет Русского музея, где перед нами то же достоинство, та же благородная стать, внесена еще одна черта, тенью пролегающая в глазах, в бровях,— не то усмешки, не то печали. Настроение ли это тех дней, когда писался портрет, или появление новой черты характера, мы не знаем, но этот оттенок придает красоте Львова не только обаяние, но и глубину.

В связи с портретами Львовых всегда рассказывают историю их любви. Мария Алексеевна Дьякова, дочь обер-прокурора сената, знатная девушка и богатая невеста, полюбила Николая Александровича Львова, человека незнатного, тогда еще безвестного, не имевшего за душой ничего, кроме множества разнообразных талантов, которые в глазах старших Дьяковых, как видно, большой цены не имели.

Знаменитый шедевр Левицкого — юная Дьякова. Репродукции, кажется, не в силах передать ее очарования, ни золотисто-зеленой живописной гаммы, ни того

Д. Левицкий
М. А. Дьякова
1778



Д. Левицкий
М. А. Дьякова
1778



Д. Левицкий
Н. А. Львов
1770-е гг.

мягкого, тихого, теплого дыхания жизни, каким полон этот небольшой портрет. Дьякова здесь сама естественность, сама простота: ее кудри без пудры, шелка податливы и мягко облегают ее крепкий стан, лицо светится изнутри полнокровным розовым (именно от биения крови розовым) светом. Чуть улыбаясь, чуть приподняв брови, она задумалась и сквозь задумчивость помнит, что на нее смотрят, ею любуются. Да и как не любоваться — этими сильными каштановыми кудрями, шелком великолепных зеленых лент на груди, ясным обликом девушки. В него не привнесено никаких концепций, никаких загадок в ней нет, и живет она самым спокойным образом в своем времени, не только в такой-то день, но именно в ту минуту, когда она так легко повернулась и задумалась, беспечно и неглубоко. Поэзия легкого девичества.

А вот молодой Львов, с которым мы уже знакомы, искренний, порывистый, открытый для жизни, жаждущий дела; и его портрет пронизывает поэзия молодости, но бездумности в нем нет, в нем, напротив, концентрация духовной энергии.

Таковы эти двое, полюбившие друг друга,— во всяком случае такими увидел их Левицкий.

Печально складывались для них события — Львов сватался и получил отказ, юной Марии Алексеевне было запрещено не только встречаться с ним, но и вообще разговаривать. На это Львов-поэт ответил стихами:

Нет, не дождаться вам конца,
Чтоб мы друг друга не любили.
Вы говорить нам запретили,
Но, знать, вы это позабыли,
Что наши говорят сердца.

Сердца говорили внятно и горячо, родители Дьяковой напрасно «об этом позабыли»: Мария Алексеевна решилась на шаг, на который решилась бы далеко не всякая девушка XVIII века — в 1780 году она тайно обвенчалась с Николаем Александровичем и вернулась в отчий дом. Так, тайной женой Львова целых три года прожила она в доме родителей, а он за это время много работал, уехал за границу, где изучал плавильное дело. Вскоре он стал известным художником, добился признания, уважения, почти обожания окружающих, прочного общественного положения. Наступил день, когда отец дал, наконец, свое согласие, готовилась свадьба (повторная!), и перед самым венцом молодые открыли свою тайну — события, вполне пригодные к тому, чтобы лечь в основу увлекательного романа. Но Марии Алексеевне, надо полагать, они дались тяжело, стоили огромных душевных сил — три года двойной жизни, каждодневной лжи, страха быть разоблаченной, опозоренной, проклятой — мудрено ли, что на своем «замужнем» портрете того же Левицкого она уже совсем другой человек: в ее лице, где былое прелестное девичье полнокровие как бы высушено, есть и доля горечи, и доля жесткости. К тому же она теперь хозяйка дома, царица кружка, где представлены крупнейшие таланты века, и Державин тут, и Левицкий, и многие другие писатели и художники — цвет интеллигенции. Кисть художника рассказала нам о душевном переломе.

Восемнадцатое столетие не случайно славится своими женскими портретами: женщина-дворянка в ту пору развивалась в каком-то смысле даже полней и естественней, чем мужчина. Прошли те времена, когда общество полагало, будто «девушке-де разума не надо, надобны ей личико да юбка, надобны румяна да белила»,— подобный взгляд был отброшен вместе с вышедшими из моды румянами и белилами. Женщина получает образование, подчас более широкое, чем мужчина (чье



Д. Левицкий
М. А. Львова
1781

образование, если говорить об учебных заведениях, было профессионально), изучает языки, читает, переводит, сочиняет; погружается в мир возвышенных идей тем более самозабвенно, что грубые противоречия жизни задевают ее и реже и менее остро. Жила она в жизни «без чинов», вне государственной системы, которая даже в вольные екатерининские времена накладывала на человека некую печать скованности.

Именно в это время формировался тот женский общественный тип, который впоследствии даст не только героинь-декабристок, но и более широкий круг тех женщин, которые, по свидетельству Герцена, в пору общего «нравственного падения», последовавшего за разгромом декабризма, одни обнаружили благородство и нравственную стойкость. Он найдет отражение в литературе, этот тип. Душевная тонкость и твердость, деликатность, понимание — все это станет отличительной чертой ее героинь. «Пушкин бросает Онегина к ногам Татьяны,— говорит Анна Ахматова,— как князя к ногам дочери мельника. У Пушкина женщины всегда правы» — точно так же, добавим мы, как всегда правы у Тургенева Ася или Лиза Калитина, у Толстого Наташа Ростова или княжна Марья. Вообще — это уже отмечено — женские образы в литературе XIX века, как правило, нравственно выше мужских. Женщины на портретах Рокотова или Левицкого тоже всегда правы.

Именно рассматривая женские портреты XVIII века (а их у Рокотова, например, куда больше, чем мужских), легче заметить некоторые общие черты в развитии русского портрета второй половины XVIII столетия.

Выявляя общую линию развития изобразительного искусства XVIII—XIX веков, обычно выстраивают ряд: барокко, рокайль, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, памятуя, разумеется, что любой из этих стилей и направлений может осуществиться в неясных формах, что один в другой может переходить или с ним совмещаться. Выявление каких-то устойчивых признаков, которые можно было бы закрепить терминологически, установление каких-то разграничений, разумеется, необходимо и, когда дело касается среднего художественного уровня, в общем, отражает реальное положение дел. Но когда перед нами гении, такие,как Рокотов или Левицкий, с их «классификацией» дело обстоит куда сложнее, и внешние признаки стиля здесь мало чем помогают. В гениальной музыке Бетховена мы слышим не только впитанного им Баха или Моцарта, но и еще не родившихся Шопена и Прокофьева, как в «беззаконном» Державине слышался нам и Пушкин, и Блок. Если работы Рокотова и Левицкого заключены в формы классицизма, это их не ограничивает и не сужает, в рамках данного стиля возможности их все равно бесконечны. Это искусство глубоко правдивое — а стало быть, оно и реалистично?

Вообще наука об искусстве, создав жесткую терминологическую регламентацию и определенные классификационные рамки, сама, мне кажется, порой от этого страдает, поскольку искусство прошлого (да и настоящего, наверно) не желает в эти рамки укладываться. В одной книге, посвященной художникам середины XVIII века, автор жалуется на то, что вопрос о стилях и направлениях в искусстве этого периода очень труден: реалистическое искусство петровского времени нелегко отличить от барокко, которое, в свою очередь, тесно сплетается с классицизмом, подчас даже в одном и том же произведении.

Но тут возникает еще и некое недоразумение. В терминах искусствоведения слово «реализм» означает определенный стиль, на общечеловеческом языке оно означает правду жизни. Следовательно, реализм обязательно присутствует в любом истинном произведении искусства независимо от его стиля. Картина или скульптура, созданная по самым плотно-мускулистым канонам, реалистической не будет, если в ней нет правды чувства, а «ретро» мирискусников с их утонченным изяществом, с их

стилизацией может быть куда реалистичнее, поскольку выражает истинную любовь к прошлой человеческой жизни, чем произведения, где пламя доменных печей и могучие мышцы сталеваров написаны равнодушной рукой.

Реализм — это ответственность перед жизнью, а она многогранна, главный дуализм ее, сплав духовного и физического начала, отражается в реалистическом искусстве разными сторонами, в разной степени плотскости (вещности) и духовности. Может быть «телесный» реализм, а может быть реализм мыслей и чувств, первый порой мешает второму, второй первому — никогда. Однажды мне довелось слышать, как экскурсовод у иконы «Ветхозаветной троицы» объяснял посетителям, что чашки и плошки, разложенные на столе, за которым сидят ангелы, а также телец, которого слуга режет в нижней части иконы, все это несомненный шаг по пути реализма. Таким образом, получалось, что рублевская «Троица», где убраны и Авраам, и Сара, и решительно все бытовые подробности ветхозаветной легенды, как бы поотстала на этом пути — словно для того высокого разговора, который ведут меж собой рублевские ангелы, для того рокового решения, которое они принимают, невредно им было бы еще и чем-нибудь закусить.

Бытовые, вещные реалии для художественного строя иной картины бывают не нужны, а бывают и не возможны. Натюрморт имеет право выступать объектом искусства лишь в том случае, если одухотворен взглядом художника, иначе это уже не произведение искусства, а натюрморт в буквальном смысле этого слова, свидетельство о смерти.

Портрет — изображение самого живого и одухотворенного, что есть на свете, и притом предельно пристальное изображение. «Портрет, как и жизнеописание,— говорит Гете в «Годах странствий Вильгельма Мейстера»,— заключает в себе особый интерес: замечательная личность, которую нельзя вообразить себе вне ее окружения, тут отдельно от всех предстает перед нами, как перед зеркалом, и мы должны уделить ей преимущественное внимание, заниматься ею одной, как сам этот человек, непринужденно стоя перед зеркалом, занимался бы только собой». У этого искусства свои особенности и сложности. Решая художественные задачи, мастер связан не только реальностью — обликом модели, но и ее вкусами, ее требованиями, как заказчика. А если учесть еще и каноны, предписания эпохи, то совсем уж нелегко бывает понять, что здесь от непосредственной жизни, а что по тем или иным причинам, сознательно или бессознательно привнесено художником — и как «жителем эпохи», и как индивидуальностью.

Портрет, говорил М. В. Алпатов, должен быть одновременно и похож и не похож, «по сходству мы опознаем модель, по несходству открываем в нем ,,бесконечную перспективу“». Наблюдение точное. Здесь может идти речь и о той дали, которая открывается в духовном мире модели, о глубине наших собственных эстетических переживаний и о временном пространстве, далеко уходящем в глубь веков, в перспективу культурной преемственности.

На первый взгляд продвижение русского портрета второй половины XVIII века по пути реализма кажется несомненным — настолько живей и жизненней становятся фигуры, естественней их повороты; воздушная среда вокруг них раздвигается и светлеет — словом, сильней и свободней дыхание жизни. Но если сравнить, предположим, Рокотова, чей расцвет приходится на 70—80-е годы, с Боровиковским, мастером конца века, отразившим в своем творчестве уже отчетливые черты сентиментализма, вопрос, пожалуй, покажется более сложным.

Сравним два портрета — Екатерины Николаевны Орловой (Рокотов) и Екатерины Николаевны Арсеньевой (Боровиковский) — (в это время появилось множество Екате-

рин, названных в честь императрицы) — и до поры отвлечемся от того обстоятельства, что они выражают совершенно разное настроение. Они больше чем разного настроения — кажется, что перед нами жители разных миров, одна из жизни, другая чуть ли не из мира теней.

Екатерина Николаевна Орлова, рожденная Зиновьева, говорят, была весела, во всяком случае Екатерина в шуточной характеристике, которую она дала своим придворным, предрекает ей смерть от смеха. Но юная Орлова умерла не от смеха, а от чахотки — за границей, куда ее увез муж, и похоронена в Лозанне. На могиле ее был Карамзин. «Сказывают, что она была прекрасна,— писал он в «Письмах русского путешественника»,— прекрасна и чувствительна!.. Я благословил ее память».

Как и Дмитриева-Мамонова, она была замужем за экс-фаворитом, но подобно тому, как Орлов, человек сильный и яркий, нисколько не походил на Дмитриева-Мамонова, так и его брак был иным, не было на нем того трагикомического отсвета, который лежал на истории Мамоновых. Конечно, и тут не обошлось без трений, существует анекдот: когда Екатерина Николаевна была еще фрейлиной, Екатерина однажды не взяла ее с собой в Царское Село «за ее непозволительное и обнаруженное с графом обращение»; Орлов вспылил — «граф был сим до крайности огорчен и весьма в том досадовал. Так, что однажды при восставшей с императрицею распри отважился он выговорить с жару непростительно грубые слова, когда она настояла, чтобы Зиновьева с нею не ехала: ,,Черт тебя бери совсем!“».

Могло быть вполне.

Поскольку Орлов и Зиновьева состояли в родстве (были двоюродные), против их брака восстал синод, вопрос рассматривался в сенате, где предлагали брак расторгнуть, но Екатерина с этим не согласилась. Орлова была принята при дворе, украшена орденом св. Екатерины, пожалована статс-дамою (высшее для женщины положение при дворе).

Державин писал об Орловой в своих стихах:

Как ангел красоты, являемый с небес,
Приятствами она и разумом блистала.
С нежнейшею душою геройски умирала...

Екатерина Николаевна Арсеньева тоже принадлежала к аристократическому кругу — она фрейлина при дворе Марии Федоровны, дочь суворовского генерала.

Веселая отвага, вот что выражает Арсеньева. Широколицая, широкоскулая, нос весьма задорно вздернут, в глазах смех. Одета она идиллической пастушкой (соломенная шляпка, украшенная колосьями), в руке яблоко, которое вообще-то является атрибутом Афродиты-Венеры,— это то самое яблоко раздора, которое Парис должен был вручить прекраснейшей из богинь. По мнению крупнейшего знатока XVIII века и специалиста по Боровиковскому Т. В. Алексеевой, этому яблоку придан иронический смысл, в связи с ним Алексеева вспоминает написанную в том же 1776 году, что и портрет, комическую оперу Н. А. Львова, друга Боровиковского (один круг), чисто пародийную, где Парис представлен деревенским пастухом, который просто роняет яблоко, подхваченное ловкой Венерой. Действительно, вокруг Арсеньевой веселье так и вьется, яблоко вполне могло быть пародийным. Но тем не менее и на красоту модели оно, наверно, намекает; к тому же портрет Скобеевой того же Боровиковского повторяет в точности те же самые руки с точно тем же яблоком, между тем как характер портрета совсем иной, он невесел, в облике Скобеевой (кстати, женщины сложной судьбы) есть что-то тяжелое, а веселья в нем нет совсем.

Но вот что любопытно: в руках Арсеньевой аллегорическое яблоко становится



В. Боровиковский
Е. Н. Арсеньева
2-я половина 1790-х гг.

фруктом, юная Екатерина Николаевна при независимости своего нрава и совершенной раскованности может (нам это ясно) с наслаждением впиться в него зубами и съесть у нас на глазах (реализм?).

Ни одна из рокотовских женщин ни яблока, ни чего другого съесть не может, они если и не бесплотны, как рублевские ангелы, то все же на них отсвет некоего (как точно сказал А. Эфрос) «привиденчества». А главное, они, как и ангелы Рублева, не тем заняты.

Все, что выражает собою Арсеньева, мы можем определить и перечислить — юность, веселье, задор, независимость. Орлову определить и перечислить нельзя, ее выразительность куда сложнее и глубже. Дело не только в том, что печален ее лейтмотив, а печаль в искусстве производит большее впечатление, чем радость и веселье. Можно было бы взять для сравнения другие портреты тех же художников — с одной стороны, предположим, улыбающуюся Новосильцеву Рокотова, а с другой — любую из элегических женщин Боровиковского с их мотивами увядания и грусти, например Е. А. Долгорукову из Третьяковской галереи. Но уж очень усердно демонстрируют свою печаль женщины Боровиковского — если спародировать известные строки из тех наставлений художникам, которые сделал в своем трактате Р. де Пиль (он полагал, что модель как бы должна говорить с портрета: «Взгляни, я — непобедимый царь, или — неподкупный судья, или — великий полководец» и т. д.), можно было бы сказать от имени героинь Боровиковского: взгляни, как грустно, как томно, как красиво я увядаю.

К сожалению, в зале Боровиковского пропадает чувство неповторимости. Если раньше применительно к художникам середины века мы говорили о параде манекенов, то здесь перед нами парад облаченных в белые платья торсов и сложенных на груди одинаково прекрасных рук. А сколько здесь всякого рода показов и демонстраций! Долгорукова с пером в руке явно собралась доверить бумаге свои меланхолические мысли; сестры Гагарины показывают, как усердно они музицируют.

Есть портреты ярких характеристик. Вот изображение женщины, очень нарядной (великолепно написаны легкие шелка, белые, голубые, светло-красные; летучие кудри, много жемчуга), лицо ее невольно привлекает, столько в нем ума, воли и самообладания. Это Елизавета Темкина, дочь Потемкина и Екатерины. Другой любопытный для нас портрет — Анна Евдокимовна Лабзина, по первому мужу Карамышева, та самая, которая оставила нам свои воспоминания. Она тоже демонстрирует — на этот раз любовь к воспитаннице, которую обнимает обеими руками (а та трогательно припала к ее груди), но ею на самом деле нисколько не занята. Узнаем ли мы в ней ту девочку-жену, чью душу размалывали жернова старого и нового мировоззрения? Да, пожалуй, в ее лице, тронутом неврастенией, как раз и видны следы этих жерновов.

На семейном портрете графини Безбородко с дочерьми все трое позируют перед нами, усиленно выражая свою любовь друг к другу, а равно их общую любовь к сыну и брату (это миниатюра с его портретом в руках у младшей), которая их объединяет настолько, что даже цепочка от миниатюры из рук старшей дочери через грудь матери тянется в руки младшей. Но им, признаться, не очень веришь. Кажется: лишь только в Русском музее наступает ночь, они встают, равнодушные, и расходятся по своим делам.

Именно потому, что не так уж сильны чувства всех этих женщин, они подкреплены всякого рода символами — яблоками, сиреневыми розами (меланхолически растущими вниз, а не вверх), миниатюрами любимых людей, музыкальными инструментами и другими разговорчивыми деталями. Вторая жена Державина (и



В. Боровиковский
Е. Г. Темкина
1798

В. Боровиковский
А. Е. Лабзина с воспитанницей С. А. Мудровой
1803



В. Боровиковский
А. Е. Лабзина с воспитанницей С. А. Мудровой
1803



В. Боровиковский
А. И. Безбородко с дочерьми
1803

родная сестра М. А. Львовой-Дьяковой), «Милена», стоит в рост среди деревьев парка и с любезной полуулыбкой указывает рукою на свой дом с колоннами и куполом, с огромной лестницей, сходящей к пруду (как непохоже это на бурное описание Званки у Державина!). Справа от нее настурции красиво ниспадают из высокой садовой вазы, слева цветут лилии (символ чистоты). Она тоже явное олицетворение семейных добродетелей.

Женщины Рокотова одиноки и недобродетельны. Они честны, никогда никем не притворяются, ничего нам не навязывают, а потому и не нуждаются в разговорчивых деталях. Может быть, Орлова отчасти и демонстрирует свою красоту, свои ордена и горностаи, но она не только не кокетничает с нами, как Арсеньева, и не выставляет напоказ свои добродетели, как Безбородки, напротив, подобно всем женщинам Рокотова, она замкнута и держит нас на расстоянии.

Образ Арсеньевой построен главным образом на характерности, нет за ней ни глубины натуры, ни глубины взгляда художника. Конечно, он схватил мгновенную жизнь лица, замечательно передал обаяние юности и свою влюбленность в нее — все это прекрасно. Зато Орлова говорит бесконечно больше того, что есть она сама.

Арсеньева всем вечная сестренка. Орлова старше всех нас и знает что-то, чего мы не знаем. Если вспомнить замечание М. В. Алпатова о дали, которая открывается за портретом, то здесь дали открываются безбрежные. На Орловой не то отблеск вечности, не то отсвет неведомых астральных миров. А может быть, она и не астральна, а просто на ветру — от ветра вздымается копна ее волос, от ветра веки ее длинных глаз как бы вздуты и приподняты,— и все же она глядит, не щурясь и не моргая.

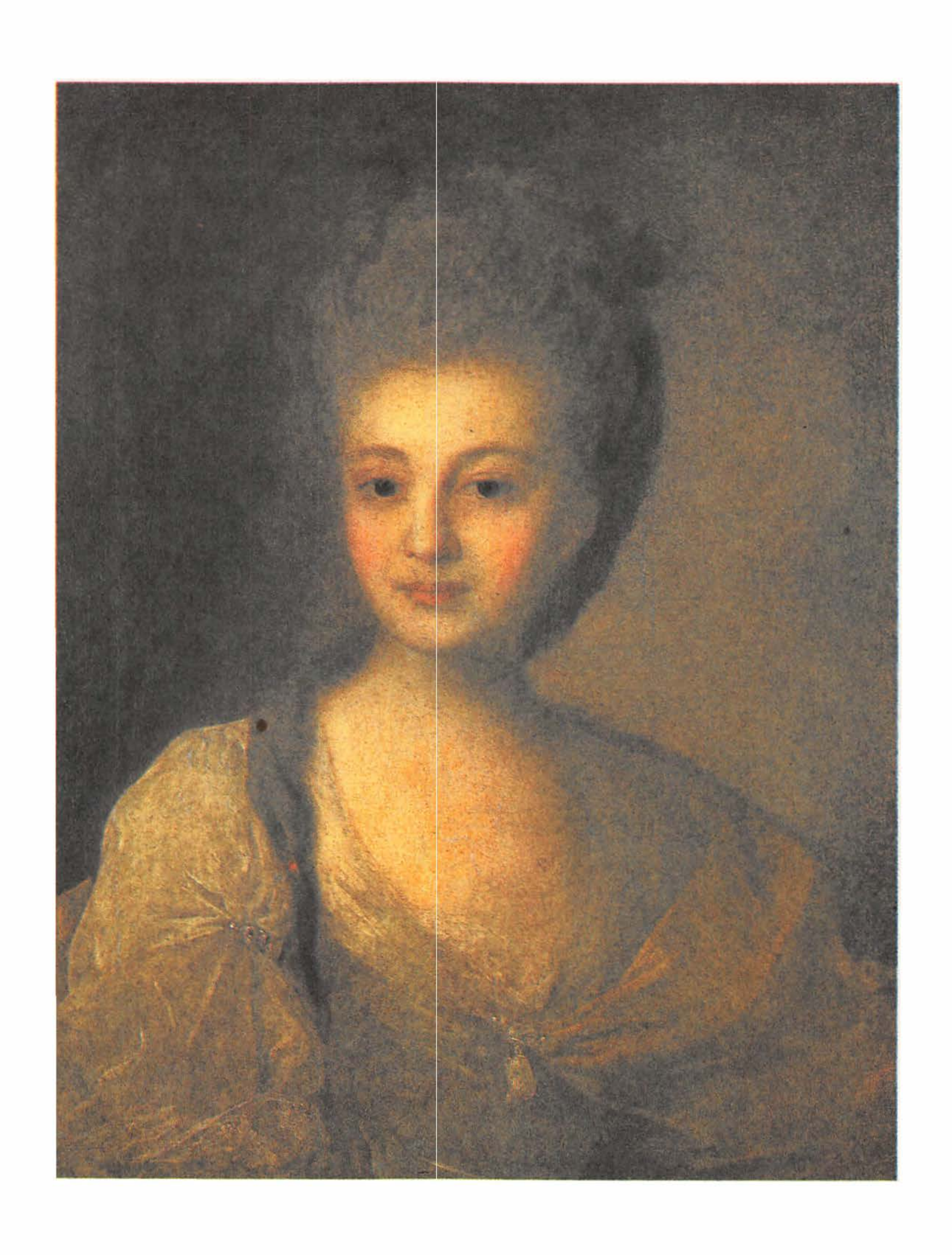
Если же говорить о точности в передаче явлений жизни, о глубине проникновения в человеческий духовный мир, иначе говоря, о том, кто изображен реалистичней — непознаваемая, «теневая» Орлова или цветущая здоровьем Арсеньева, рассказавшая о себе все, что могла рассказать,— для меня тут сомнений нет: тайна Орловой кажется мне явлением более реалистичным, чем понятность Арсеньевой. И дело опять же не в различии характера моделей, а в различии взгляда художника, его способа изображения.

Но мы еще совсем не говорили о самой знаменитой из рокотовских женщин — об Александре Петровне Струйской.

Ей восемнадцать лет. Она хозяйка очень богатого поместья «Рузаевка», где стоит барский дом, похожий на дворец, с двухсветным залом, с тщательно подобранной картинной галереей, с богатой библиотекой (на русском и французском языках); со знаменитой типографией, выпускавшей книги столь высокой полиграфии, что сама Екатерина с гордостью показывала их иностранцам. Александра Петровна — вторая жена того самого Н. Е. Струйского, графомана, который загонял гостей в угол и в восторге читал им свои дикие стихи (они сохранились); того самого, о котором ходили нехорошие слухи (самочинное следствие, пытки и т. д.). Рузаевка была, надо думать, одним из тех поместных культурных центров, каких немало было в русской провинции (соединение культурного центра и собственного поместного застенка было вполне возможно в русском XVIII веке). Известно, что Струйский поклонялся Рокотову, заказал ему несколько портретов, к ним принадлежит портрет поэта Сумарокова, такой шедевр, как неизвестный в треуголке (И. М. Сахарова высказала предположение, что на этом портрете изображена первая, рано умершая жена Струйского). И наконец — Александра Петровна. Если о хозяине поместья И. М. Долгоруков отзывается с насмешкой, подчас презрительной, то о самой Александре Петровне он говорит с большой симпатией, но очень прозаически. Сообщая о том, как Струйский умер,



В. Боровиковский
А. Г. и В. Г. Гагарины
1802



Ф. Рокотов
А. П. Струйская
1772

потрясенный смертью Екатерины (и замечая, что, проживи больше, он «отяготил бы вселенную своими сочинениями»), Долгоруков прибавляет: «Любезное его семейство, не причастно будучи его слабости, привлекло к себе любовь и почтение своих знакомых. Жена его устроила свои дела, воспитала хорошо детей, печется об них поныне. Что можно лучше сказать о женщине и больше к истинной славе ее служащего? Пусть мужчины и ищут ее в подвигах напряженных, требующих больших жертв и усилий от них; женщина весь долг соблюла природы, когда, давши жизнь нескольким тварям, сберегла им пристойное имущество, доставила способы научиться, открыла пути к приязни и уважению многих. Довольно, весьма довольно, чтобы получить право на похвалу всеобщую».

Подобный биографический комментарий, пусть и очень доброжелательный, мало что расскажет нам о рокотовской модели — это как раз тот случай, когда о комментарии лучше и вовсе забыть. Тем более что сказать о Струйской больше того, что сказал о ней художник, невозможно ни на каком языке.

Тем не менее о ней писали и много — о красках портрета, его настроении и концепции. Г. Г. Поспелов в связи с ним говорит о некоем живописном приеме Рокотова: несовпадении световой компоновки полотна с действительным расположением фигур в пространстве портрета. «Впечатление от позы Струйской — с поворотом корпуса в три четверти вправо, а лица чуть влево — как бы сводится на нет рассеянным светом, заливающим лицо и выдвинутые вперед плечо и грудь. Мерцающий свет объединяет эти части фигуры воедино, как бы превращая изображение в фасовое. Этому способствуют контуры светлого плеча на темном фоне слева и очертание неясно освещенного фона справа, также укладывающее изображение на плоскость. В результате лицо и фигура Струйской, как и их расположение в пространстве портрета, приобретают особенную зыбкость и хрупкость. С этим ощущением гармонируют и призрачные пепельно-серые и желтые краски полотна, и ломкие складки шелка и кружева, а в самом лице молодой женщины с его чуть приподнятыми бровями и блеском удивленных глаз эти оттенки отвечают выражению тонкой задумчивости, неуловимого изящества чувств».

А зритель стоит перед ней, немой и безгласный, но потом и он невольно начинает в какой-то даже тревоге искать слова, способные передать его чувства, ищет их и не находит или находит неадекватные, приблизительные (подчас даже что-то у нее отнимающие). «Любите живопись, поэты», — сказал Заболоцкий.

Любите живопись, поэты!
Лишь ей единственной дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

«Лишь ей единственной» — словами невозможно, а если и есть слова, которым это под силу, то, конечно, только поэтически организованные с их иррациональными сверхвозможностями. «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук / Хватает на лету и закрепляет вдруг / И темный бред души, и трав неясный запах» — так писал Фет. Но даже и поэт, владеющий магией стиха, ощущает томительную невозможность передать тончайшее многообразие мира. «О разнотравье, разноцветье! / Лови их солнечною сетью / Иль дождевой — богат улов. / А я ловлю их в сети слов, / И потому неуловимы / Они и проплывают мимо, / И снова сеть моя пуста, / В ней ни травинки, ни листа» — это уже современный нам поэт Лариса Миллер. Ах, если бы «разноцветье» портретов XVIII века можно было бы хоть как-то уловить, но ни солнечной, ни дождевой сети в нашем распоряжении нет, а «сетью слов», даже самых поэтических...

И все же Заболоцкий сделал попытку передать Струйскую в стихах, они известны.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Слегка закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас.

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Хорошие стихи, но они вносят в тихую жизнь портрета чуждую ему интонацию XX столетия, его резкие слова и даже некий оттенок нервозности (во всяком случае нам тут режет слух слово «припадок»); они скользят по поверхности портрета, сути его опять-таки почти не задевая. «Полуулыбка, полуплач»? — нет на лице Струйской ни улыбки, ни плача, даже уполовиненных, все это слишком определенно для зыбкой поэзии ее лица (кстати, и атласа на картине нет), «Ее глаза — как два обмана»? — тоже слишком резко, да и нет обмана в ее глазах, они правдивы (хоть не о лживости, конечно, говорит поэт). Не то, не то, полупуста наша сеть. Наверно, всего точней сказала бы о Струйской музыка, чей голос порой на удивление совпадает с тем, что говорят нам художники своею кистью. Можно было бы Рокотова пересказать Моцартом, да ведь только самою музыку пришлось бы тогда переводить на язык слов, что опять-таки невозможно (мне, например, когда я вижу Струйскую, явно слышится мелодия из медленной части семнадцатой фортепьянной сонаты Моцарта, но ведь на нее не сошлешься, на эту мелодию, ее нет на слуху у читателя).

И все же тут что-то ухвачено, в этих «двух обманах» Заболоцкого. Мысль о некоем обмане тревожит и меня при виде портрета. Дело не в том, что тенью проходит воспоминание о рузаевском диком доме, где она жила, — эта мысль сейчас неуместна. Нет, дело в другом. Невольно думаешь: а вдруг тут поэтическая подстановка, вдруг этой прекрасной женщины вовсе на свете и не было? И всплывают тогда в памяти другие стихи (видите, все время, пытаясь ее выразить, все-таки хочется прибегнуть к помощи стиха), возникает странный голос фетовской героини, которая с каким-то даже гневом обращается к мечтателю, безумцу за то, что он, выдумав ее, сам же в нее и влюбился.

О, верь и знай, мечтатель малодушный,
Что, мучась и стеня,
Чем ближе ты к мечте своей воздушной,
Тем дальше от меня.

Точно ли, нет ли, но фетовские стихи передают томительную тревогу, которая охватывает вас, когда вы пытаетесь ухватить неуловимость этого незавершенного бытия.

В русских легендах богородичного цикла есть несколько, где иконы, никем не

писанные, являются сами собой — одна высоко на ветвях дерева, другая плывя по речке на сложенных сучьях и т. д. Кажется, что и Струйская рождена русской природой непосредственно, ее лугами, склонами, перелесками, затянутыми сетью дождя. Одна из самых драгоценных строчек Лермонтова — «дрожащие огни печальных деревень» — удивительным образом подходит ей по настроению, и если бы во тьме фона чудом зажглись огни, то это были бы, конечно, «дрожащие огни печальных деревень».

Поскольку портретное искусство сильно опередило свое время в умении передать тончайшие оттенки чувств, портрет Струйской, тоже опередив свое время, совпадает по настроению (и по высоте исполнения) не с современной ему поэзией, не с Сумароковым, Богдановичем, Капнистом и даже не с Державиным, но с величайшими образцами русской лирики XIX века, с лермонтовским «Мне грустно», с пушкинским «Я вас любил».

Есть, однако, стихотворение, которое не только являет собой прекрасное музыкальное сопровождение к портрету Струйской, но и удивляет редким совпадением с ним. Это тютчевское стихотворение, обращенное к русской женщине, чьи годы идут «вдали от солнца и природы», «вдали от жизни и любви». Поэт пророчит:

И жизнь твоя пройдет незримо
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле,—
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном
В осенней беспредельной мгле...

Стихи совпадают с портретом и невесомостью слов, строк, и своей печалью, и самим составом своим: тусклое небо, дым, туман — это все краски Рокотова. Не только одна Струйская живет «в краю безлюдном, безымянном», многие из ее странных сестер тоже живут «на незамеченной земле», дышат ее туманом, ее бессолнечной атмосферой. И если все они одиноки, то Струйская, может быть, самая одинокая из всех. Она жива еще и хороша, полна той внутренней сосредоточенности, которая создает вокруг нее ее собственную тишину, но по лицу ее, кажется, уже скользит тень уходящей жизни, которой суждено растаять в беспредельной мгле времени, которая не тает, однако, сохраненная кистью художника.

Ей почти не дано красок, она едва тонирована; ей совсем не дано движения, одно лишь внутреннее душевное устремление. Все в ней предельно сдержанно и просто, даже крутых рокотовских локонов нет — полурасплетенная коса. Она полна достоинства, ей нет нужды завлекать нас многозначительными подробностями, не нужно ей ни томных роз, ни аллегорических яблок, ни медальона с портретом мужа в знак того, что она его помнит и не забудет никогда — она сама уже почти воспоминание. Среди портретов XVIII века этот — один из самых реалистических.

Великую духовную работу должна была проделать эпоха, чтобы возник такой женский образ и появилась такая кисть, сохранившая его на полотне.

Однажды кто-то из великих педагогов, услышав, как подростка упрекают в том, что он бездельничает, сказал: «Оставьте его в покое, он занят важным делом — он растет». Общество XVIII века, особенно если говорить о его передовых, думающих людях (а к ним принадлежали и наши художники и, как правило, их модели), тоже не бездельничает, оно занято важным делом духовного роста. Только не надо задавать задач, которые им не по силам, и вопросов, на которые они не в состоянии ответить.

Если они смотрят на нас невинными глазами, то они ничуть не притворяются. Это мы приписываем им вину — они за собой вины не знают. Вот почему они так спокойны и уравновешенны, вот почему так спокойны и уравновешенны их портреты.

Для нас сегодня немыслимо и дико звучат рассуждения «социологизирующих» искусствоведов и критиков, которые так легкомысленно подозревали во лжи портретистов XVIII века. Странно нам сейчас читать и утверждение А. М. Эфроса (критика талантливого), который полагал, будто художники екатерининской поры, поскольку они принадлежали к зависимым, социально подчиненным слоям, и сами оттого были внутренне зависимы. Да, наши художники вышли из самых народных глубин. Аргунов, Рокотов, Шибанов — из крепостных, Левицкий — сын священника, Щукин и вовсе безродный подкидыш, из крестьян Шубин, из крепостных Воронихин, многие — из мастеровых, ремесленников, этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Все это так, и все это совсем не значит, что ввиду своего положения они были зависимы и подобострастны. Мы видим обратное: когда они всматриваются в свою модель, взгляд их глубок, подчас это взгляд не только художника, но, пожалуй, даже педагога и мыслителя, который видит в человеке то, чего сам он о себе не знает (вспомним, с какой независимостью и даже отвагой безродный подкидыш писал российского императора!).

Тот же Эфрос противопоставляет изобразительное искусство второй половины XVIII века его литературе — отчетливо в пользу литературы. «Собственных своих социальных тенденций художническая масса не проявила, как это было в литературе,— пишет он,— в искусстве не развилось, как это было в литературе, оппозиционной струи — ни дворянско-обличительной, ни буржуазно-просветительской, ни тем более революционно-демократической,— за что русское искусство и расплатилось обеднением александровской и раннениколаевской эпохи». Все неверно. Неверна уже сама постановка вопроса, что хуже, что лучше — у каждого искусства свои задачи и возможности. Прежде чем «расплатиться», портретное искусство второй половины XVIII века дало невероятный взлет, и если оно лирическое, а не изобличающее, это ни в малейшей мере не умаляет его заслуг и роли — в том числе и социально-культурной.

Кто-то из искусствоведов сказал, что портрет XVIII века как бы разрешает антиномию Просвещения, неразрешимое противоречие между идеальным представлением о естественном человеке, каким он должен был бы быть по законам природы и разума, и реальным состоянием людей (и данного индивида). Трудное дело — решить неразрешимое, и все же художники второй половины XVIII века это противоречие действительно разрешили, и не в плане иллюзорности, но своим реальным подходом к человеку. Дети эпохи Просвещения, они искренне считали свои модели существами добрыми и разумными; в том и была основа их метода, что они вглядывались в человека глубоко, серьезно, с бережным вниманием — и метод этот был плодотворен.

Но ведь и сами модели были особого рода. Люди времен общественного подъема, они в своем развитии резко рванулись вперед. Это на них рассчитан был «Наказ», им адресовалась публицистика Новикова и Крылова, сочинения Фонвизина — и Державин писал для них. Полные веры (пусть верили они по-разному, в высшее провидение или в доброго домашнего бога, в силу евангельской проповеди или в справедливый миропорядок, в здравость человеческой природы и разума, в просвещение от атеистического до глубоко религиозного, это неважно) и великих надежд, которые были даже не надеждами, а уверенностью, что жизнь можно построить справедливо и рационально. Надо только работать, вот и все.

Самообразование! Просветительство! Работа постепенная, неустанная, каждодневная — вот позиция русской интеллигенции того времени. Но ведь иного пути у нее и

не было: преобразование жизни невозможно, пока до него не дозрело общественное сознание. Они тогда и могли только — «искать возможного».

Работа была серьезной, именно для нее-то, как некое рабочее состояние, и было необходимо равновесие души (душевное равновесие, а не равнодушие, которое решительно было чуждо передовым людям XVIII века). Литература не могла еще ухватить и выразить внутренний мир современника, это сделала портретная живопись, которая была, таким образом, и орудием просветительства, и результатом его, и великим эстетическим взлетом.

Бывает искусство, которое так торопится высказать заветную мысль, что ему уже и некогда создавать (и тем более углублять и отделывать) самый художественный образ, оно поспешно и впрямую высказывает эту свою мысль (так, к примеру, торопился Репин в картине «Какой простор») и в своей крайности доходит до голой публицистики. Воздействие такого искусства бывает резким, но, как правило, недолговечным.

В полном соответствии с идеями и задачами XVIII столетия его художники создают (внимательно вглядываются, долго пишут) образ, который богатством своего духовного мира воздействует на современников и на последующие поколения с постоянной, ровной и глубокой силой. Если искусство преобразует жизнь, то эти мастера, конечно, ее преобразовывали — и сфера их воздействия была куда шире, чем можно предположить по совершенному тогда отсутствию музеев.

В том-то и дело, что портреты той поры были не музейны, они рассказывали людям друг о друге, живым о живых (или недавно живших). Они глубоко вошли в жизнь, в быт, висели в каждом барском доме, в каждом поместье (да и не только в дворянских домах, но и в домах зажиточных горожан), а при бурном общении дворян друг с другом, их непрерывных съездах то у того, то у другого, при их непрестанных взаимных и обязательных визитах портрет, висящий в парадных комнатах, воздействовал на довольно широкий круг людей. А поскольку художественных впечатлений у человека той эпохи было мало, живописное чудо должно было с большой силой отпечатываться в воображении.

Они никого не судят, художники XVIII века, и тем более не чинят расправы. Они вглядываются в свою модель — это медленное чтение человеческой души. Отбросив все суетное (что именно так, несмотря на шелка, бархат, ордена и алмазы), они обращаются к духовности. Итоги, ими подведенные, не всегда были веселы, видели мы и печаль, и тревогу, но никогда не замечали ни гнева, ни сарказма — подобные чувства были не только не нужны, но и противопоказаны их искусству: в состоянии раздражения, насмешки и даже праведного гнева никак не разглядишь глубины человеческой души. А перед художником той поры стояла именно эта задача.

Под кистью Рокотова или Левицкого русский портрет становится все более лирическим, это — знак духовного роста. Это вместе с тем выполнение серьезных социально-психологических, эстетических, нравственных задач. Возражая тем, кто пытается утверждать узость лирического искусства, Т. В. Алексеева справедливо говорит, что «бывают эпохи, когда, казалось бы, сугубо личные, даже идиллические мотивы несут в себе потенциально более важное, внутренне противостоящее официальному строю жизни содержание, чем героические темы и так называемые высокие жанры, которые остаются носителями традиционного содержания и по своему объективному смыслу часто оказываются достаточно консервативными».

Да, наши портреты противостояли. Своим духовным богатством — примитиву и духовной нищете; своим благородством — нравственной глухоте, грубости, низости. Своей терпимостью и мягкостью — скотининскому духу насилия. Утверждением

человеческого достоинства — всяческому духовному гнету. Рабству — внутренней свободой.

«Портрет завоевывает человеку право на существование,— говорит М. В. Алпатов.— В жестоких схватках жизни это много значит». Такое право на высокую нетленную жизнь дали своим моделям художники второй половины XVIII века. Внимание их было терпеливо, уважение к модели — искренне, понимание — тончайшим. Им, великим труженикам и огромным талантам, дано было первым в русской культуре так глубоко проникнуть в духовный мир человека и рассказать о нем своей благородной, благочестивой кистью. Конечно, «в жестоких схватках жизни это много значит».

СОДЕРЖАНИЕ

Ольга Георгиевна Чайковская

«КАК ЛЮБОПЫТНЫЙ СКИФ...»:

Русский портрет и мемуаристика
второй половины XVIII века

Редактор А. Б. Гудович
Художественный редактор М. А. Вакарчук
Технический редактор А. З. Коган
Корректор Н. И. Скворцова
Ретушер Е. А. Маньшина

ИБ 1857

Сдано в набор 10.10.89 г. Подписано в печать 22.05.90. А 09973. Формат 70×100/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,05. Усл. кр.-отт. 83,20. Уч.-изд. л. 24,90. Тираж 50.000. Изд. № 4781. Заказ № 978. Цена 5 р. 00 к.

Издательство «Книга» 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Фотонабор выполнен ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Госкомпечати СССР 113054, Москва, ул. Валовая, 28.

Отпечатано в тип. В/О «Внешторгиздат» Госкомпечати СССР
127576, Москва, ул. Илимская, 7

Чайковская Ольга.

Ч 15 «Как любопытный скиф...» / Предисл. Д. С. Лихачева.— М.: Книга, 1990.— 295 с.: ил.
ISBN 5-212-00220-6

Книга посвящена чрезвычайно интересному периоду в истории России — второй половине XVIII века. Именно этот период содержит в себе корни, обусловившие блеск и сложность культуры XIX века.

Материалом книги служат мемуары, дневники, письма (в частности, Екатерины II, Державина, Щербатова, Долгорукова, Болотова и др.) и портреты кисти известных русских художников (Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Антропова, Вишнякова и др.). Сопоставляя великую портретную живопись и мемуарную литературу, автор рассматривает проблему формирования русской интеллигенции, рисует духовный облик человека XVIII века.

Насыщенная богатым материалом, живо и ясно изложенная, книга вызовет интерес широкого круга читателей.

$Ч\frac{4903010000-092}{002(01)-90}52-90$ ББК 85.143(2)1